

НЭМАН

9/2018

СЕНТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Иван ШТЕЙНЕР. ...Меж драконом и яростью его. Трагедия	3
Михась БАШЛАКОВ. И листва кружится золотая. Стихи.	
Перевод с белорусского Е. Давыдовой	53
Владимир ОРЛОВ. Магия артиста. Документальная повесть	58
Елизавета ПОЛЕЕС. Будить, растревоживать, жечь! Стихи	80
Лариса КАЛУЖЕНИНА. Толука. Рассказ	85
Георгий ВЕРБИЦКИЙ. В те дни тревожные... Стихи.	
Предисловие О. Пушкина	93
Наследие	
Зинаида ДРОЗДОВА. Светлый лирик	97
Анатолий ГРЕЧАНИКОВ. Я верю в тайну обновления. Стихи.	
Перевод с белорусского Л. Возисовой	109
«Сябрына»: поэзия народов России	
Валери ТУРГАЙ. За все судьбу благодарю. Стихи.	
Перевод с чувашского Ю. Щербакова	113
Адам АХМАТУКАЕВ. Непростые пути. Стихи.	
Перевод с чеченского Ю. Щербакова	116
Римма ХАНИНОВА. Алтарь вечности. Стихи	122
Зульфия ХАННАНОВА. Женщина-из-камня. Стихи.	
Перевод с башкирского С. Янаки, С. Чураевой...	125
«Всемирная литература» в «Нёмане»	
Рене БАРЖАВЕЛЬ, Оленка де ВЕЕР. Дни мира. Роман.	
Продолжение. Перевод с французского И. Найденкова	130
Культурный мир	
Зоя ЛЫСЕНКО. Мюзикл XXI века:	
бродвейский стандарт на минской сцене	165
Литературное обозрение	
С точки зрения рецензента	
Наталья МИХАЛЬЧУК. Свет образного слова	172
Напоследок	
Литературное содружество	
Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. Литературное побратимство. Беларусь — Туркменистан.	
Перевод с белорусского О. Пушкина	174
Авторы номера	192

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звезда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Редакционная коллегия:

*Вадим Гигин, Наталья Голубева, Алесь Карлюкевич,
Александр Коваленя, Тамара Краснова-Гусаченко,
Владимир Макаров, Владимир Мозго (зам. главного редактора),
Роман Мотульский, Геннадий Пашков, Михаил Поздняков,
Елена Попова, Олег Пушкин (редактор отдела прозы),
Анатолий Сульянов, Николай Чергинец*

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: netaim-lim@mail.ru

Подписные индексы:

74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель

Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звезда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРОУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 13.09.2018. Формат 70 × 108^{1/8}. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 15,91. Тираж 1289. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция только сообщает автору свое решение.

Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.

Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Иван ШТЕЙНЕР

...Меж драконом и яростью его

Трагедия



Действующие лица

Симеон Полоцкий — иеромонах, поэт.
Сильвестр — его ученик и секретарь, монах, поэт.
Стрелец.

Офицер.

Послушник.

Симон Ушаков — иконописец.

Хорег — режиссер.

Артист, исполняющий роль Блудного сына.

Муза, Череп, Мельпомена — видения-персонажи
театра эпохи барокко.

Старуха, артисты передвижного театра,
декламаторы, кот Мартин.

Действие происходит в Заиконоспасском монастыре 25 августа 1680 года — в день смерти Симеона Полоцкого.

Картина первая

Полоцкий, Сильвестр, Стрелец, Офицер, Муза.

Полоцкий. Кто там?.. Не узнаю.

Сильвестр. Это я, Сильвестр.

Полоцкий. Ты, брат?.. Откуда?

Сильвестр. Нет, учитель. Служка я, а не брат ваш.

Полоцкий. Понял уже... Это не его голос... Где я?

Сильвестр. Дома, учитель. Заиконоспасский монастырь.

Полоцкий. Москва?! А мне привиделся... Полоцк... Брат... Живой.
И другой... Убиенный...

Сильвестр. Нет, учитель. Это я. Секретарь ваш. Сильвестр. Не брат.
Мы с ним тезки, по Богу... (*С улицы доносятся крики.*)

Полоцкий. Что там за шум? А-а-а. Эти никак не угомонятся. Души
моей требуют... (*Пауза.*)

Сильвестр. Что с вами? Вам плохо?

Полоцкий. Не знаю. Что случилось?

Сильвестр. Вы сидели в кресле, слушали поэтов. Потом замолчали.
Все подумали, что по обыкновению держите паузу, дабы фраза прозвучала.

Но она слишком затянулась. Тогда я сказал, что вы сильно устали, хотите отдохнуть, и всех весьма любезно, но настоятельно выпроводил.

Полоцкий. Да. *Actum ilicet*. — Дело закончено, расходитесь. Припоминаю. Но это был не сон. Я словно куда-то провалился. Рухнул в темноту. Неужели так уходят? И прав Цицерон — жизнь есть сон?

Сильвестр. Рано об этом думать. Вызвать лекаря?

Полоцкий. Не треба. Пройдет. (*Пауза.*) Намедни подобное было. И позавчера.

Сильвестр. Вот это меня и беспокоит. Беспричинная усталость предвещает болезнь.

Полоцкий. Я просто подремлю, и все будет в порядке. Как и накануне. Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна. Так говорил Гиппократ.

Сильвестр. Испейте воды. Или кваску. (*Рассуждает.*) Если хочешь есть, то не все потеряно... Собака, почувствовав недомогание, обычно отказывается от еды.

Полоцкий. Спасибо за сравнение...

Сильвестр. Простите... Так говорил Гиппократ...

Полоцкий. Я допью сбитень, который подавали за столом. Он сладкий.

Сильвестр. Лучше воды.

Полоцкий. Не пей вина, Гертруда. (*Слова короля, дяди Гамлета.*) ...Почему темно? (*Пауза.*) Уже вечер?

Сильвестр. Да нет, еще день. Длинный, подобно веку, летний день.

Полоцкий. *Повели слонцу недвижимо статати*¹... А почему так темно? Что за крики? ...Что за шум? (*Слышен голос: Долой черно книжника!*) А-а-а... Забыл.

Сильвестр. Шумят как обычно. (*Слышатся крики: Долой латинянина! Гони шляхтица! Смерть езуиту!*)

Полоцкий. (*Пауза.*) Они к нам не ворвутся?

Сильвестр. Не бойтесь, к нам прислали офицера со стрельцами в цветных кафтанах с золочеными пищалями, копьями и протазанами для охраны. Никто не войдет.

Полоцкий. Сюда или туда? В монастырь или на подворье, на Никольскую улицу?

Сильвестр. Шутите? Это хорошо.

Полоцкий. А как все разошлись?

Сильвестр. Я понял, что вы не в себе, и сделал вид, что все закончено. Словно так и задумывалось. И они ушли. Правда, неохотно. Решался вопрос о печатании их опусов. Вы же сами писали: *Ничто бо тако славу разширяет, яко же печать*. А вот чьи стиси будут допущены до прессы, зависит от вас. «Верхняя» типография, созданная в Кремле по вашей инициативе и личному ходатайству перед царем Федором Алексеевичем два года назад, принадлежит только вам.

Полоцкий. Я знаю...

Сильвестр. Когда-то кардинал Ришелье открыл при королевском дворе типографию, чтобы печатать свои пьесы.

Полоцкий. И мы следом. Но я первым издал букварь. (*Пауза.*) Ну что, поверили тебе наши сочинители?

¹Здесь и далее слова С. Полоцкого и латинские изречения выделены.

Сильвестр. Не все. Да кто же их поймет, этих *Genus irritabile vatum* — представителей склочного племени поэтов. Во всяком разе один точно остался. Как он только сюда попал, мне не известно. Но проныра. Везде свой нос сунуть пытался, все пощупать хотел. Теперь в библиотеке вас дожидается, книги изучает. Говорит, таких сокровищ он нигде и никогда не видел.

Полоцкий. И не увидит.

Сильвестр. Иеромонах хвалится. Занимательно. Весьма.

Полоцкий. Что делать, если моя библиотека лучшая во Московии. И числом, и авторами. Сие всем известно.

Сильвестр. Так, может, не стоило пускать козла в огород, а поэта к книгам, очень дорогим и ценным. Полтыщи будет.

Полоцкий. Поболе. Но менее, чем у французского кардинала, у него было 6000 экземпляров.

Сильвестр. Так у него только сирийских, арабских, турецких, персидских, ворованных и купленных на рынках, было 800 штук.

Полоцкий. Бог с ним. А насчет пиитов ты прав. Эразм утверждал, что они по свойству своего ремесла принадлежат к созданной им партии Глупости. Это вольный народ, все дело которого в том и состоит, чтобы ласкать уши глупцов разной чушью и нелепыми баснями.

Сильвестр. Весьма занимательно слышать *сие из уст пиита, витии, философа мудрейшего*. Хотя вынужден согласиться с вами. Великий Цицерон восклицал, что проживи он даже двойную жизнь, все равно у него не нашлось бы досуга для изучения лирических поэтов.

Полоцкий. Нормальный человек по своей воле вирши сочинять не будет. Это наказание небесное, кара господня за грехи предков.

Сильвестр. Вот это беседа двух пиитов. Как могут гарусники взглянуть друг на друга, чтобы не рассмеяться. (*Латинская пословица.*) Кто бы говорил. Чем же нагрешили ваши предки, учитель? Сам *на всякий же день име залог писати в полдесть по полутетради, а писание твое бе зело мелко и уписисто*.

Полоцкий. А я и не отрицаю, что наказан сим уделом. С детства в том замечен. Сие не скроешь, о чем писал и Аристотель. Оно подобно наваждению. Поэты часто приходят в восторг от своих собственных произведений и не помнят, каким образом их озарило такое вдохновение. Это и есть то душевное состояние, которое называют восторгом и исступлением. Это сродни телесному наслаждению.

Сильвестр. Весьма занимательно слушать такое от монаха. Особенно о наслаждениях телесных. Подобное притягивает подобное. Именно поэтому они вас любят.

Полоцкий. Кто, пииты? Конечно любят. Потому что от меня зависит, кто из них напечатается в моей типографии.

Сильвестр. Да. «Верхняя» находится в полном вашем ведении. Даже патриарх московский Иоаким сетовал, что Симеон дерзал печатать книги без его благословения. А посему будут любить. И славить.

Полоцкий. Если бы ты слышал, что говорят обо мне вне монастыря. *Устами меня хвалят, а сердце их далеко от меня...* Запомни, Сильвестр. Поэт не может никого любить, тем более другого поэта. Как женщина другую женщину. Это противоречит человеческой природе.

Сильвестр. Сочинительство вообще противно человеческой природе.

Полоцкий. Ежели токмо для восхваления величия Божия. Хотя ныне творчество уже не мыслится как дар, завещанный Богом, или как путь богопознания-обожения.

С и л ь в е с т р. Откуда же берутся сии сочинители?

П о л о ц к и й. Тебе лучше знать: сам сим отмечен, сочиняешь что ни попадя.

С и л ь в е с т р. Нет, в самом деле, откуда они берутся? До вашего приезда о них никто практически не слыхивал. А теперь развелось сочинителей, как опят на пеньке после дождя.

П о л о ц к и й. Пень — это опять я?

С и л ь в е с т р. Что поделаешь, если именно вокруг вас сложилась первая литературная корпоративная община. Создан первый писательский кружок, члены которого связаны друг с другом отношениями. Приятельскими.

П о л о ц к и й. Служебными.

С и л ь в е с т р. Дружбой.

П о л о ц к и й. Враждой.

С и л ь в е с т р. Профессиональными связями.

П о л о ц к и й. Материальными.

С и л ь в е с т р. Так это вы и создали особый тип писателя, господствующий в русской словесности. А вообще может получиться как во Франции. Кардинал Ришелье взял под свое крыло девять бедных бездомных поэтов, скитавшихся по Парижу, предоставил им сначала место для встреч во своем дворце, а затем организовал Академию.

П о л о ц к и й. *Mea culpa*. Моя вина. (*Утрируя*.) Основал эту общину Симеон, прозванный Полоцким, из его непосредственных учеников на литературном поприще особенно деятельно подвизался Сильвестр Медведев, видными членами корпорации должно считать Кариона Истомина, Мардария Хоникова, макарьевского архимандрита Тихона, позднее — Дмитрия Ростовского и Стефана Яворского. Литературное течение обычно составляет пять или шесть человек, которые живут в одном городе и сердечно ненавидят друг друга.

С и л ь в е с т р. И завидуют.

Входит О ф и ц е р.

О ф и ц е р. Обязательно. А еще сколько будет.

С и л ь в е с т р. Конечно. Они увидели, что за стихи платят, и весьма неплохо. Появился первый поэт-профессионал, литератор, блестящий ученостью и эрудицией, для которого словесное творчество стало способом личного утверждения и формой заработка.

П о л о ц к и й. Без намеков. Мы словом служим Богу.

С и л ь в е с т р. И Мамоне. Нынешний писатель рассчитывает получить удовольствие от самого процесса сочинительства, от созданного текста, и реальную, земную пользу от творчества.

П о л о ц к и й. Неправда. Поэты — переводчики слов и помыслов Бога. Наше поэтическое искусство есть не что иное, как поэзия или красноречие самого Бога.

Грохот падающего кресла. С т р е л е ц сконфуженно пробирается по сцене, стараясь не привлекать к себе внимания.

С и л ь в е с т р. Или помазанника Божьего на земле. Пастыри в пустыне уже не слышат, как ангелы беседуют с Господом. Земное довлеет.

П о л о ц к и й. Мы все государевы дети. Ему служим. Но царь отныне и сам может писать. Примеры тому искать недолго. Грозный сочинял и лицедействовал. Он вообще великий артист был.

Сильвестр. Не более великий, чем его предшественник в Древнем Риме. Нерон лицедействовал, сочиняя. А теперь поэты исполняют роль лицедея.

Полоцкий. Что делать, если шутов и шутих убрали со двора. Вместе с теремами. На смену им пришли поэты, прильнувшие к трону не хуже уродцев. Они готовы сочинить, да уже и сочиняют, новую «Шах-намэ», т. е. «Книгу царей». (*К Стрельцу, стоящему около «Букварь языка словенска».*) Интересуетесь книгой?

Стрелец. Помилуй Боже. В жизнь руки не оскверню. От книг все злосчастья.

Полоцкий. Отчего же. Надо просто правильно их читать. Вот, взгляни на картину, раз слова боишься. Смотри, человек убегает от единорога. Перед ним ров, на дне которого извивается огнедышащий дракон. Человек падает в пропасть, но в последнее мгновение цепляется за ветки дерева, наклонившегося над бездной, и висит, с ужасом наблюдая, как корни древа подгрызают мышья белая и мышья черная. Человек ожидает страшного конца, но вдруг сверху начинают падать капельки меда, и он, забыв о смертельной опасности, пытается ловить их языком.

Стрелец. Правда занимательно.

Полоцкий. Далее еще чудеснее. Особенно если понять, что за сим скрывается. Единорог — это смерть, которая гонится за человеком с рождения его. Огнедышащий дракон — ад, ждущий всех. Мыши, черная и белая, — день и ночь, умаляющие годы нашей жизни. Капельки меда — маленькие радости, выпадающие смертному в юдоли жизни. И человек, прекрасно зная, что его ожидает, забывает о неотвратимом ужасе и ловит капельки наслаждения.

Стрелец. О Боже, они оживают от голоса твоего.

Офицер. Я всегда знал, что в книге суть слово Божие.

Стрелец. И дьяволово. Так мне говорил поп из нашей слободки, когда мы жгли со товарищи все антихристовы книги. А сколько людей ушло на плаху из-за книги. От них все зло.

Полоцкий. Без книги не станешь христианином. Когда ты читаешь, ты говоришь с Богом.

Сильвестр. Еще Козьма Пресвитер в «Беседе на богомилов» отказывал называть христианами тех, кто *коцуны и бляди любит паче книг...*

Офицер. Зато мирские щедроты и на вас сыплются. Вы первый утвердили не токмо новые формы словесности, но и новый стиль деятельности. И все интересы современников сосредоточились на том, как можно разбогатеть.

Полоцкий. Зачем оне? Кому тленные сокровища земные...

Сильвестр (*перебивая*). Так писал ваш Скорина.

Полоцкий. ...Когда время остановилось, свилось как свиток...

Сильвестр. А это стиль раскольников. Но как жить возле дракона иным людям?

Стрелец. Служить государю.

Полоцкий. Наверное, ты прав.

Офицер. Послушайте, иеромонах, не лукавьте. Бог или кесарь вдохновил вас на борьбу с Аввакумом, главным поэтом извечной России? Только не говорите, что вы сами на это воздвиглись. Кто сразу принялся за церковные реформы и возглавил борьбу со старообрядчеством? Кто после соборов великих написал «Жезл правления» с обличениями раскольников.

Стрелец. Я запомнил, потому что раскольники кричали «Жезл кривления!». Жезл — это такая штука, которой можно расколоть что угодно — хоть орех, хоть голову.

Сильвестр. Вот именно. А можно взгляды и мнения, которые гнездятся в этой голове. Это обоюдоострая вещь. Как старообрядцы и западники — абсолютно чуждые друг другу миры внутри якобы единой культуры. Но Симеон намного ближе к протопопу Аввакуму, чем кажется, ибо антиподы сходятся хотя бы в одном — желании уничтожить противника.

Офицер. Цитируете своего оппонента? Весьма похвально для поклонника диспута.

Полоцкий. В споре рождается истина.

Сильвестр. В споре рождается ненависть. Не случайно ваш антагонист Аввакум писал — *зело было стяжание много: разошлись яко пьяни, не мог и поаясть после крику*.

Полоцкий. А зачем ему еда, когда старообрядцы живут в эсхатологическом времени, полагая, что Страшный суд — у порога или уже наступил?

Сильвестр. Раскольники многократно ожидали конца света. Но так и не дождались.

Офицер. Не бойтесь. Дождутся. Вместе со всеми. И уж тогда не будет там ни правых, ни виноватых.

Полоцкий. Хорошо, что на Соборе успели осудить староверов, да заодно и ортодокса патриарха Никона. А то неизвестно, чем бы все закончилось.

Сильвестр. Без вашей великой помощи, учености и умения вести диспут нам бы с ними не справиться. И отца Иосафа, белоросца из Орши, занявшего с Божьей помощью патриарший престол.

Полоцкий. Беларусы в Москве всегда становились провокаторами перемен. В искусстве, науке, литературе.

Офицер. Лучше скажите — всегда мутили воду под личинами якобы братскими. То Скорина со своими еретическими книгами. Вспомним самозванца Дмитрия из Брагина. А теперь литовская Ветка раскольников принимает. Там целая держава возникнет скоро. Из староверов. И не надейтесь, что вы их здесь разгромили полностью. Они вам сего никогда не простят. А мстить эти люди умеют. И Бог не поможет. Он далеко, а якобы повергнутые близко. Намного ближе, чем вы думаете. И гораздо сильнее и могущественнее ваших покровителей.

Полоцкий. Им надо было поискать разума у искуснейших, ибо обладают умом непросвещенным. *Суемудрые пустынники, не богословцами, а бусловцами назвать их нужно*. Я трижды по просьбе царя увещал Аввакума. *Да все бесполезно. Острота телесного ума, да лихо упрямство. А се не умеет науки*.

Офицер. А как вы дискутируете с ними. Разве так говорит священник? *Твое обличение оплевати паче и обругати подобает и уста лживыя ежесломъ, аки псу лающему, заградити, неже ответ дати*.

Сильвестр. Они заявляли, что аргументация Симеона, и каноническая, и историческая, достаточно слаба. Ему якобы не хватало серьезной исторической подготовки, а свои доказательства строит только на авторитете западных историков или же на собственном филологическом анализе.

Офицер. Перевожу: Наглость сильнее там, где защита слабее.

Сильвестр. Да это еще цветочки. А как он на Никиту Пустосвята набросился: *Ты клеветещи, окаяние, свиния еси, потирающая бисеры; вепрь еси гнусный въ царском вертограде; лис еси, губляй виноград церковный*.

Офицер. Это правда. Симеону присуща яростная нетерпимость к инакомыслящим. Обличая Никиту Пустосвята, он кричит: *Обезглавить сего Голиафа, тоже уды его и вся телеса полчища его птицам и зверям отдати*. И это говорит иеромонах. Христианин.

Полоцкий. Так это же просто метафора, фигура речи, иносказание, то есть. Я ему просто сказал: *Счастливы ты, что живешь с такими людьми, с которыми хлеб мудрости делить можешь.* А он и не понял.

Сильвестр. Ирония вообще мало кому понятна и доступна. Ты говоришь, что надо сочетать краткое научение и обличение злобы с любовью и жалостью к заблудшим. Однако сам вовсе не следуешь своим же наставлениям: ни научение, ни обличение твоё раскольников не отличаются кротостью и христианской любовью. И к Никите, и к Лазарю ты относишься с явным торжествующим презрением.

Полоцкий. Так они заявляют: Христос не учил нас диалектике, а ни красноречия, потому что ритор и философ не может быть христианин. Нынешних мы философов наречем разве песьими сынами (*Аввакум*). Учитесь ли нам полезнее грамматики, риторики или, не учася сим хитростям, в простоте Богу угождать.

Офicer. Вряд ли сие можно только стремлением к истине объяснить. Гордыня здесь прежде всего, желание показать свою мудрость и образованность. Как ты говоришь о недругах: *Что смрадный козлицъ въ саде и свиния въ вертограде, то безумный Никита въ чтении и разумении божественнаго Писания: яко бо козлицъ благая и плодоносная дрeвеса объедает и губит. Свиния же скверным носом вертоград рвет нивотожествует, тако и скотоумный Никита сотвори въ сади благоплодовитом.* Каков стиль. А?!

Полоцкий. Да заслужил он того. Люди малодушные завистливы, потому что им все представляется великим.

Офicer. Если будешь говорить справедливое, тебя возненавидят люди. Если несправедливое — боги.

Полоцкий. А если будешь говорить справедливое, тебя любят боги; если несправедливое — люди.

Офicer. Может быть. Может быть. Знай, явное интеллектуальное превосходство, эрудиция, ирония, просто насмешка над недалекостью оппонента ведет к тому, что последний вместо слова возьмет, как в пещере, дубину для продолжения диспута. А потом удивляетесь, откуда враги появляются. Искусством вашим наживать оных не перестаешь восхищаться. А враги, особенно настоящие, умеют и любят сводить счеты.

Словно услышав последние слова, внезапно во входную дверь врывается старая бабка и с проклятиями бросается к Симеону. Офicer его заслоняет.

Старуха. У-у-у, проклятый нечестивец. Недолго тебе осталось. Скоро, скоро уйдешь с этого света. Последний денек Бог терпит тебя.

Все испуганно шарахаются, подоспевший Стрелец с трудом ее выводит.

Офicer (*спокойно*). Откуда женщина в мужском монастыре?

Сильвестр. Мы не на Афоне, куда не может войти даже птица или животное женского рода.

Стрелец. Да это с улицы ворвалась, из толпы протестующих. Она там давно стоит. Я думал, нищенка, подаяния просит. А она вот такая.

Гаснет свет. Освещаются только Симеон Полоцкий и Муза, представленная в стиле барокко: мерзкая старуха, более смахивающая на ведьму, нежели на воздушное создание романтиков. Подобное характерно для театра данной эпохи.

Полоцкий. Ты кто?

Муза. Муза.

Полоцкий. Кто, кто?!

Муза. Муза.

Полоцкий. Чья?

Муза. Хочешь, общая. Соборная. Хочешь, только твоя. Собственная.

Полоцкий. А почему... Такая?

Муза. А ты какую видел?

Полоцкий. Никакую. Но и совсем не такой представлял в видениях своих...

Муза. Да ты и женщину голую, ладно, скажем, живую, не видел толком, монах несчастный. Но представляешь ее в прелестях ее в сердце своем. И осуждаешь. Для этого у тебя фантазии хватает. А меня принять не можешь. Если хочешь, я сяду повыше. (*Берет фужер, закуривает.*) Освятим сию келью. Ты подобных радостей и не знаешь, а учишь жизни. (*Симеон пытается что-то сказать.*) А я как раз реальная, настоящая в твоём варьятском мире. Пусть не бабочка, но червь, из которого никогда не вылетит мотылек. А потому без пошлых крыльев и лиры античной я самая настоящая. Полностью соответствующая душе человека, способного складывать слова в строчки и гордящегося паче чаяния сим умением. Причем дошедшего в гордыне своей до такой степени, что с презрением смотрит на остальных людей и утверждает: чем люди являются среди прочих творений земли, тем являются художники по отношению к людям (*Ф. Шлегель*).

Полоцкий. Может, отчасти и выше, но не до такой же степени.

Муза. Отчего же. Вспомни, митрополит Димитрий Ростовский завещал положить вместе с собою в гроб черновики своих сочинений, которые он на полном серьезе намеревался представить Богу в качестве отчета о своем земном служении.

Полоцкий. Зачем смеяться над хворостью человека?

Муза. А вы все нездоровые. Больные самолюбием и самомнением. Забыли, что гордыня — самый тяжкий грех. Ты даже на святое покусился. Слово Божие для тебя уже только возможность поупражняться в остроумии. Пусть бы игрался со своими Псалмами. Их все-таки поэт сочинил. Пусть пастух и царь в едином лице. Нет. Тебе мало. (*Иронически, потягивая вино и сигарету.*) Это же надо придумать: Поэт — создатель своего мира. Демиург позорный. Ты богохульски считаешь, что писательский труд — это некое подобие подвигу творца. До чего дошли, до чего додумались: как Бог словом создал мир, так и писатель творит художественный мир поэтическим словом. По-твоему, поэзия благословенна свыше и состоит в отождествлении слова Божия и слова как первоэлемента словесности.

Полоцкий. Какой штиль, какое плетение словес. Мне подобное уже не под силу. Ты превзошла даже меня, своего хозяина, которого должна вдохновлять, а не гнобить. Подобно невесте радостной бысть, а не сварливой склочной Ксантиппе. В одном только ты права — свет Божий и есть книга. Поэтическое творчество сродни акту Творения:

*Мир сей приукрашенный — книга есть велика,
еже словом написал всяческих Владыка.
Пять листов препространных в ней ся обретают,
яже чудна писмена в себе заключают.
Первый же лист есть небо, на нем же светила,
яко писмена, Божия крепость положила.*

*Второй лист огонь стихийный под небом высоко
в нем яко Писание силу да зрит око.
Третий лист преширокий аер мощно звати,
на нем дождь, снег, облаки и птицы читати.
Четвертый лист — сонм водный в нем ся обретает,
в том животных множество удобь ся читает.
Последний лист есть земля с деревьями, с травами,
с крушцы и с животными, яко с письменами.*

Муза. Мало того, что сравнил ты мир с книжкой непотребной, так и христианская молитва у тебя уподобляется плевку хамелеона, а Иисусово имя в ней — смертоносному яду. Да за это тебя отправили бы на костер в твоей любимой Европе. Мало тебе мудрости Божией. Ум твой искалеченный, он не довольствуется одной только истиной, требуя еще некой красоты. Ай-яй-яй. Считаешь, что красота может восприниматься отдельно от истины. Изводишь Псалми от церкви и превращаешь в достояние человека. На Руси так полюбились *сладкое и согласное пение полския Псалтири, стихотворно предложенныя*, что ее стали петь всюду, мало или ничтоже знающие и точно от *сладости пения увеселяющиеся духовне*. И предназначаешь тем, кто разумно хвалят Господа, и призываешь: *Молю тя, здоровым умом да судиша*. Сам себя хвалишь: *Держахася словес псалтирных и разума толкования приличнаго*.

Полоцкий. Можно, совсем не понимая слов, усладиться красотой звучания слога. Я дал слушателю сладкозвучный и понятый текст, чтобы ум, нуждающийся не только в истине, но и красоте, наслаждался и тем, и другим.

Муза. Ты захотел открыть Библию заново, раскрыв ее поэтические свойства. И начал с Псалтири, как и Скорина, считая, что это поэзия, а потому имеешь право переложить ее на стихи. Вы все, латиняне, еретики. Лютер сочинял музыку и пел псалмы.

Звучит 46-й псалом «Бог для нас — убежище и сила» — «Ein feste Burg ist unser gofft».

Муза. А потом оставил сан, женился на монашке и родил пять детей. И у тебя для пущего наслаждения рифмованная Псалтырь положена на музыку певческим дьяком Василием Титовым и исполнялась любителями сладкого пения везде, ибо ты сам написал, что предназначена она для чтения и пения на дому. То есть литургию ты, тать от искусства, превращаешь в концерт. Да у тебя из кельи слышны не бормотание чтецов, а музыка. Это все твои проклятые латинские науки вызволенные. Сжечь твои стихи, ибо инспирированы оне именно мной, грязной старухой. В них очень мало изящества. *Invita Minerva*. — Без изволения Минервы, то есть без подлинного мастерства. Науки гораздо более, нежели вдохновения.

Полоцкий. Сила воображения зависит от глубины знаний.

Муза. Дела художника вдохновляются верой и направлены на постижение предвечной гармонии мира. И через это — на познание Творца и личное в Нем обожание. А ты мыслишь сие самобытным свойством творческой индивидуальности. Речешь о гармонизации мира и описании печатлений от его реалий. Какая там гармония? Кто так говорит: «ангельский разум», «рай словесный», «оплаканый мир», «святой стыд», «враги душевные», «волны грехов», «меч еретика», «тьма неверия», «ров отчаяния», «смерти жало». А введение имен античных богов и героев: «Фойе (Феб) златой», «златовласый Кинфей», «лоно Диево» (Зевса), «Диева птица» (орел)? *В мире не мирном*

мир ныне бывает, егда царь мира враги побеждает. Чюдное чадю чюдне ся рождает.

Полоцкий. Клевещи смело, всегда что-нибудь останется. Хотя надо признать, что в словесности, как и во всем прочем, мы страдаем неводержанностью.

Муза. Народу читать надо совсем иное. Даже аристократы душеспасительных книг читают только «Повесть о Бове Королевиче», «Сказание о куре и лисе» да иные таковые же баснословные повести и смехотворные письма. Попроще надо быть. Стихи должны быть понятными народу: «Утром солнышко встает, Птичка песенку поет».

Кому нужен твой тяжелый стих, связанный с рафинированным книжным «словенским языком», который ты сознательно противопоставляешь языку разговорному.

Полоцкий. И вовсе ты не Муза, а просто воплощение моих недругов и завистников. Так Муза не может говорить.

Офисер (*освещается*). И самое главное, вред наносишь люду посполитому: *И мнози ныне свой хлеб и сокровища духовная во чтении и поучении изъ обильных книг словенских оставице, за чюжи, иже смертоносным ядом устроеный, хлеб хапаются...*

Муза. Меняется и твой читатель. Недавние политические и национальные успехи разрушительно действовали на умственную дисциплину образованного русского человека. Из скромной и трудолюбивой пчелы он превратился в кичливого празднослова, исполненного фразерства и гордыни, проникнутого нехристианской нетерпимостью (В. Ключевский). Покарают тебя за это.

Полоцкий. Устал я от тебя. И совсем ты не настоящая... *Vade, satana!* Темно... Отойди, сатана. Отойди.

Картина вторая

Те же без Музы.

Стрелец (*зацепившись, испуганно*). Я не хотел. Но вы так кричали.

Полоцкий (*очнувшись*). Придерживай свое оружие:

*Лев, егда ходит, ногти сопрягает,
Разве на корысть тех употребляет.
И воин мечь свой должен сопрятати,
Токмо на враги извлечен держати.*

Стрелец. Это вы обо мне сочинили?

Полоцкий. О тебе.

Стрелец. Сразу вот так?

Полоцкий. Сразу.

Стрелец. Дивы дивныи твои, Господи. (*Пауза.*) Или это бесовские игры? Ладно. Там к вам купец какой-то.

Полоцкий. Чего ему надобно?

Стрелец. Говорит, собирается торговать в Европе, нужен ему толковый толмач с языков чужих. А у вас их готовят в Тайном приказе.

Полоцкий. Ишь, пролазы, уже разузнали.

Стрелец. А чего вы так к ним, купцам-то? Говорят, вы сами из их сословия будете?

Полоцкий. Поэтому и знаю. Реши энигму, сиречь загадку. Кого хищными волками в одеждах овчих называли: купечество? невежд? монахов или стрельцов?

Стрелец. Ясно, что не стрельцов. Мы волки, но свою шкуру не скидываем.

Полоцкий. Восемь смертных «грехов чину купецкого» — обман, ложь, ложная клятва, воровство, лихоимство — *сынов тмы лютых отложит дела тмы*, чтобы избежать будущих адских мук. Скажи ему, поскольку путь его через Белую Русь, Литву то есть, там в каждом городе избыток школяров, способных вести разговор и торг на европейских языках, живых и мертвых. Пусть парочку возьмет. Недорого ему обойдется, а хлопцы расторопные, быстро окупят гроши потраченные. А испортит дело, не беда. Опыт — тоже деньги.

Стрелец. Хорошо. Еще запорожские казаки просили книг богоугодных прислать.

Полоцкий. Собрать и с письмом благословляющим отправить.

Стрелец. Литвины мастеровые пришли насчет резьбы иконостаса.

Полоцкий. С ними побеседую попозже. Там разговору на день. Остальных просителей отправляй к Сильвестру. Где он?

Стрелец. Пошел за лекарем. О вас печется.

Полоцкий. Лечит болезни врач, но излечивает природа. Медицина заставляя нас умирать долго и болезненно. (*Стрелец переминается.*) Чего ты мнешься?

Стрелец. Можно мне в ваш телескоп глянуть? Я издали, без рук, одним глазом.

Полоцкий (*с усмешкой*). Боишься тронуть? Пропасть можешь? Утащат тебя нечистики в окуляр...

Стрелец. Я боялся к вам идти. Вы ведь чернокнижник, душу человеческую можете запросто украсть. А взаправду можно предсказать будущее?

Сильвестр (*входит*). Говорят, что день смерти Ивана Грозного предсказан до минуты. Был в России колдун, тоже заморский, Элизеус Бомелиус, названный на русский манер — Елисей Бомелий. Он быстро полюбился Ивану Васильевичу и заслужил его ласку, ибо умел не только врачевать, но и занимался зельеварением, от которого все недруги царя тихо ушли в мир иной.

Стрелец. Хорошее дело. Правильное. Туда им и дорога.

Сильвестр. И вот Иоанн Грозный приказал Бомелию раскрыть будущее царского рода. Тот приложил руки к хрустальному шару и, бледнея от ужаса, поведал, что старшая невестка царя умрет при родах, самого царевича Иоанн убьет лично. Сыновья Федор и Дмитрий умрут раньше отца. Род Рюриковичей не продолжится, и настанет смута. Я видел твою смерть, — вскричал иноземец. — Твою душу несли два демона, увлекая ее в пучину ада. Царь в ярости запустил в колдуна увесистым серебряным кубком — тот три дня лежал без памяти. Очнувшись, попытался удрать, но был схвачен.

Стрелец. Разве он не знал, что у царей длинные руки?

Сильвестр. А потом аглицкий чародей был казнен — зажарен живым на огромном вертеле.

Стрелец. Ух ты. Как поросенок.

Сильвестр. Но это не помогло — в предсказанный день царь скончался.

Полоцкий. Ты расскажи еще о ведьмах, привезенных из Карелии. Они предсказали ту же дату смерти. Однако в роковой день Иоанн почувствовал

себя хорошо, даже попарился в баньке. Потому и приказал сжечь старух за ложь змеиную. Уже зажгли костер, в ужасе колдуньи коленопреклоненно умоляли палача подождать до вечера: день ведь не окончился.

О ф и ц е р (*тихо*). У нас тоже.

С и л ь в е с т р. Царь на радостях даже изволил сыграть в шахматы. Взял в руки короля... и отошел к Богу.

О ф и ц е р. И Нострадамуса не забудьте.

П о л о ц к и й. Увольте, с его помощью будут предсказывать только прошлогодний снег. Главное условие успеха таких гадателей — это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, что бы ни пожелало (*Монтень*). У нас своих самозванцев преизбыток, как и дураков, видящих в каждом чихе божественное провидение.

С и л ь в е с т р. А вот что писал иеромонах Симеон, прозванный Полоцким: 14 августа 1671 увидел близ Марса новоявившуюся звезду пресветлую, в это мгновение в утробе царицы зачался сын. На следующий день он сказал царю, что зачатый сын будет носить имя Петр и подобных ему в монархах не будет, и всех бывших в России славою и делами превзойдет... и *победоносец чудны имати будет*. Так сказано о царе Петре Первом.

О ф и ц е р. Хотя Симеон гадал по-своему, суждения автора гороскопа исключительно достоверны:

*И ты, планета Аррис, и Зевс веселися
В ваше бо сияние царевич родися.
Четвероугольный аспект произыде,
Яко царевич царствовать во вся прииде.*

С и л ь в е с т р. Симеон даже хотел, чтобы и без того долго длившиеся роды задержались еще на час, чтоб дать будущему государю большую продолжительность правления.

С т р е л е ц. Неужто оне могут на звезды воздействовать?

О ф и ц е р. Если вы такой прорицатель, почему свой удел не предсказываете? Слабо? Все вы такие оракулы, как тот не к ночи упомянутый мошенник Нострадамус. Пророки, обращенные в прошлое. Только свершенное и можете предсказывать.

С и л ь в е с т р. Почему, я рассчитал день, когда родился Симеон.

С т р е л е ц. Подумаешь, чудо. Сие было известно.

С и л ь в е с т р. Токмо год, а не день. А еще Симеон предсказал победу над турками.

С т р е л е ц. Такое и я смогу, потому что мы сильнее всех.

П о л о ц к и й. Тот лучший пророк, который пророчит хорошее. (*Офицеру*.) Если ты не испугаешься правды, я скажу ея. И ты, служивый, скоро уйдешь. Как только исполнишь порученное тебе дело. Очень, кстати, поганое. Запомни, дурной умысел всегда оборачивается против замыслившего зло.

О ф и ц е р (*слегка смутившись*). Это совсем не трудно предвидеть. Смерть мою. Мое дело вояцкое, я токмо исполняю приказы. А быть подле вас гораздо опаснее, нежели на войне.

П о л о ц к и й. Опять темно в глазах. (*Пауза*.) Карая, карал меня Господь, но смерти не отдал (*Псалом*).

О ф и ц е р. Это пока. Терпение Господне не безгранично.

Полоцкий. Терпение Господне бесконечно.

Старуха (*врывается опять*). Смерть ждет тебя, ирод! Сожгут тебя, колдун проклятый! И пепел развеют! А я посмеюсь, дрова подбрасывая! Ха-ха-ха!

Офицер (*вскакивает, хватается за эфес сабли и прикрывает Симеона*). Стрелец, убери чертову бабу! Раз и навсегда! А то я тебя уберу, страж ты неусыпный!

Стрелец. Она как бешеная, нет с ней сладу. Видно, черти вселились в старуху. А может, это сама костлявая и есть. Я ее боюсь, кто его знает, за чьей душой она пришла... (*Выводят старуху вместе.*)

Офицер (*возвращается к Полоцкому*). Вот и зачинщики бунта. (*Сильвестру*.) Упомянутый Елисей Бомелий тоже любил астрологию. Он поднимался на колокольню кремлевской церкви, а простой народ в ужасе крестился: «Опять Елисейка колдует!..» Все люто ненавидели злого знахаря. Писали доносы, обвиняли в связях с иноземцами и нечистой силой, что, по сути, одно и то же, но царь доверял лекарю. А расправиться самим, устроить самосуд — боялись.

Полоцкий. И к чему сии аллюзии, намеки сиречь?

Офицер. Для того, чтобы рассказать, а не для того, чтобы доказать.

Стрелец. И к вам подобное отношение у людей православных. Вас уже Бомелием кличут.

Сильвестр. Слава Богу, что не Навуходносором. Хоть горшком назови...

Офицер. А вот объясните мне, Симеоне. Астрология православием запрещена? Так?

Сильвестр. Спаситель отвергал всех предсказателей. Даже о дне своего прихода говорил, что сие известно лишь Отцу.

Офицер. Но волхвы же предсказали рождение Спасителя.

Полоцкий. Они просто указали место рождения и направление пути к нему.

Офицер. Симеон всегда обличал невежд, разоблачал «чародейство», «баб-колдуний», «шептунов»: *Звезды в человецех воли не вреждают, токмо страстми плоти нечто преклоняют. Тем же на звезды вины несть летъ возлагати, Егда кто зло некое обыче деяти*. И вдруг — сам астролог.

Полоцкий. В семь наук вызволенных входит и астрология. Я изучал их все, как и мой великий земляк и предок Скорина.

Стрелец. Поэтому и псалмы поете, что музыку учили.

Полоцкий. Но сие дело, в отличие от музыки, зело опасно.

Офицер. За предсказанье не только жизни лишишься, но и сожгут заживо, как Елисейку.

Полоцкий. По мелочам можно, а выше — ни-ни. Малые создания вовсе не возбуждают зависти божества. Бог мечет свои перуны в самые высокие дома и деревья. А в целом предвидение будущего получается не от оракулов и авгуров, а от мудрости.

Сильвестр. У славян исключительная особенность: твердо зная лучший путь, мы всегда избираем худший.

Стрелец. Так у нас и своих колдунов нету, их с Запада привозят. Они нам дорогу в пекло и прокладывают.

Полоцкий. Ад здесь, на земле. И к нему ведут все дороги. А потому не стоит бояться. Видеть необходимо больше и дальше:

*Святой Иоанн в то время
 Был умален, когда Иродом был обезглавлен.
 А Христос возвеличился, когда на древе креста
 Вознесен был вверх — к небу приблизился.*

На заднике изображения Креста, Распятия, картины «Усекновение главы Иоанна Крестителя» Караваджо крупным планом, все смешано в страшный хоровод света, музыки, видений; затем в темноте звучит голос:

*Плачьте, небо и жывиолы, синь, земля и воды,
 Воздуше, горы, холмы плачьте своей икоды,
 Всих бо создатель смерти нине подметает.
 Хто ж з вас не заплачет, гды Бог умирает?..
 На то слонце с пуржевцы в кров се пременяло
 И пресветлые луны промене затмило.
 Скалы зась и камене з жалю се падалы,
 Земля, горы и долины з грунту порушалы.*

Полоцкий (*освещен только он*). Слушай, Сильвестр... Иоанн Предтеча... (*Привстал.*) Я вижу тень топора над твоей головой и яму вижу, куда она скатится... И где будут гнить твои неотпетые тело и кости... И костер, где горят твои книги... Смерть ждет тебя! Смерть!

Падает в кресло. Свет гаснет, полная тьма и долгая мертвая тишина.

Картина третья

Постепенно зажигается свет.

Стрелец. Я так испугася, когда он начал волхвовать. Показалось, что сам бес в него вселился. Одержимый он, одержимый. Правду люди говорят.

Офицер. Кажется, обошлось. А то упал в кресло замертво. Даже я испугался.

Стрелец. Дышит. Но сам он еще не здесь. Надо осенить его крестным знаменiem. Ежели не бес, то поможет.

Офицер. Дай ему лучше воды.

Стрелец (*смотрит на стол, затем уходит и возвращается с другим кубком; Симеон не реагирует*). А зачем зовут сюда всяких нечестивцев из-за границы? Своих ученых разве мало?

Офицер. Почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании. Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой (*В. О. Ключевский*).

Стрелец. Коготок увяз — всей птичке пропасть. Это все от книг. Мало мы их жгли.

Офицер. Надо было вместе с писателями. От оных все зло.

Сильвестр. Неправда.

Офицер. Ну, как ты после подобного пророчества?

Стрелец. Испугался!

Сильвестр. Наше дело монашеское — всегда ждать второго пришествия. Удел пророков — пророчествовать.

Офицер. А удел народов — побивать их камнями.

Сильвестр. Без книг никогда не станешь великим. Даже воином. Был такой царь, Александр Македонский — великий полководец. Слышал о таком?

Стрелец. Рассказывали наши писари. В истории говорится, что его отцом был золотой змий. И этот враг рода человеческого выколол глаз царю Филиппу, мужу его матери.

Офицер. Нечего подсматривать за любовными утехами других, навет жены своей. Не царское это дело.

Сильвестр. Македонским он стал потому, что везде возил и читал книги Гомера.

Стрелец. Первый раз слышу, что книга кому-то помогла.

Полоцкий (очнувшись.) Александр от природы был склонен к изучению наук и чтению. Даже в Азию ему присылали трагедии Еврипида, Софокла и Эсхила. Под подушкой у него лежали рукопись «Илиады» и кинжал. Он считал, что изучение «Илиады» — главное в постижении военной доблести.

Стрелец. Какая рукопись?

Полоцкий. Книги о бранном деле одного изворотливого мужа, Одисеем прозванного.

Стрелец. И такие книги бывают?

Полоцкий. В преизбытке.

Сильвестр. Македонский стал великим, потому что его учителем был Аристотель. «Философ философов» обучал «царя царей».

Полоцкий. Сам Александр заявил: «Отцу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно». Александр восхищался Аристотелем и любил учителя не меньше, чем отца.

Офицер. А Симеон Полоцкий — учитель царских детей. «Поэт поэтов» учит «царя царей».

Полоцкий. Аристотель действительно видел в Александре главу Европы, стремящегося сделать этот мир более цивилизованным.

Офицер. С помощью меча? Очень интересный метод. Хотя культуру всегда везут в обозе. Но в панегириках полководцу забыли самую сущность человека. Чем больше он имеет, тем с большей жадностью стремится к тому, чего у него нет. Человеческое око не насытится до той поры, пока его не присыплешь песком. А очередная война рождается из побед предыдущих. Вспомните, Симеоне, на остроумном ответе морского грабителя Дионида Александру Македонскому построено ваше стихотворение «Разбойник». Корсаром, бандитом зовут пирата, а человека, пленившего море и землю с людьми, титулуют царем.

Сильвестр. Великим Александр стал только потому, что уничтожил больше людей на свете, чем кто-либо из смертных.

Полоцкий. Как бы там ни было, царь Филипп-завоеватель посылает приглашение на остров Лесбос и получает согласие величайшего ученого.

Сильвестр. Почему? Философ и война? Как это связано?

Полоцкий. Аристотель действительно верил, что сможет воспитать царевича в философском духе. И достиг этого. Александр хотел завоевать человечество и поднять его на новый уровень. Но прежде всего он должен был сам достичь последнего. Живой пример был ему необходим. И он нашелся. Аристотеля не интересовали ни двор, ни власть, а врученный ему в руки камень драгоценный. И в сорок лет он покидает науку и берется за великое дело огранки таланта.

Офицер. Тебе было столько же. Сорок лет — самый лучший срок и для зачатия детей, и для их воспитания.

Полоцкий. Поэтому царь призвал самого знаменитого и ученого из всех философов, Аристотеля.

Сильвестр. История всегда повторяется. Царю Алексею Михайловичу не понравилось учение его старших сыновей у местных учителей. Он велел обучать их иноземным языкам, латинскому и польскому, и призвал для этого ученого монаха — белоросца Самуила Петровского.

Полоцкий. Для занятий и бесед царь Филипп отвел Аристотелю и Александру посвященную нимфам рощу около Миезы, где до сих пор стоят каменные скамьи, на которых сидел великий философ, и тенистые аллеи, где он гулял со своим учеником.

Сильвестр. Для тебя Алексей Михайлович тоже построил «хоромину театральную» и типографию. Надеешься, что благодарные потомки будут с трепетом взирать на них, как на аристотелевские?

Стрелец. Сожгут честные христиане твои бесовские хоромины.

Офицер. А ты знаешь, чем заплатил царь Филипп, отец Александра, за учебу своего великого сына?

Сильвестр. Расплатился с ним прекрасно и достойно: восстановил разрушенный родной город философа Стагир и вернул всех жителей.

Полоцкий. Напомню. Им самим разрушенный.

Офицер. Может, философ и пошел к Филиппу, чтобы вернуть жизнь Стагиру, который уже считался территорией Македонии?

Сильвестр. И как же были благодарны своему великому земляку жители Стагира, вернувшиеся из рабства и изгнания.

Офицер. Близость к царю открывала перед вами пути к славе, почестям, должностям. Почему вы ими пренебрегли? Почему так и остались простыми иеромонахами?

Полоцкий. Быть в дружбе с монархом — все равно что держать волка за уши. Аристотель так и остался философом.

Офицер. Можно править, не будучи на виду, как упомянутый серый кардинал. Водить куклы за нити, самому оставаясь в тени, — наслаждение для великих умов.

Сильвестр. Прочти стихотворение Симеона «Достоинство». Истинное блаженство не в погоне за почестями, чинами, знатностью, а в возможности человека заниматься любимым делом.

Полоцкий. Я всегда был учителем. Менялись только ученики: послушники, дяки, монахи, царские дети. Сущность неизменна. Грамматики для царей не существует.

Офицер. Потому и призывал ты царя содействовать образованию, даже написал проект будущей Славяно-греко-латинской академии, предтечи национального университета? Хотел стать ректором? Чтобы называли *Rector magnificus* — Ректор великолепный.

Сильвестр. Твой ученик царь Федор хорошо знал польский язык, латинский, древнегреческий, сочинял стихи и музыку. Он затеял перестройку Кремля и всей Москвы, начал войну с турками, угрожавшими христианам, отменил указ об отсечении рук уличенным в краже.

Стрелец. Вот это зря! Пусть бы отрубали.

Сильвестр. Лучше бы уши отрезали, как на Литве.

Полоцкий. Он начал стричь бороды, носить европейское платье, позволил курить табак.

Стрелец. Тоже мне заслуги.

Полоцкий. Пригласил иностранцев на службу в Белокаменную.

Стрелец. Теперь их отсюда не выгонишь.

Сильвестр. Царевна-правительница Софья писала книги, знала риторику, обучалась польскому языку, даже букву у писала по-латыни. По примеру учителя стала первой женщиной-драматургом, сочинила пьесу «О святой Екатерине Великомученице».

Стрелец. Нельзя бабе власть давать.

Офицер. Поэтому и не смогла победить в схватке с братом Петром за трон. Науки расслабляют. Они вредны людям решительным. И тем более правителям.

Стрелец. Науки склоняют к пьянству и богохульству, говорил наш батюшка.

Офицер. И он прав, твой поп. Многие обратились к западной науке, потому что без нее не добьешься успехов на службе. Царский синклит польского языка не гнушался, читал книги и истории лясские в сладость. Царевич Федор выучился даже искусству слагать вирши и переложил два псалма. О нем говорили, что он был любитель наук, особенно математических.

Стрелец. Посему и прожил мало. Господь не позволил ляхам власть взять.

Сильвестр. А может, и прав учитель Аристотеля Платон: плохо государству, когда им управляет поэт.

Полоцкий. Никому сие не известно однозначно.

Сильвестр. Поэтам и ученым позволено все.

Офицер. Беда, когда поэты вмешиваются в дела общественные. Гнать их надо.

Сильвестр. Александр Македонский не только усвоил учения о государстве, но и приобщился к глубоким тайным знаниям. Их философы называли «устными» и «скрытыми» и прятали от непосвященных. Потому и обиделся, когда Аристотель обнародовал сокровище (*читает*): «Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах».

Офицер. Значит, они были с самого начала предназначены для избранных и совсем не годились ни для преподавания, ни для самостоятельного изучения.

Полоцкий. На самом деле законы сии едины.

Офицер. Вот почему вы везде ссылаетесь на Аристотеля?

Полоцкий. Тому примеров — легион. Диоген был захвачен пиратами. Став рабом некоего Ксениада, философ применил к детям своего хозяина прекрасную систему воспитания, приучив их к скромной пище и воде, к простоте в одежде. Занимался с ними и физическими упражнениями, поскольку это необходимо для здоровья. Обучал наукам, давал начальные знания, приучал учить наизусть отрывки из творений поэтов и свои собственные. Подобное было и у персов. Сына царя отдавали четырем воспитателям: самому мудрому, самому справедливому, самому умеренному, самому доблестному. Первый обучал религии, второй — никогда не лгать, третий — властвовать над своими страстями, четвертый — ничего не страшиться.

Стрелец. Никогда не поверю, что все зависит от учителя.

Полоцкий. Як зародзицца жарабатка з лысинкай, то з гэтай лысинкай яго вовк і зьесць.

С и л ь в е с т р. У антихриста Нерона, спалившего Рим, учителем был величайший философ Сенека. И кого он воспитал?! стыдно даже подумать, что подобный человек существовал, не то что управлял *urbi et orbi*. Сенека надеялся сотворить правителя-мудреца и воплотить с его помощью идею вселенского града, а сам стал зависимым от поведения воспитанника. Чтобы сохранить свое влияние и значимость в обществе, шел на уступки разврату всемогущего ученика и поощрял его капризы. Все считали философа лжецом и льстецом. Таким и ушел со двора императора: вернул подарки и стал жертвой тирании.

П о л о ц к и й. Избави нас Боже от подобной напасти. Моя система обучения совсем иная, она основана на принципах человецелюбия.

С и л ь в е с т р. И изложена в книге «Вертоград многоцветный». Много видел я книг на своем веку, но подобной... Это не книга, а дивный музей, в витринах которого расставлены *художественны и по благочинию* редкие и очень древние экспонаты, которые Симеон, библиофил и начетчик, любитель раритетов и курьезов, собирал в течение жизни в своей памяти. Ученики попадают в дивный свет: Бог — мир — человек. Стихотворной мозаикой поэт создал картину мира, задал вопросы мироздания, вероучения, догматики, морали. Все направлено на то, чтобы научить человека *заповеди тощно соблюдать и стяжать страну не вечерня света*. Энциклопедическое многообразие сочетается с целым. Духовное единство книги — многообразие в единстве и единство в многоцветии. Божий мир рассыпан по капелькам, а книга — окно в мир, главный способ его познания. Какая юная душа не захочет постигать сей поэтический *вертоград*, то есть сад, поражающий своим многоцветием.

О ф и ц е р. Первая в Европе энциклопедия для обучения.

С и л ь в е с т р. Это так. Основа композиции — восходящее к Апокалипсису представление о Христе как начале и конце всего сущего. Самим способом расположения стихов читателю внушалась мысль, что произведение есть образ мира, понимаемого как христианский универсум. Симеон выявляет фундаментальнейшую идею, связанную с представлением о мире как книге и книге как модели мира, как вселенной неисчерпаемого смысла. Вот почему по нему учились и дети царей, и дети философов.

О ф и ц е р. В самом-то деле, твоя история человечества явно вне времени и пространства. Когда читаешь твои стихи о чудесах света, о том же Аристотеле или пророках и евангелистах, то кажется, что Вавилон и Святая Земля рядом, все чудеса света можно обойти за день, а Диоген вчера с фонарем искал человека в московских рядах.

П о л о ц к и й. Да ничего он и не искал. Просто нес через базар огонь, зажечь костер. А слова те сказал, чтобы бездельники отвязались, ибо именно их он не считал за людей.

О ф и ц е р. Ты написал, что первые люди были в раю всего три часа — с трех часов до шести. Как можно до такого додуматься?

П о л о ц к и й. Да, это так. Ведь потом Христа распяли именно в шесть часов. У Бога свое время, оно не совпадает с людским. Вспомни, весь мир создан за шесть дней.

О ф и ц е р. Значит ли это, что Симеон — приятный учитель, облакающий науку в привлекательные формы и работающий по принципу королей: или как можно короче, или как можно приятнее?

П о л о ц к и й. Чтобы проповедуемые идеи достигали сознания, школьная поэтика позволяла использовать шуточный тон, забавно-замысловатые формы. *Sic movere et delectare, ut docere* — увлечь и усладить так, чтобы научить.

Сильвестр. Да нет. В виршах можно просто видеть стихотворный концепт будущих уроков. О природе, об устройстве общества. Ты рисуешь своим ученикам политический идеал отношений царя к подданным в образе доброго пастыря и овец: *Не презирати, не за псы имети, / Паче любити, яко своя дети*. При этом подчеркиваешь: необходимо каждому человеку, в том числе и правителю, строго блюсти установленные законы.

Полоцкий. Жизнь ничего не дала смертным без большого труда. Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и нет ничего более царственного, чем труд.

Сильвестр. И сам в том примером служишь. Написать 50 тысяч рифмованных строк! Заставь кого-нибудь из вас просто переписать их. Или хотя бы прочитать. Взоет. А 2957 виршей различных жанров («подобия», «образы», «присловия», «толкования», «епитафия», «образов подписания», «повести», «увещевания», «обличения») в одном сборнике. Первая в истории поэтическая книга-учебник. Поэт — хранитель высших религиозно-нравственных ценностей, стремящийся передать их читателю.

Стрелец. Трудиться надо всем.

Сильвестр. Основой общества поэт считает труд, и первейшая обязанность человека — трудиться на благо общества. Этому учит история людей.

Полоцкий. История учит тому, что ничему не учит. История — не то, что было, а что о нем написано. (*Засыпает в кресле.*)

Офицер. Это так. Многие писатели повествовали о Нероне: одни из них, которым он оказывал благодеяния, из признательности к нему извращали истину, другие из ненависти и вражды настолько налгали на него, что не заслуживают никакого внимания.

Сильвестр. Ежели носили цветы на могилу, то кто-то любил и его.

Стрелец. А наш писарь говорит, что только дураки трудятся. В мире полно умных людей, не желающих ничего не делать, и дураков, готовых работать за кусок хлеба.

Сильвестр. Себя ты относишь, небось, к первым?

Стрелец. Разве я лапотник какой? Вот вы воспитывали царевича Алексея, царя Федора и царевну-правительницу Софью...

Офицер. Кроме того, когда предстояло выбрать наставника для юного царевича Петра, будущего Петра Великого, то Симеону было поручено проэкзаменовывать на эту роль дьяка Никиту Зотова.

Стрелец. А почему ему не доверили?

Сильвестр. А Петра вовсе и не готовили в цари. Игра судьбы.

Стрелец. А кого легче учить — детей простых или царских?

Полоцкий (*очнувшись*). Детей необходимо учить *прежде добронравию, неже витийству: яко сие без оного, аки тело без души есть*. Обучение добронравию есть научение ребенка разумному знанию, ибо воспитание без образования *яко душа телесе кроме*.

Сильвестр. Дети все одинаковы.

Стрелец. Разве похожи львята и ослята?

Сильвестр. Для царевича Петра Симеон издал чудесный *Буквар языка славенска, сиречь начало учения детям хотящим учиться чтению писаний с нравоучительными стихами*:

*Отроча юный, от детства учися,
Письмена знати и разум потщися.*

Стрелец. Ежели осла не учить, то что из него выйдет?

Офицер. Главная фигура в учении — розга. Но почему-то вы, учителя, славите иное — буковки и прилежание. Розга буйство из сердец детских прогоняет, розги малому, бича большим трэба. Целуйте розгу.

Сильвестр. Мало розог всыпали Петру юному. Как и тому Нерону. Именно поэтому в твоём родном городе, Симеоне, он в храме зарубит семь унийских священников и порушит Софийский собор.

Стрелец. Так им, еретикам, и надо.

Офицер. И что это в сравнении с деяниями императора, велевшего поджечь Рим для вдохновения? Баловство. Или мелкое хулиганство. На большее не тянет.

Сильвестр. Сие же не самое страшное. Нерон приказал своему учителю покончить жизнь самоубийством. А вот это самый страшный грех.

Полоцкий. Ты прав. Нельзя покидать свой пост без воли хореха. Запрещено исполнять приказ наместника, а не самого Господа. Не забывай — именно нравственность и есть духовная основа человека. *(Закрывает глаза.)*

Картина четвертая

Те же и Послушник.

Послушник *(входит)*. Никогда не видывал подобного чуда. Столько книг. Какие рисунки, а доски, пергамент как выделаны. Богатство невиданное.

Симеон открывает глаза.

Сильвестр. Услышал хвалу и сразу очнулся. Вот сущность души поэта. *(Симеону.)* Как вы?

Полоцкий *(отмахивается)*. Умрешь не потому, что хворашь, а потому, что живешь.

Послушник *(продолжает хвалить)*. Особенно ваши труды, Симеоне. Каждая из книжиц — красота божественная, к которой приложена рука пиита и художника. Симеона и Пимена, то есть. Ушакова. А сами стихи можно не только читать, но и рассматривать. Смею предположить, что рисованное — часть замысла, вплетенное в единое художественное полотно. А как слиты слова и изображение, буковки и рисуночки!

Сильвестр *(явно польщенный, сбивается на высокий штиль)*. Так и задумано. Книга должна впечатлять не только содержанием, но и внешне. Зримость, зрелищность поэтического текста усиливают графические и живописные эффекты, эмблемы, геральдики, фигуры, знаки зодиака.

Стрелец *(Офицеру)*. А по-какому он говорит? Ничего не понятно.

Послушник. Каждая страничка и даже строчка отличается своим цветом: золотая, киноварьяная, чернильная.

Полоцкий. Симонид называл живопись молчаливой поэзией, а поэзию — говорящей живописью. А я стремлюсь их объединить.

Послушник. Сколько они стоят?

Сильвестр. Книги? Они бесценны.

Послушник. Для вас — да. А в миру?

Сильвестр. Три-четыре коровы, в зависимости от размера, рисунка, обложки.

Послушник. Одна книга? Три коровы! А шестьсот... вот это стадо.

Стрелец. Так что, все пииты — пастухи?

Сильвестр. Какая метафора трудов праведных.

Полоцкий. Зачем интересуешься? Ты кто?

Сильвестр. Это молодой сочинитель, который остался после встречи.

Полоцкий. Зачем пришел?

Послушник. Собираю помощь для обители.

Сильвестр. Что-то вас подозрительно много развелось в последнее время. Особенно из дальних приделов.

Послушник. Наслышаны весьма о щедротах Симеоновых: никто не уходил без милости его. Видно, сам помнит, как двадцать лет тому ездил в Москву просить помощи для Полоцкого монастыря. И даже жил у благодетелей некоторое время.

Сильвестр. Лстец напрасно ищет спогады у мудреца. Попробуй поискать воспомоществования в иных храмах.

Полоцкий. Подаяние необходимо начинать просить у статуи, чтобы приучить себя к отказам и презрению.

Послушник. Мне еще велено спросить у вас совета.

Сильвестр. Спрашивай.

Послушник. Идти мне в монахи или нет?

Сильвестр. Для спрашивающего подобное ответ однозначен, ибо заложен в самом вопросе. Сей вопрос потому и называется риторическим.

Послушник. Но я не хочу становиться только монахом. Я мечтаю бысть поэтом.

Полоцкий. Собака вернулась к своей блевотине. А мы — к поэзии.

Сильвестр. А сие так важно? Монашество то?

Послушник. Оно для меня не сама цель, а лишь средство ее обретения. Я люблю церковные обряды, пение, крестные ходы, но схима меня пугает. Не имею склонности к аскетизму, замкнутой келейной жизни. Наоборот, люблю компании, вино, празднества. Однако сегодня заметил, что все пииты — монахи. Чернецы. Один я в светском одеянии.

Полоцкий. Служенье музам невозможно без уединенья.

Сильвестр. Послушник прав. Человек, посвятивший себя книге, всегда оказывался за монастырскими стенами: Кирилл, Евфросиния, Эразм, Лютер, Рабле.

Стрелец. Симеон.

Офицер. Ряса монаха или священника — униформа писателя любого времени и эпохи.

Полоцкий. Лучшие творения Слова созданы холостяками или бездетными людьми. Они сочетались браком со всим людом посполитым и оплодотворили мудрость вечную мыслью и чувством.

Сильвестр. Учение есть духовное обручение со знанием, а значит, с книгами.

Полоцкий. *Aut liberi, aut libri* — или дети, или книги.

Сильвестр. Профессоров факультетов искусств, права, медицины и теологии европейских университетов заставляли жить в безбрачии. Считалось, что это предоставляло больше возможностей для творческой реализации человека, нежели жизнь семейная. Именно поэтому библиотеки сих храмов науки очень богатые. Поскольку у профессоров не было наследников, то после их смерти книги забирала Alma Mater.

Полоцкий. Некоторые ученые завещали для торжества науки и свое тело. В университетах Италии есть целые ряды черепов былых профессоров, напоминающие о бренности жизни и торжестве разума.

Офицер. В последнем весьма сомневаюсь. А потому предлагаю рекламный лозунг для холостяков — *Celiberté*, то есть совмещение двух понятий: *celibat* (одиначество) и *liberté* (свобода).

Сильвестр. Университета у нас пока нет. Только проект Симеона о его создании. Но все лучшее тоже создано монахами. Ведь клобук всегда освобождал писателя от материальных забот, погубивших многих.

Полоцкий. *Cucullus non facit monachum*. Клобук, куколь по-нашему, то есть шапочка, никого не превращает в монаха.

Послушник. Так что же мне делать? Что передать отцу-настоятелю?

Полоцкий. Решись быть мудрым. Человек свободен в выборе своем. Но устроен своеобразно, двоедушно. Поэтому что ты ни выберешь, все равно будешь каяться.

Сильвестр. Многие из князей великих и даже царей перед смертью принимали постриг и уходили в лучший мир под другим именем и в ином одеянии. *Beatus ille* — Блажен тот, кто вдали от дел...

Полоцкий (Послушнику). Думаешь, что в монахи идут святые?

Послушник. Глядя на вас, да. Мне рассказывали, как полоцкий отрок Самуил Петровский-Ситнианович постригся в монахи. Он боялся, что светская жизнь и семья могут повредить научной и поэтической деятельности, которой он так жаждал:

*Ибо не будет мощно с книгами сидети,
Удалят от них жена, удалят и дети...
И Феофраст в князи си того возбраняет,
Препятствие мудрости женитбу вещает.
Ей неудобно книги довольно читати,
И хотение жены в доме исполняти.*

Офицер. Фарисей. Ты просто боялся, что ни одна баба за тебя не пойдет. Кому ты нужен? Ведь сам писал, что заплатишь, если тебе найдут супругу:

*...а стану дарити,
Кто мя изволит скоро оженити.
Я буду ему праведно служити —
Хлеб дармо ести, вино добре пити.*

Ты есть эзопова лиса, неспособная достать виноград, а потому обзывают его зеленым и невкусным. С той причины и жен отвергаешь.

Полоцкий. Так это же шутка. В этом стихе описаны и палаты за печью, и лев, которого я раздрал якобы, подобно Сампсону. А в целом я был пригож собой и статен.

Стрелец. К наружности доверия нет.

Офицер. И потому учитель Самуил в 27 лет дает обет целомудрия и становится монахом Симеоном, отвергающим земные улады? Ведь нет ничего слаще той роскоши, что дает лоно кобеты.

Полоцкий. Александр говорил, что сон и близость с женщиной более всего другого заставляют его ощущать себя смертным, так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы (Плутарх).

Сильвестр. Счастье состоит в том, чтобы мириться со своей судьбой и быть довольным своим положением. Если бы счастье заключалось в телесных удовольствиях, мы бы назвали счастливыми быков, когда они находят траву для еды или корову для совокупления.

Офицер. А они и счастливы именно в ту минуту. Удовлетворили царь-голод — физический и по самке — и довольны. Как и каждый человек нормальный. И не надо никого благодарить.

Полоцкий. Мудрец стремится не к удовольствиям, а к отсутствию страданий. Посему нет иной причины философствовать, кроме стремления к блаженству.

Сильвестр (*Послушнику*). Утратив возможность наслаждаться телесно, ты теряешь немного. Женщина — самая слабая составная часть человека. Чрез нея дьявол вхож ко человеку, отбирая не токмо саму душу, но и даже плоть:

*Ехидна, елма ся самцу совокупляет,
главу его, в уста вземши, огризает.*

Офицер. Какие страсти. Ты просто себя успокаиваешь, придумывая нелепости. Со страстию бороться в миру одинокому веле трудно, устоять же проти ея — невозможно. Для того, чтобы писать, сила надобна и жертвы великия. Когда прекрасная лицом блудливая девица пришла к Аввакуму в келью, тот сразу вспылал к ней дикой похотью. Но положил пальцы правой руки на три свечи, дабы чрез боль избежать соблазна. И устоял.

Полоцкий. Бес его искушал не однажды. Аввакум в тот раз победил, а потому поверил в свою святость. А это и привело к погибели.

Стрелец. Враг человеческий ходит кругом, ищет, кого поглотить. От него не избавишься.

Сильвестр. Бес поймал его на гордыни. Святость — тоже соблазн. После смерти Алексея Михайловича царем стал Федор Алексеевич, человек благочестия. Истовый старообрядец воспользовался моментом и написал государю, что во сне видел горящего в аду Алексея Михайловича, который попал в пекло за отрицание подлинной веры и принятие никонианства. Тем самым надеялся отвратить нового государя от греческого обряда. Но Федор даже представить не мог, что отец его — грешник. Он посчитал *сие великой хулой на царский дом*. Аввакума обвинили во всех смертных грехах и сожгли в срубе вместе со сподвижниками.

Стрелец. И правильно. Посметь такое о царе помыслить.

Полоцкий. Каждый думает, что Бог на его стороне.

Офицер. А богатые и могущественные это знают.

Послушник. Как же тут не впасть в грех отчаяния?

Полоцкий. Отчаяние — это страх без надежды. А у человека всегда есть доска для спасения в океане бурливом. Это Христос.

Офицер. Лойола, хорошо известный вам (*указывает на Симеона*), не будем показывать пальцем, основатель ордена езуитов, заявил, что у христианина нет никаких причин, чтобы печалиться, и много поводов для веселия.

Послушник. Какая радость сидеть в келье, аки тать в поруби. Зачем такая жизнь?

Полоцкий. *Concedo*. Допускаю. Но размышление — это тоже страсть. Философу жизнь предоставляет более радости, нежели распутнику. Один только разум может обеспечить безмятежный покой.

Послушник. Конечно, легче всего обмануть самого себя.

Полоцкий. Но ты можешь стать Диогеном — человеком, которому даже Александр Великий ничего не мог дать и у которого ничего не мог отнять.

Послушник. Так у него ничего и не было.

Сильвестр. Кроме бочки и кружки.

Послушник. Которую он, увидев, как мальчик пьет с ладони, выбросил.

Офицер. Ему не нужны были ни еда, ни женщина. Когда хотелось есть, он просто гладил живот.

Послушник. А если хотел женщину?

Офицер. Тебе не понять. Гладил ниже.

Полоцкий. Ваш юмор очень глубокий. Как и у всех служивых.

Сильвестр. Природа нас обыскивает у входа и выхода. Мы ничего не можем принести в этот мир, ни вынести из него.

Офицер. *Gaudeamus igitur*. Будем веселиться: нынешний день — наш, а после ты станешь прахом, тенью, преданием. Наслаждайся. Тебе достался *Optimus mundus* — Лучший из миров.

Полоцкий. А как с заветом «Да будет человек совершенен»?

Стрелец. А кто такой совершенный человек?

Полоцкий. Это добропорядочный, образованный христианин и верный сын своего государя.

Стрелец. Правильно. Главное качество человека — любовь и верность государю.

Офицер. А что еще может сказать выходец из чужого края с необычными религиозно-философскими убеждениями, напрямую зависящий от ласки царя? Ты однозначно будешь служить самодержцу. Иначе съедят тебя в мгновение ока. Вот почему ты в «Букваре» утверждаешь, что благополучие царя является главной целью существования всех жителей:

*Ты, чтый, за сию милость моли Бога
царю пресветлу жити лета многа,
Во книзе жизни написану быти,
здорово, весело, славно в мире жити,
Вся супостаты силно побеждити...*

Сильвестр. Больше всего формированию подобного идеала и соответствует иноческое житие. В уединении и размышлении обрешь искомое.

Офицер. Уединение надо искать не в монастырях, а в больших городах и толпах.

Полоцкий. *Exempla docent*. Человеку необходим живой пример, словам мало веры. Исключительность иноческой судьбы — показать значимость самого стремления к совершенству: *Духовнии вси, вы молитися непрестанно. Мирстии вси, вы трудитесь... во своем звании неленосно. Вои в полцех, художницы во градах и селех; тяжателіе на нивах.*

Офицер. Каждый на своем поприще служит Богу. *Рольник землю, солдат оружие, моряк лодку — каждый свое хвалит.*

Полоцкий. Откуда ты так хорошо знаешь мою поэзию? Правильно, блюди свое сословие: *молитва Симу дана, плуг — Хаму, а меч — Иафету.*

Офицер. То есть сыновья праведника Ноя у тебя сиречь символы соответственно духовного сословия, пахарей-крестьян и воинов-дворян? Паши, сей, коси, с господами не садись. Пахаря дело — блюсти поле, а шляхта бы тешилась рыцарским ремеслом?

Сильвестр. Однако в жизни идеал всегда противопоставлен действительности: мы знаем, каким должен быть настоящий монах, а видим совсем иное:

*Но увы бесчиния! Благ чин погубися.
Иночество в бесчинство в многих преложиися.*

Послушник. Глядя, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта.

Офцер. Злоупотребление не отрицает употребления. Сам же иеромонах Симеон дал яркие сатирические зарисовки пьянства, чревоугодия, нравственной распущенности монахов:

*Не толико миряне чреву работают,
Елико то монаси поят, насыщают.
Постное избравши житие водити.
На то устремишася, дабы ясти, пити...
Мнози от вина буи сквернословят зело,
Лают, клеветуют, срамят и честные смело...
В одеждах овчих воци хищнии бывают,
Чреву работающе, духом погибают.*

Сильвестр. Симеон речь ведет не о всех монахах, а только о *бесчинных*, которых и обличает *с плачем*, дабы способствовать исправлению нравов. Для него вообще характерна любовь к парадоксам, к взаимоисключающим вещам, к остроумному разрешению неразрешимых противоречий.

Офцер. Как в стихотворении «Вино». Ты не знаешь, хвалить или хулить вино, т. к. оно, с одной стороны, «полезно силам плоти», с другой — будит в человеке «вредные страсти». Ответ оказывается остроумным снятием противоречия: *добро мало пити*.

Полоцкий. Виновато не вино, а виноват пьющий. Виновато не монашество, а особа. Многие невежды, не бывшие никогда учениками, смеют называться учителями... По правде же это не учителя, но мучители. Оттого умножились в людях злоба, преуспело лукавство, волхование, чародейство, разбой, воровство, убийства, пьянство... Перестаньте *сия зла творити*.

Сильвестр. Кто поведет стадо? Кто пастух? Необразованность духовенства особенно опасна для общества.

Полоцкий. Пиит в не меньшей мере способен привлекать *слухи и сердца* людей. Посему могучее оружие поэзии должно быть использовано для распространения просвещения, светской культуры, правильных нравственных понятий.

Офцер. Наивны твоя моралистическая дидактика, стремление словом исправить пороки общества и тем самым укрепить его основы. Помнишь, *Sus Minerva docent*. Или как у тебя: *Невежда мудрого елма поучает — Слепец очитого провождает*. Особенно мне нравится *Сова о лучах солнца рассуждает*, почти классическое — «Свинья Минерву учит».

Полоцкий. Иначе неумоготу. Поколение отцов, что хуже дедовского, породило нас, еще негоднее.

Сильвестр. Ты веришь, что стихами можно исправить нравы. Три тысячи лет тому написал премудрый Соломон свои наставления для юношества. И что? Помогло хоть одному?

Полоцкий. *Яко врачество болезнь исцеляет, Философия нрав зол души исправляет*.

Офцер. Литература — служанка богословия, философии, власти.

С и л ь в е с т р. Если бы так было все просто, как в твоих книгах: *Обрящет* zde благородный и богатый врачества недугом своим; гордости — смирение; сребролюбию — благорасположение... *Обрящет* гневливец — кротость и прощение удобное; ленивец — бодрость; глупец — мудрость... ненавистник — любовь... блудник — воздержание.

С т р е л е ц. Как в сказке. Сказал и получилось.

О ф и ц е р. Глупость или наивность? Не все ли равно.

Мини-сцена, как в первом действии. Освещаются череп (обязательная принадлежность монашеской кельи) и С и м е о н.

Ч е р е п (*беседует с ним*). *Omnes una manet nox.*

П о л о ц к и й. Ты, столько лет безмолвно лежащий на моем столе, заговорил только для того, чтобы сообщить подобную пошлость? Я и без тебя знаю: всех ожидает одна и та же ночь. И я скоро стану подобен тебе. И вместительность моего разума будет украшать келью юного монаха и пугать редких посетителей. Может, еще и ужаснее буду.

Ч е р е п. Я тебя знаю лучше, чем ты сам. За столько лет совместного бдения в единой келье изучил досконало. Ты напрасно пытаешься бравадой скрыть свой ужас. Ведь чувствуешь и знаешь, какой удел ждет тебя: *Nos habebit humus* — Нас примет земля. Пойми: начало мудрости — страх Господень.

П о л о ц к и й (*продолжает цитату*). Только глупцы презирают мудрость и наставление (*Притчи Соломона*, 1:7).

Ч е р е п. Презирай не презирай, исчезнет все: и книги, и соболя, и деньги в серебре и золоте, и ты сам. Как говорил твой Шекспир в сонете № 65, продлить жизнь можно только в наследниках или в чернилах, то есть в сочинительстве. Ты избрал второй путь — твой путь.

П о л о ц к и й. Кто же столь самонадеян, чтобы рассчитывать на бессмертную славу? Я сочиняю для спасения души.

Ч е р е п. Ты сочиняешь ради славы, надеясь посредством книг продлить свою брэнную, никому не нужную жизнь. Даже Аввакум, твой якобы враг, а на самом деле *Alter ego*, декларирующий свою верность старине, в сущности тебе соратник. Он тоже пишет о себе, пренебрегая упреками в самохвальстве. Надеется на будущее: «Пускай раб — от Христов веселится, чтучи! Как умрем, так он почтет, да помянет пред богом нас». Смешно смотреть на вас, убогие людишки. Сочинители. Щелкоперы. Бумагомаратели. Брежете, сочиняете, искажаете. Никто от вас не узнает правды. «Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая как угодно исказит то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выроdkов и шарлатанов» (*И. Бунин*). Один пишет по восемь страниц в день. И другой не отстает. Пиши хоть на камне, на золоте, на стене — тщетны твои устремления. Суета сует. *Omnia vanitas*. Все, что возникло, гибнет. Никто не избежит удела человеческого. А тебя только страх смерти принуждает к писательству. Хоть таким способом надеешься оставить память у потомков. Ведь по две тысячи лет живут книги и память об их создателях. А многие колена людей ушли в Атлантиду времени, и никто не вспомнит о них. А у тебя брезжит надежда. Ты из того стада сочинителей, что книги любили сильнее своих детей. (*Пауза*.)

Че встрепенулся? Не нравится? Это тебе не проповеди читать и чужие грехи неистово обличать. Стань сам на край собственной ямы, которой ты так пугал христиан. И узри, что тебе никто не придет на помощь.

Полоцкий (*освещается*). Один человек приходит в этот мир, один и уходит. В этом мудрость великая.

Череп. А может, не все так безнадежно? Вдруг у тебя был грешок в юности? Ведь так легко оставить свое продолжение: сладостное мгновение — и ты не один. А помнишь, как раз перед тем, как навсегда уйти в монастырь, ты хорошо покуролесил. Помнишь кабак, помнишь, как смачно выглядела та девка, которую вы поймали? Вот ради чего надобно жить: эти груди, ляжки, лоно. Помнишь, монах? Да не стыдись ты. Хоть раз в жизни почувствуй себя мужчиной. Покраснел, даже под бородой видно. Белорусцы боятся жить полной жизнью. Нация поэтов. Признайся сам себе: разве сравнятся с этим твои стишки? Ни-ког-да! Завидуя последнему смерду, ты ненавидишь жизнь и призываешь смерть, которую тоже боишься. Кого ты хочешь прельстить своими призывами:

*Не люби тела и будет цела
Душа, конечно, проживет вечно.
При жизни, хлебе,
Со Христом в небе...*

(Пауза.) Можешь себя утешать: не плачь, бездетен и Христос. Но этот послушник прав. Ты ни о чем жизнерадостном не пишешь. Потому что все твои мысли о черве, ползающем по глазу и глодающем тело. Ты уже не можешь созерцать красоты, ибо в каждом прекрасном лице видишь будущий тлен, тот смрад и червие, что из него рождается. Больное у тебя воображение. Обильное, но больное. Даром ты ищешь утечи в едином справедливом законе на свете: каждый родившийся — умрет непременно. Даже тот, кто с Богом ходил или от королей родился. Со страхом зришь ты, как княжеские митры и символы святости, епископские и гетманские знаки смерть брезгливо сгребает в единую кучу. А кости человеческие и в земле, и на оной ничем друг от дружки не отличаются. Ни царя, ни раба, ни монаха. Ни поэта. Сам пишешь: *Человек есть пузырь, стекло, лед, небылица, прах, сено, сон, грош, глас, звук, ветер, цветок, ничто чтоб его и королем называли.* Наивны твои надежды на бессмертие поэтическое. Не помогут ни сладкая речь, ни мудрые словеса. Правда, тебе повезет: тело твоё будет захоронено в храме. Иных же кости разнесет воронье или превратятся они в пепел и развеяны будут. И где твои стишки, в которых ты якобы не боишься смерти и не тревожишься за непогребенное безжизненное тело. И вослед за Диогеном просишь: положи возле мертвого тела дубину, буду отбиваться от злых зверей, алчащих меня растерзать. Как там у тебя в стишке?

Полоцкий. *Где либо хотите, тамо погребите, мне во ин век с миром отити дадите.*

Череп. Отойдешь. Но отнюдь не с миром. И даром ты сейчас крестишься, ибо сам не веришь, что Он пошлет тебе надежду. (*Исчезает, сцена освещается.*)

Полоцкий (*очнувшись*). Сгинь, сатана. Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что он должен осуществить, а чтобы Бог сказал, что нам надлежит сделать. Мы ничего не должны просить у Бога, потому что не знаем, в чем наша полза. (*Все испуганно смотрят на него; сцена освещается; Симеон открывает глаза.*)

Сильвестр. Словно сновидения больного, рождаются причудливые образы.

Полоцкий (*Послушнику*). Ты кто?

П о с л у ш н и к. Послушник. Но хочу стать поэтом.
О ф и ц е р. Еще один ненормальный.
С и л ь в е с т р. Поэтом смерти?
П о с л у ш н и к. А наш Симеон певец чего? Любви? Смерти? А кто его знает, кто прав. Разве Христос.
П о л о ц к и й. Господь терпелив, потому что вечен. Так всегда бывает, ложь, которой поверили, становится истиной. А я пишу о жизни. (*Послушнику.*) Возьми книгу.
П о с л у ш н и к. Для обители сей великий дар?
П о л о ц к и й. Тебе.
П о с л у ш н и к. Мне? Не верю. Разбудите меня.
П о л о ц к и й. Возьми. (*Тот берет.*) Ступай.
П о с л у ш н и к. Не знаю, как и благодарить. (*Становится с книгой на колени.*) Благославите, отче.
П о л о ц к и й. На что?
П о с л у ш н и к. На жизнь праведную. (*Уходит.*)
П о л о ц к и й (*перекрестив, откидывается в кресле*). Веселие мира суета есть.

Картина пятая

Те же без П о с л у ш н и к а, У ш а к о в.

О ф и ц е р. Зачем подавать тщетную надежду неразумному? Грех это. Еще одному хлопцу жизнь испоганили. Когда-нибудь он вас проклянет, ибо многие проклинали дар сей и тех, кто подвиг на это. (*Пауза.*) Заразная эта штука, поэзия. Как короста.

С и л ь в е с т р. И пошел он за нею, как вол на убой и как олень на выстрел; как птичка кидается в силки, и не знает, что оне — на погибель ее (*Притчи Соломона*).

П о л о ц к и й. Грандиозно. Пиит сравнивает поэзию с непотребной женщиной. Премудрый Соломон был бы в восхищении, услышав, как его слова употребляют.

О ф и ц е р. Не до смеха. Давай рассудим. На тебя просто Бог глянул. Твое самое любимое занятие — *рифмотворение*. И тебе очень повезло — увлечение западными обычаями стало модным в Первопрестольной. Царскому двору потребовались ученость и латинская грамматика. И тут ты подвернулся. Стихотворцу и педагогу в одном лице выпал шанс, каковым ты сполна и воспользовался. И вот уже 15 лет как Симеон, теперь уже Полоцкий, в Московии. Почему именно тебе удалось? Разве ты такой один был? Да просто ты сыграл на слабостях человеческих, от которых не свободен и царь. Алексею Михайловичу приятны были и остроумные похвалы, на которые ты был горазд и скор. И хвалебные вирши в честь семейников. Так и жил ты царской милостью. Сколько тебе перепало.

С и л ь в е с т р. А сколько погибло поэтов, гоняясь за сей обманной звездой.

П о л о ц к и й. У нас говорили — за перелетной травой.

С и л ь в е с т р. Такова планида стихотворцев. Овидия изгнали из вечно-го города, Томаса Мора обезглавили, Аввакума сожгли.

С т р е л е ц. И правильно сделали. Всех поэтов — в тюрьму, на плаху. Книги — в костер. От них все беды.

Полоцкий. И божественные?

Стрелец. Не знаю. Наверное, нет.

Сильвестр. Почему же? Уже жгли, топили. И не токмо мои. Вот свидетельство Соловецкого чернеца Василия Крюкова о том, как ревнители старины взяли в ружейной палате новоисправленные книги, и вывезли за монастырь, и просекли пролубь, и на берегу складили огонь. А в тех книгах были Евангелии... и Апостолы, и Служебники, и Треоди, и иные всякия богодухновенныя книги... Да и в тех книгах были на листах напечатаны образы Божии в лицах, образ Господа нашего Иисуса Христа и Пречистыя Богородицы, и Ивана Предтечи, и апостолы, и пророки, и многих святых. И те оне образы выдирали ис книг, и драли, и на них плевали, и под наги метали, и топтали, и в пролубь потапили. А который оброс кверху всплывет, и они копьи и бердуши в лица калоли и под лед подвадили, а доски пожгли.

Стрелец. И мы так делали.

Сильвестр. И никто не заступился?

Стрелец. Почему же? Заступались. И все пошли в пролубь. За книгами. (*Хихикает.*) Читать.

Офцер. Занятия науками скорее изнеживают души и способствуют их размягчению, чем укрепляют и закаляют их. Самое мощное государство на свете — это империя турок, народа, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам. И Рим был гораздо могущественнее, пока там не распространилось образование. И в наши дни самые воинственные народы являются вместе с тем и самыми дикими и невежественными. Доказательством могут служить также скифы, парфяне, Тамерлан. Во время нашествия готов на Грецию ее библиотеки не подвергались сожжению только благодаря тому из завоевателей, который счел за благо оставить всю эту *утварь* неприятелю, дабы она отвлекла его от военных упражнений и склонила к мирным и оседлым забавам. Они оставляли им, ибо *это* отвлекало от военного дела (*Монтень*).

Полоцкий. За стиси меня отравили в хлев, чистить за тельцами. А потом бросили в тюрьму и заковали в кандалы. Правда, ненадолго.

Офцер. Это у вас в Литве так принято. А у нас Елифанию отрубили четыре пальца, чтобы неповадно было обличать власть пером, и вырезали язык, дабы молчал. О том же.

Сильвестр. Один хорват 15 лет сидел в Сибири за свои прожекты. Написал «Граматычно изказанје об русски езику».

Офцер. И еще трактат о политике. Не забывай.

Стрелец. Так что же вас принуждает к этому, почему вы пишете и сочиняете? Воистину какое-то проклятие.

Офцер. А сие от них не зависит. Под влиянием приливов крови к голове многие индивидуумы делаются поэтами, пророками или прорицателями. Марк Сиракузский писал довольно хорошие стихи, пока был маньяком, но выздоровев, совершенно утратил эту способность (*Монтень*.)

Полоцкий. Если можешь не писать — не пиши. Но это не про меня. Как и совет Мишеля Монтеня: книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем здоровье и бодрость — самое ценное достояние наше, — то не лучше ли оставить их?

Сильвестр. В том и беда, что талант надо лелеять, а не бросать псам. Необходимо использовать все условия для его развития, не пренебрегая даже теми занятиями, к которым душа не лежит.

Полоцкий. Талант оставить все — *Есть злато в землю тщетно закопати.*

Сильвестр. Когда говорят пушки, музы молчат. У нас наоборот. Если бы не война, ты бы не встретился с царем Алексеем Михайловичем. Самодержец дважды прошел через Полоцк, присоединив его к своим владениям. И Симеон со своими учениками дважды приветствовал нового правителя. Так и стал апологетом русского царя.

Офицер. И притом чрезвычайно умным и ловким. Симеон, прославляя самодержца, впервые соединил три важнейших концепта — *власть, вера и война*, продемонстрировал их единство и нашел для поэтического воплощения необходимые слова. Правда, при этом почти буквально скопировал уже существующую декламацию, ограничившись лишь заменой имени венценосца.

Полоцкий. *Nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius*: Нет ничего сказанного, что не было бы сказано ранее.

Сильвестр. Подобные заимствования допускались в ученической среде в целях обучения и пригождались для срочного сочинения панегирика на заданную тему.

Офицер. Пиит и просветитель угодил самодержцу. Алексей Михайлович не привык в Москве к велеречивым славословиям. А тут такая экспрессивность, патетика, эмоциональность. Живого человека с Богом сравнивают.

Полоцкий. Это у вас-то, наследников Византии, не было традиции восхваления? Да ваши придворные льстецы дадут всем фору. Вспомни плетение словес. Да вы такие карусели устраивали, витии восточные. Вспомни икону друга моего Ушакова «Насаждение древа государства Российского», на которой цари намалеваны подле святых и самого Господа. Он и меня уже рисует в святовском обличи.

Сильвестр. И теперь примостился на хорах. Пишет издали портрет Симеона, потому что иеромонах запретил сие святотатство.

Полоцкий. Да пусть идет ближе, Бог с ним. Его не переубедишь.

Ушаков переходит с полотном на подрамнике в одной руке, в другой держит кота, которого передает Симеону, затем молча рисует.

Полоцкий. Ой, Мартин. А я думаю, где пропал этот гультай?

Ушаков. На ногах моих спал.

Полоцкий. Устал, бедняга. Стар стал, сил нет. Ведь шестнадцать годков.

Стрелец. Сколько?! Столько коты не живут. И этот знахарский.

Офицер. Ладно, еще один культрегер. Хорошо. Царя и его свиту поразила продуманная церемония декламации специально сочиненных виршей. Послушайте, как звучит заглавие: *Метры на пришествие во град отчистый Полоцк пресветлого благочестивого и христолюбивого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белья России самодержцы и иных царств, и князств, и государств обладателя от отроков, знайдующихся во училище при церкви святых богоявлений монастыря брацкого полоцкого мовеные при привитаню пресветлого его царского величества, а наготованные през господинов отцов и братию тоеиже святой обители в лето от создания мира 7164, а от воплощения Божьего Слова 1656 месяца июля, 5 дня*. Продуманное, не виданное доселе действо создавало впечатление, что все новые подданные ликуют при появлении государя: «Радуйся, Белорусская земля!» Кто же не возрадуется, ежели тебя встречают, словно римского императора:

*Без тебя тьма есть, как в мире без солнца.
Свети ж нам всегда и будь оборонца
От всех противник.*

Полоцкий (*ворчит*). Попробуй тут не возликуй. Ведь все помнили, каким был предыдущий царский визит в Полоцк, совершенный Иваном Грозным. Он-то в своем родном Нижнем Новгороде вырезал 10 тысяч людей.

Сильвестр. Из 30 проживавших.

Офицер. А почему ты не вспоминаешь более ранний поход на твой родной город польского короля Стефана Баторья? Вряд ли он был веселее.

Полоцкий. Хрен редьки не слаще. Абое рабое. От их совместных стараний сгорела Полоцкая библиотека. Погибли книги, картины, летописи. Храмы сгинули.

Офицер. Но именно ты первым назвал Алексея Михайловича «Царь Солнце».

Сильвестр. Причем раньше, чем во Франции придворные стали именовать Людовика XIV «Король Солнце».

Полоцкий. Они у нас украли сию метафору, завидно им стало, что у нас царь такой лучезарный.

Сильвестр. Его свет рассыпается на 48 лучей.

Офицер. Конечно, придумавшего сие ожидала завидная доля: отныне он стал пользоваться благосклонностью царя и получать гонорары за сочинительство.

Стрелец. Великий царь достоин восхваления и почитания, он охраняет народ от волков в овчих шкурах.

Сильвестр. Пастух и собаки совместно больше овец съедают, нежели волки, от которых те якобы их охраняют.

Офицер. Ты поставил на православную Москву, надеясь на ее победу в большой войне. И был в этом совсем не одинок. Так поступили и многие твои земляки — полоцкая шляхта даже участвовала в походе Алексея Михайловича на Ригу. Но твоя задача была совершенно иной — назвать новоприобретенные земли. В том, что при московском дворе имя «Белая Русь» закрепилось за нынешней территорией, твоя заслуга. А царский титул пополнился новой формулой «Белая России». «Ездец Литовский», сиречь герб «Погоня», склонился пред орлом двуглавым. Отдал и землю, и имя.

Полоцкий. Писатель всегда ответствен за свои слова. На нем лежит вина великая и страшная.

Стрелец. И тебя используют как хотят.

Полоцкий. Расскажу тебе притчу. Диоген, которого захватили пираты, запретил ученикам выкупать себя. Он доказал, что философ-киник, попавший в неволю, может управлять своим господином, ставшим рабом телесных страстей и общественной морали. Когда его продавали на Крите, он попросил глашатая объявить так: «Кто хочет купить для себя хозяина».

Офицер. Не лъсти себе, ведь ты совсем не философ. Ты выступаешь в качестве первого придворного поэта, создателя панегирических торжественных стихов, из которых выросла хвалебная ода, восхваляющая всех самодержцев. Образ идеального просвещенного самодержца является олицетворением и символом Российской державы, живым воплощением ее политического могущества. *Ликуй, орле Российский, под небо взнесенный, Твоей власти есть Польский орел порученный.* И эти приветства создавал десятками, отмечая

политическими художествами все события в жизни царской семьи — рождения, смерти, брак, именины. Даже если и не просили.

П о л о ц к и й. Почитал своей первейшей обязанностью и великой честью.

О ф и ц е р. И здесь сокрыта твоя ядовитая, словно у аспида, латинская ирония. Называешь себя рабом смиреннейшим, иеромонахом недостойным, а в душе смотришь на всех с презрением.

П о л о ц к и й. Сочинители всегда были скрытномудрыми. Из-за невозможности вести открытый бой, подобно служивым, они уподобляются женам, воюющим хитростью. Книгам отдавали кровь и самую жизнь, а те им платили сторицей. Один поэт в предсмертном стихотворении, прощаясь с библиотекой, благодарил книги за то, что они прославили его и помогли сыскать лиц высоких милость...

О ф и ц е р. Да и Аввакум, этот якобы сторонник правды, тоже хвастается своими успехами. Он стремился в земляной своей тюрьме, в воде и нечистотах, сырости и голоде не отстать от Симеона, который в роскошных покоях ежедневно исписывал мелким почерком восемь страниц рифмованными виршами, служащими образцом для всех сочиняющих на *словенстем книжном языке*. Стихоплеты, бумагомаратели, возмнившие себя креаторами. Графоманы. Лечить вас надо.

П о л о ц к и й. Это не графомания. Подобная плодovitость есть стремление новой литературы родиться.

С и л ь в е с т р. Что так далеко ходить. Ведь ты сам, Симеоне, утверждаешь, что *рифмотворное писание во инех языках велию честь имать и ублажение и творцев его достойнаго не лишает отъ Бога и отъ человек возмездия и славы*.

П о л о ц к и й. Боги так же мало дают отчет в своих поступках, как и цари, и даже люди.

Пауза, затем в полной темноте звучит «Молитва в скорби» С и м е о н а:

*Тяжкие волны на мя ныне нападоша
И скорби великия главу превзыдоша.
От них же не могу аз себе свободити.
Ты, человеколюбче, изволь исхитити.
Веси мою невинность, сердце мое зриши,
Глас убо многослезный раба си услыши!*

Картина шестая

Т е ж е и П о с л у ш н и к.

П о с л у ш н и к (*вбегают*). Актеры приехали, милорд. Ей-богу. (*Слова Полония.*)

П о л о ц к и й. Прикатали на ослах? (*Слова Гамлета.*)

П о с л у ш н и к. Лучшие в мире актеры на любой вкус, для исполнения трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико- и историко-пасторальных и для сцен в промежуточном и непредвиденном роде. Важность Сенеки, легкость Плавта для них не диво. В чтении наизусть и экспромтом эти люди единственные. (*Слова Полония.*) Я как увидел их, сразу воротился. Побегу туда. Позвольте.

С т р е л е ц (*идет к левой стороне, где раздается шум, затем возвращается*). Там этот, с кеатром который. Он уже с месяц ходит. Достал всех вместе

со своим сбродом. По рынкам шастают, вертеп показывают. С чего живут, неизвестно. Воруют, поди. Или грабят.

Полоцкий. А... Помню... Он давно уже просился.

Стрелец. Дня три уже какие-то доски устанавливает там, где вы показываете игрищи...

Сильвестр. На сегодня назначено представление...

Полоцкий. Зови. Только быстро.

Входит Хорег.

Хорег. *Laudatur Jesus Cristus*. Мир дому сему.

Офицер. Весьма смелое начало.

Сильвестр. Если не сказать боле.

Полоцкий. Слушаю, человече.

Хорег. Я хорег, режиссер по-нонешнему. Уже не первый раз к вам добираюсь. Писал вам.

Полоцкий. Помню твои листы зело занимательные.

Хорег. Хотим представить ваши пиесы сочинителю. Вам, дражайший Симеон, предтече драматургии и всего театра. Помню еще ваши полоцкие постановки, но это новое прочтение классики, новаторское.

Полоцкий. Хорег — это заменитель греческого хора?

Хорег. Да.

Полоцкий. В одной особе весь хор?

Хорег. Не только, но и редактор, и судия. И актер.

Офицер. Короче, хорег важнее драматурга.

Хорег. Похвально, что понимаете.

Сильвестр. Интересно.

Хорег. В ваш «Рифмологион» включены панегирические приветствия и две пьесы в стихах: *Комидия притчи о блудном сыне* и *О Навуходоносоре царе, о теле злате и о трех отроках, в печи не сожженных*. Я из них сделаю единое сквозное действие. Евангельская притча превратится в актуальное событие.

Сильвестр. Теперь все помешаны на театре.

Офицер. После того, как царь Алексей Михайлович увлекся представлениями и со всем своим двором смотрит *комидии*, длящиеся по несколько часов, все стали поклонниками театра.

Ушаков. Во Франции комедия оказалась в чести только после того, как кардинал Ришелье взял на себя заботу о ней, до этого туда не ходили честные женщины. А вообще в Париже профессия актера получила королевское признание только 40 лет назад.

Хорег. А я так надеялся, что царь увидит спектакль. (*Передает лист.*)

Офицер. Еще один артист мыслит о карьере. Ну и ушлый народец.

Сильвестр. Почему так бывает, что увлечения царей очень любят холопы?

Полоцкий. Может, потому, что любят своих хозяев?

Гаснет свет, освещается Мельпомена, красивая стройная девушка.

Мельпомена. А ты вроде не знаешь, почему хобби правителей так нравятся подданным? А сам все делаешь для этого. Возомнил себя первым писателем, основоположником и творцом новой словесной культуры. В Полоцке писал стихи на польском, белорусском, украинском языках, латы-

ни, обнаруживая незаурядное поэтическое дарование. Прибыв в Москву, сочиняешь только на русском. Хотя собирался открыть академию для изучения трех *коренных* (очень интересно?!) языков — греческого, латинского, славянского. Ришелье основал французскую академию, чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки. Так и ты следом?

Полоцкий. Это книжный язык. Литературный. Словенский. Он не особенно понимаем простым народом. Я подготовил даже словарь польско-церковнославянский. И сам не сразу к нему пришел: *Писахъ въ начале по языку тому Иже свойственный бе моему дому*.

Мельпомена. В театре может звучать только один язык — греческий. Как в раю — древнееврейский. Ну ладно, еще латынь. Хотя именно здесь, в Московии, твое поэтическое творчество расцветает. Насочинял всего — не измерить. Столько писать могут только графоманы. А для всяческой писанины необходимы новые читатели, способные ее воспринять и оценить. Поэту всегда нужны слушатели, и он их найдет при любом раскладе — пусть это будут хоть буйволы или бараны. Вот почему чаще всего поэты — пастухи. Даже Дон Кихот мечтал подвигаться на сем поприще.

Полоцкий. Вместе с Санчо Панса он действительно собирался пасти овец и сочинять пасторали.

Мельпомена. Пииты хоть таким способом находят аудиторию. Тебе тоже нужны зрители, поэтому ты любишь литургию, обряды, крестные ходы. Церковная служба очень близка к театру — они крещены в одной купели. Подобным стремлением и объясняется твоя необыкновенная творческая активность — ты буквально заполонил царский двор виршами и действиями. Достал уже не только смертных, но и богов. Во все праздничные дни исполнялись твои «декламации», «диалоги» и *приветства* — панегирики. В теремах читались посвящения для царственных особ. Ты использовал каждый подходящий случай, лишь бы позволили произнести речь в стихах. Сочинял и для себя, и для других — по заказу или в подарок. Они звучали на царских парадных беседах, в боярских хоромаш и в церквях во дни храмовых праздников. И сам читал, и обученные отроки. И получалось зрелище, призванное изумлять и удивлять зрителя. Ты уже не поэт, а зодчий, использующий приемы символично-декоративного стиля. Иероглифика и, тьфу, не выговоришь сразу, эмблематика, фигурные, контурные стихи. Как читать твою звезду?

Симеон пытается возразить.

Мельпомена. Да не к правде стремишься, а собой в очередной раз хочешь полюбоваться. *Ad captandum vulgus*. Никто тебя не понимает. А ты и стараешься, из кожи лезешь. Подражание древним, сиречь имитация, а то и чистый плагиат, довлеет. При всяком подражании акцентируется внешнее, внимание обращено прежде всего на форму в ущерб смыслу. А сие создает ощущение несамделишности. Ненастоящая и вся твоя поэзия. Ты прежде всего оратор, а потом поэт. Да и оратор речью поставит дело перед глазами слушателей. А ты плетешь слова, витийствуешь, но они словно декорации — обозначают что-то, якобы некую реальность, часто яркую и деятельную, а на поверку эта изображенная реальность лишь ширма, за которой — пустота. А в панегириках вообще превзошел самого себя. Твои вирши уже не стихи, а Бог его знает что. Некая вербально-архитектурная хоромина словесного зрелища, над которым парит «Орел российский». По звездному небу по знакам зодиака движется Солнце. Ярко блистает своими лучами. Всего их сорок восем.

И в каждый вписаны добродетели царя Алексея Михайловича. На фоне Солнца — венценосный двуглавый орел со скипетром и державою в когтях. Сам текст написан в форме столпа — колонны, опирающейся на основание прозаического текста. Да такое и не каждый художник сможет намалевать, а только римлянин или француз. А теперь разве твой Ушаков, попавший под твое зловредное влияние и заявляющий: не сам ли Господь учит нас искусству иконописания? Стали говорить о музыке как об «архитектуре звуков», а об архитектуре — как о «музыке в камне». Живопись называют «молчаливой поэзией», а поэзию — «говорящей живописью». Забывают свои традиции, о чем пишет Симон Ушаков: «Многие из нас, владеющие искусством живописи, пишут то, что скорее достойнее смеха, чем благоволения и умиления, этим они вызывают гнев Божий и подвергают себя осуждению иностранцев и великому посрамлению от честных людей».

Ты не можешь писать так, как говорят нормальные люди. Да и говорить тоже. И слова твои книжные, ненатуральные. Даже господин Журден из комедии Мольера тебе не нужен, чтобы продемонстрировать отличие поэтического стиля. Избираешь вещи редкие, курьезные, видишь в них только знак, гиероглифик истины. И конкретные образы переводишь на язык отвлеченных понятий, логических абстракций. На таком переосмыслении построены все метафоры, вычурные аллегории, химерные уподобления. О твои риторические вопросы, восклицания, инверсивные обороты только язык сломаешь. Как только твои отроки выдерживают все? Ты бубнишь, как тетерев, и ничего не слышишь, кроме своего голоса. И восхищаешься своей мудростью и знаниями.

П о л о ц к и й. Я и хотел, чтобы стихи стали зрелищем. Чтобы их не только читали, но и рассматривали, подобно зданию или картине. Чтобы, по примеру Ушакова, добиться *живоподобия*. Ведь у него на иконах взгляды Богородицы и святых кажутся живыми.

М е л ь п о м е н а. Ты прав. Все люди лицедействуют. Весь мир театр, как было написано на занавеси в доме Шекспира. Это не искусство, а игрушка судьбы, погремушка, которую Боги бросили несчастному человеку.

П о л о ц к и й. Занавеси у театра Шекспира не было, актеры просто уносили тела мертвых героев, а потом выходили на поклон. Да и Эразм гораздо ранее Вильяма придумал это сравнение: «Вся жизнь человеческая есть не иное что, как некая комедия, в которой все люди, нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хорег не уведет их с просцениума».

М е л ь п о м е н а. Божественную музу поправлять...

Исчезает. Вспыхивает свет.

П о л о ц к и й (*пришел в себя*). Театр нужен, дабы сказать то, что нельзя изречь по-иному.

П о с л у ш н и к. Очнулся. И сразу мудрые мысли стал излагать.

С т р е л е ц. Театр — это игрище, гульбище и разврат.

П о л о ц к и й. Театр — это шахматы, в которые играют черт и ангел: черт — черными, ангел — белыми. Бог — и зритель, и судия игры. А вообще цель лицедейства — держать зеркало перед природой.

Х о р е г. Один известный герой в прославленной трагедии строил пастку.

П о л о ц к и й. Как, как ты сказал? Повтори.

Х о р е г. Ну, мышеловку.

П о л о ц к и й. Пастку. Любое слово вначале было у Бога, и у Бога получило оно свой смысл, неизменный и неотделимый. И даже если пользователь забывает этот смысл, то само слово его помнит и откликается на название

именно этим смыслом, о чем подчас мы даже не подозреваем. Откуда ты? Твой говор явно не московский.

Хорег. Из Литвы. Из Полоцка. Со мной еще один артист, а все остальные из Мещанской слободы.

Стрелец. И этот туда же. Они скоро все сюда переберутся. Понаехали.

Офицер. Очень немногие выехали *хотейниками*, большинство вывезены *полоняниками*. Новодевичий монастырь населен старцами (монахинями) и настоятельницами — переселенцами из Белой Роси, Оршанского Кутейнского монастыря.

Хорег. Их пение мы привезли с собой.

Ушаков (*отрываясь от рисования*). В 1668 году украшены хоромы Коломенского дворца резчиками-белорусцами, вывезенными из покоренных перед этим Полоцка, Витебска и Вильны. Кремлевские интерьеры заметно преобразились благодаря белорусским мастерам. Использование резьбы в храмах и хорамах царского семейства делало ее престижной и способствовало повсеместному распространению в России.

Полоцкий. Скоро займемся нашей хороминой.

Хорег. Давайте послушаем меня. Надо театр построить. А пока о пьесах. Тот герой из известной всем трагедии строил западню в самой пьесе. И утверждал, что иногда преступники в театре бывали под воздействием игры так глубоко потрясены, что тут же свои провозглашали злодеяния (*Гамлет*).

Офицер. Девять из десяти зрителей, проливающих слезы над жалостной историей в театре, на самом деле пройдохи и мерзавцы.

Сильвестр. Желанное выдается за действительное. Никогда искусство не будет сильнее жизни.

Хорег. Сомнительное лекарство лучше, чем никакое. *Artes molliunt mores* — искусства смягчают нравы. Сначала мы покажем вертеп «О Навуходоносоре царе, о теле злате и о трех отроцах, в печи не сожженных», представляющий собой инсценировку библейского рассказа из Книги пророка Даниила. Такого чуда вы нигде не увидите, во всей Европе.

Послушник. Как здорово. Настоящий феатр посмотрю.

Стрелец. Гнать их надо. Вместе с их вертепом. Я помню, Аввакум рассказывал, как, охваченный гневом, напал на группу акробатов и разметал музыкантов, играющих на барабанах и других дьявольских инструментах и заставляющих плясать медведей. Порвал бубны и потоптал свирели. (*Хорегу*.) Ежели вытащишь свой ящик, я его разломаю о твою харю.

Хорег (*испуганно поглядывая на буйного вояку*). Ладно, ладно. Не будет батлейки.

Офицер. Вот это правильно! Только так можно остановить хождение в русских землях чужеродных спектаклей на якобы библейские сюжеты.

Стрелец. Бить их надо.

Офицер. Все эти якобы театральные действия — вульгарное святотатство, недостойное человека благочестивого. Это удел скоморохов, шутов и кукольников. Вот почему их помыслы и нужно придушить в зародыше.

Стрелец. Пляски какие-то придумали. Что за охота ходить по избе, искать, ничего не потеряв, притворяться сумасшедшим и скакать скоморохом. Человек честной должен сидеть на своем месте и только забавляться кривляниями шута, а не сам быть шутом для забавы другого; это не годится.

Хорег. Но вы меня не поняли. Обличением Навуходоносора как правителя-тирана я хотел вослед за Симеоном утвердить мысль о необходимости для царя быть мудрым и справедливым, предлагая в прологе пьесы видеть

воплощение такого в образе Алексея Михайловича. А вы мне не позволили. Это происки против наместника Бога на земли.

П о л о ц к и й. Ладно, мы поняли. Позволяем. Давай действие.

О ф и ц е р. Хорошо, согласен.

П о с л у ш н и к. Давайте скорее представление. Не терпится увидеть.

У ш а к о в. Пусть глаз порадуется. Декорации кто малевал?

Х о р е г. Все делали своими руками, да ребята из Оружейной палаты подсобили.

У ш а к о в. Я вижу, что не по-нашему малевано. Но красиво.

С т р е л е ц. Правильно. Разогнать всегда успеем. Сперва глянем. Но без вертепа.

Х о р е г. Чего он прицепился к этой несчастной батлейке? Ладно, начинаем. Декламаторы, вперед.

Первый декламатор. *Римские смолкните все писатели, смолкните, греки, // Нечто рождается в мире, что Илиады славней.*

Второй декламатор. *Мы покажем вам спектакль, называемый «Комидия притчи о блудном сыне».*

Первый декламатор разворачивает плакат «Пролог».

Второй декламатор:

*Благородни, благочестивии,
Государие премилостивии!
Не тако слово в памяти держится,
Яко же аще что делом явится.
Христову притчю действием проявити
Зде умыслихом и чином вершити.
О блуднем сыне вся речь будет наша,
Аки вещь живу, узрит милость ваша.
Всю на шесть частей притчю разделихом.
По всяцей оных нечто примесихом.*

Первый декламатор:

*Утехи ради, ибо все стужает,
Еже едино без перемен бывает.
Изволте убо милость си явити,
Очеса и слух к действию приклонити:
Тако бо сладость будет обретенна,
Не токмо сердцам, но душам спасенна,
Велию ползу может притча дати,
Токмо изволте прилежно внимати.*

Хорег с плакатом:

Часть I.

Благородный отец делит свое имение между обоими сыновьями и дает им наставления. Он советует им надеяться на Бога, руководствоваться в жизни правилами благочестия и хранить христианские добродетели. Отцу отвечают оба сына, но отвечают по-разному. Один собирается жить в родном доме, другой рвется в чужие края.

Хорег. Сын старший глаголет к отцу.

Первый декламатор:

*Отче мой драгий! Отче любезнейший!
Аз есмь по вся дни раб ты смиреннейший;*

Не смерти скоро аз желаю тебе,
 Но лет премногих, яко самому себе.
 Честнии руце твои лобызаю,
 Честь воздаяти должну обещаю,
 Уст твоих слово в сердци моем выну
 Сохраню, яко подобает сыну.
 На твое лице хощу выну зрети,
 Всю мою радость о тебе имети.
 Во ничто злато и серебро вменяю,
 Паче сокровищ тебе почитаю.
 С тобою самым изволяю жити,
 Неже всем златом обогащен быти.
 Ты моя радость, ты ми совет благий, —
 Ты моя слава, отче мой предрагий!
 Вижду аз светло, како нас любиши,
 Егда твоих благ общники твориши.
 Неси аз достоин тоя благодати,
 За твой труд и нам Бог то волит дати.
 Благодарствие убо возсылаю
 Богу, а твои руце лобызаю.
 Любо приемля благословение,
 Обещая ти повиновение,
 Желаю выну аз с тобою быти,
 В обоем щастии с отцем моим жити.
 Всякия труды готов подимати,
 Отчия воли прилежно слушати.
 Весь аз твой раб есмь, рад выну служить;
 В послушании живот мой кончити.

Хорег. Отец к сыну старейшему.

Отец: Будет на тебя благославление и милость Божья за твое смирение.

Хорег. Младший сын к отцу.

Блудный сын:

Брат мой любезный избран в дому жити,
 Славу в пределех малых заключити.
 Бог ему в помощ при твоей старости
 Изжити лета красныя юности!
 Вящшая мой ум в ползу промышляет,
 Славу ти в мир весь простерти желает.
 Идеже восток и где запад солнца,
 Славен явлюся во вся мира конца.
 От мене дому расширится слава,
 И радость примет отчая ти глава.
 Точию изволь милость си явити,
 Уму моему помощ сотворити.
 Вся нам давши, несть тебе толико,
 Часть мне достойну отдаждь, мой владыко,
 Ею же имам много пристяжати.
 Всякая страна имать нас познати.
 Свечи под спудом не лепо стояти,
 С солнцем аз хощу теици и сияти
 Заключение видит ми ся быти, —
 В отчинной стране юность погубити.
 Бог волю дал есть: се птицы летают,
 Зверие в лесах волно пребывают.
 И ты мне, отче, изволь волю дати,
 Разумну сущу, весь мир посещати.
 Твоя то слава и мне слава будет,
 До конца мира всяк нас не забудет.
 И егда даст Бог везде посетити,
 Воскоре имам в дом си возвратити,

*В славе и чести тогда радость тебе
Будет на земли и ангелом в небе.
Не медли, отче! Часть ми изволь дати,
Благословенство свое излияти:
Путь бо мой близ есть, мысль моя готова,
Токмо от тебя жду отческа слова.
Дажь ми десницу твою целовати,
Абие хочу путь мой начинати.*

Хорег. Слово отцу благородну.

Отец. Сыне, останься дома, приобрети житейский опыт и потом уж пускайся в путь.

Хорег. Младший сын возражает.

*Что стяжу в дому?
Чему изучуся?
Лучше в странствии умом сбогачуся.
Юньших от мене отци посылают
В чуждые страны, потом ся не кают...*

Хорег. Пантомима «Отец отпускает сына».

Хорег с плакатом:

Часть II.

Хорег. Изыдет Блудный сын с немноги слугами и глаголет.

Блудный сын:

*Бех у отца моего, яко раб плененный,
Во пределех домовых, як в турме замкненный.
Ничесо бяше свободно по воли творити:
Ждах обеда, вечера, хотяй ясти, пити;
Не свободно играти, в гости не пуцано,
А на красная лица зрети запрещано,
Во всяком деле указ, без того ничто же.
Ах! Колика неволя, о мой святыи Боже!
Отец, яко мучитель, сына си томляше,
Ничесо же творити по воли даяше.
Ныне, слава Богови, от уз освободихся,
Егда в чужую страну едва отмолихся.
Яко птенец из клетки на свет изпущенный;
Желаю погуляти, тем быти блаженный.*

Хорег. И тако Блудный сын пойдет, сланяся, а за ним вси. Певцы поют, и буди Intermedium.

Артисты показывают интермедию «Пьяница».

Хорег. Уважаемые зрители. Сюжет прославленной притчи Христа всем хорошо известен, но далеко не всеми понят. Вся проблема в толковании. Блудный в комедии Симеона — это не распутный юноша, а заблудившийся. Наш герой искал не роскоши услады, а правды, истины. Он не может бросать деньги на вино и карты или красные лица, а наоборот, стяжает их, дабы осуществить задуманное. Посему я и наполняю ведомые слова иным смыслом. Слово всегда читается по-иному, даже ежели оно говорит о вечном. 16 веков читали и воспринимали притчу Христову так, а теперь действие будет развиваться по-иному. Каждый из отроков будет говорить по одному панегирическому двустиию во славу царя восточного (это не географическое, а сакральное определение), желая ему расширить православную веру во всех краях. Царь *свобождает* от врага церкви *отчыйный Полоцьк*, называемой твоим *градом, благочестием просвещенным*. Власть символически соединялась со *светом и солнцем*. Свет — от веры, царь же выступает гарантом ее сохранения и защиты: народы всей России, куда входит *Белая з Малую*, светом веры *просветится* под царственной рукою: *Да светит всем свет веры паки станет слонца*.

Первый декламатор:

*Царю восточный, царю стран премногих,
нас избавивый от противник многих.
Прогнав з Русь еретики,
буди ж в победах преславлен во веки!
Царствуй над всеми вселенныя страны,
из язык мрачных твори христианы.
Разшири веру, свет омрачным буди,
иже во смертней сени гибнут люди.*

Второй декламатор. Царь Алексей Михайлович — это император Константин в Новом Рыме, Московии то есть, наш вождь, Богом данный, защитник всех христиан, в том числе и жителей Полоцка и вся Белая Русь. Ты есть мудрый и деятельный правитель. Ако лев отражаешь тьмы вражых напастей свету победы, и прокладываешь пути ко Христу в истинной вере как пути к Солнцу:

*Царствуй, пресилен, преславлен повсюду,
где солнца запад и встает откуду!
Подай ти Господь во мире сияти,
второму солнцу, всеми обладаати,
Дабы тобою мрака избежати
всем родом земли и веру познати.*

Хор ег. Наш царь — Солнце, которым Русь просветлилась. Око царево — солнце, от его света люди как от круга солнца просвещаются. Единственное Солнце на небе льет свет земному восточному миру, где правит единственный царь Алексей Михайлович: Орлом цар ест, бо яко орел свое дети На слонце, так на Христа всех учит смотрит. Орля, кгда в слонце не зрит, то орел загубит. Только орел из всех живущих на земле может смотреть, не мигая, на солнце и обучает этому своих орлят. Тех же, кто отворачивается от солнечного света, сбрасывает на землю. Солнце — наш Христос, а сам царь, отвечая за своих подданных, заставляет их смотреть на Христа и подражать ему в собственной жизни. Солнечное послушание есть удел венценосного царя. Завершаем действие вручением царю Алексею Михайловичу хлеба и вина от горожан Полоцка. Так поступал библейский «царь праведности» (Быт. 14:16—18).

Разыгрывается интермедия: царю подносят хлеб-соль на ручнике; а р т и с т ы изображают радостных горожан.

*Мелхиседек Аврааму хлеб, вино приносит.
Прими наш хлеб покоры, царю, ты град просит.*

С и л ь в е с т р. Вот это переделка. А где Блудный-то сам?
О ф и ц е р. А мне нравится. Очень.
П о с л у ш н и к. Как красиво. Давай далее.

Хор ег с плакатом:

Часть IV.

Изыдет Блудный гладен, продает последнюю одежду, облачается в рубище, службы ищет, пристает к господину, посылается свиния пасти, пасет, яст со свиньями, свинию погубил, биен; ищет и, плача, глаголет: «Коль много хлеба у отца моего» и проч.

*Увы мне! Увы! Что имам творити?
Свини погубих, хотят мя убити.
Гладом и хладом весма помираю
И бичми люте посечен бываю.
О коль бе благо в дому отчим быти,
Нежели в страны чюждыя ходити!
Хлеб у наемник тамо избывает,
А мое чрево голодом погибает.*

*Пойду ко отцу, до ног поклонюся,
Глаголя сице, пред ним умилюся:
«Отче! Согреших на небе и к тебе,
Прими мя поне в наемника себе.
Несмь бо достоин сын твой нарецися».
О даждь ми, Боже, к отцу довлеиися!*

Хор ег. *И пойдет за завесу. Ту пение и Intermedium, по нем пение паки.* Мы покажем вам храмовое пение, звучавшее в необычном для вас согласном напеве, то есть партесном пении. Покажем первые исполнения «Псалмов» Давыдовых в переложении иеромонаха Симеона, с музыкой Василия Титова, который сочинил «Многая лета». *Исполняются псалмы.*

Печальное нужно скрашивать шутками, посему покажем интермедию «*Черт Асмодейка*».

Часть V—VI.

Изыдет Отец Блудного сына, печалаяся о сыне; сын возвращается и проч. Изыдет Блудный одетый и честен, хвалит Бога, яко возвратися.

Хор ег. Епилог.

*Благороднии, благочестивии,
Государие перемилостивии!
Видесте притчу, Христом изреченну,
По силе делом днесь воображенну,
Дабы Христовым словам в сердцах быти
Глубже писанным, чтобы не забыти.
Юным се образ старейших слушати,
На младый разум свой не уповати;
Старим — да юных добре наставляют,
Ничто на волю молодых не спущают;
Наипаче образ милости явися,
В нем же Божая милость вообразися,
Да и вы Богу в ней подражаете,
Покаявшимся удобь прощаете.
Мы в сей притчи аще согрешихом,
Ей, огорчите никого мыслихом;
Обаче молим — изволте простити,
А нас в милости Господстей хранити,
За что хранени будете от Бога
В милости его на лета премнога.*

*Ту вси, изшедшие, поклоняются, а мусикия запоеет, и тако разыдутся гости.
Конец и Богу слава.*

Все артисты театра выходят и кланяются. Остальные действующие лица переглядываются в недоумении.

Послушник. А мораль в чем-то?

Стрелец. О ком здесь сказано? О чем сей дивный рассказ?

Хор ег. О тебе, обо мне, о всех нас. Притча о людях говорит и их судьбах.

Офicer. Басня рассказывает о тебе, изменено только имя.

Хор ег. А морали никакой. Это вам не басня, а театр. Бери пример с моего сверстника француза Мольера. Он ставит для короля балеты и смешливые речи. Поступай и здесь, как на опере, и довольствуйся тем, что глазам твоим представляется, а за ширмы и за хребет театра не заглядывай. Сделана сия занавеса нарочно... (*Слова Сквороды*). Не старайся проникать в тайны бытия. Смотри и радуйся, а не философствуй. Вот и вся философия театра.

Сильвестр. А Шекспир?

Полоцкий. У Шекспира герои мертвы. У твоего Гамлета и у короля Лира нет души, ибо там нет Бога.

Офicer. Странно слышать сие от первого светского пиита, стремящегося отделить Слово от Господа.

Ушаков. Напротив, Симеон стремится объединить веру и искусство, уменьшить противостояния светской и духовной культуры.

Полоцкий. Не отделить божественное, а перестать использовать все...

Офicer (*артистам*). Осторожно выходите, как бы вас там на улице не побили.

Все расходятся, суматоха. Освещается Симеон.

Полоцкий. *Pater, peccavi.* — Отец, я согрешил. (*Начало исповеди блудного сына. Луки:15,21.*)

Хорег (*в темноте*). Рукоплещите, друзья, комедия окончена.

Картина седьмая

Все действующие лица.

Офicer (*Симеону*). Ну, как вам притча?

Послушник. Слишком длинно. (*Слова Полония.*)

Полоцкий. Вещь никогда не ставили — пьеса не понравилась. Для большой публики это было, что называется, не в коня корм. (*Слова Гамлета.*)

Офicer. Однако, как воспринял я и другие, еще лучшие судьи, это была великолепная пьеса, хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и умением. Помнится, возражали, что стихам недостает пряности, а язык не обнаруживает в авторе приподнятости, но находили работу добросовестной, с чертами здоровья и основательности, приятными без прикрас. (*Продолжение слов Гамлета.*)

Полоцкий. Так ты офицер или демон, готовящий мое жизнеописание на страшный суд? *Мед на языке, молоко на словах, желчь в сердце, обман на деле.*

Офicer. Эпиграмму на иезуитов должен я сказать, а не ты. (*Дальше слова Шекспира.*) Что ты суешься меж драконом и яростью его?

Полоцкий. Значит, ты не токмо мое дело готов представить Всевышнему, но и меня самого?

Сильвестр. Симеоне, ты мечтал избежать сего мира, лежащего во греху и зле. Великая мечта философов всех эпох, воплощенная в афоризме: мир ловил меня, но не поймал. В стихе «Таение» писал: медведь задом в берлогу входит, чтобы след скрыть; заяц скачет кругами, чтобы ловца сбить с дороги.

*Тако нам подобает души си хранити,
в ложах добродетелей, еже бы не быти
уловленным от ловца, на всяк час ловяща,
вечныя погибели присно нам хотяща.*

Хотел и ты спрятаться. Да где же найти берлогу? Нет ее на земли.

Офицер. Таение тебе удалось, но не во всех случаях. Ты так и остался монахом. Навсегда.

Сильвестр. Монахом и наставником. Симеон всю свою жизнь был прежде всего учителем — сначала в братской Богоявленской школе, потом в московской Заиконоспасской и, наконец, стал наставником царских детей.

Полоцкий. Я учитель, дидакал. Но я и монах.

Сильвестр. Кентавр какой-то. Как тот Хирон, который воспитал Асклепия и научил его врачевать людей.

Стрелец. Это такой конь с головой и телом человека?

Сильвестр. Да.

Стрелец. И он учил людей лечить?

Сильвестр. Да.

Стрелец. Чудны твои дела, Господи.

Офицер. Хотел спрятаться от дел и забот мирских. Наивный мечтатель. Еще не построены стены, которые бы не рухнули от ерихоновских труб реальности. Думал прожить в свободе. Не удастся, хотя бы по той простой причине, что надо добиваться, дабы обещанное пропитание тебе, твоим семейникам и даже корм лошадям давали вовремя, а то с нашими писцами.

Полоцкий. Я хотел избежать войны.

Офицер. Ха-ха-ха. Войны избежать нельзя. Нерв войны — деньги, движущая сила общества. Алкивиад писал, что для ведения войны необходимы три вещи — золото, золото и золото. Война — естественное состояние человека. За это время, пока ты был у нас, мы воевали с турками, шведами, поляками, а более всего с Великим Княжеством.

Стрелец. Надо знать, за кого воевать.

Офицер. Не надо знать, в этом деле никогда не бывает постоянных союзников. Надо просто спиной чувствовать, кто победит, и к тому прислаться. Ты поставил правильно.

Полоцкий. Сильвестр, подойди ко мне. (*Тихонько.*) Опять темно перед глазами, круги какие-то во мраке вспыхивают.

Сильвестр. Я просил тебя отдохнуть, поесть что-нибудь. Хотя бы щец похлебать. Братья из трапезной принесли, когда проведали о твоём недомогании.

Полоцкий. Скажи им благодарность, но не могу даже смотреть на еду. *Иные лекарства опасней самих болезней.* (*Сенека.*) Слушай, брат. (*Симеон, доверительно.*) Говорят, что наряду с гиппократовым лицом — *facies Hippocratica* — есть еще иной способ распознавания человека, к которому приближается смерть. *Odor mortis* — запах смерти. Слышишь ли ты его?

Сильвестр. Еще чего придумал. Это тот сто раз упомянутый Ришелье вонял перед смертью, потому что подхватил срамную болезнь. А ты благоухаешь. И дыхание свежее.

Полоцкий. А я слышу. (*Пауза.*) Поэтому и Мартин убежал. (*Пауза.*) Умираю я, Сильвестр.

Сильвестр. Не гневи Бога. Так просто не умирают. А кот убежал, потому что шума боится.

Стрелец. Умирают по-всякому. Уж я-то за свой короткий век нагляделся смертушек.

Офицер. Слушай, Симеон. Прибыл ты в Московию 35 лет, высокий, красивый, стройный. А теперь?

Послушник. Так вы такой молодой? А я думал, что вам уже лет сто. Библейский старец просто.

Стрелец. Что же произошло за эти 15 годов? Куда твои силы подевались?

О ф и ц е р. Ведь сбылась якобы твоя мечта продать себя.

П о с л у ш н и к. Как это — продать?

О ф и ц е р. Так ты писал:

*Видите меня, как я муж отраден.
Возрастом велик и умом изряден.
Ума излишком, аж негде девати,
Кути, кто хочет, а я рад продати.*

П о л о ц к и й. Так это просто шутка, мой ранний стих веселящий.

П о с л у ш н и к. А у вас есть забавные штуки. Особенно про спор, кому ехать на ослике, а кто должен идти пешком. И как старик с подростком, желая угодить каждому встречному, не сидели на ушах, а несли его. Умора. Или про женщин, которые в храме квакают, словно лягушки в пруду. Мы так смеялись, когда слушали.

У ш а к о в. Или про надоедливую прихотливого, а может, и про тебя: *Колесо скрипящее путнику стужает, Человек же ропотный Богу досаждаёт.*

С и л ь в е с т р. Или как ты язвительно высмеял «святость» жизни одной особы: *Друг твой в пиве, в горелце, в табаке. Если ты выдал, налай, як собаце!*

О ф и ц е р. Ты продать себя давно хотел, да никто не покупал. Сильвестр не случайно сравнивал поэзию с женщиной блудливой. И ту, и другую так легко купить. В своей сметнице ты никому не нужен был, тем более что *ослы удовлетворяются скудным кормом.* (Латинская пословица.) А репутация бояна русского царя отбила всех покупателей. Тебе ничего не оставалось, как рискнуть, бросить все и вместе с матерью и племянником переехать в Москву навсегда.

П о л о ц к и й. Кто его знает, насколько? Пути Господни неисповедимы.

О ф и ц е р (резко). Навсегда. Пути назад отрезаны. В Европе, особенно в Италии, ныне свирепствует эпидемия чумы и страшного мора. Неизвестно, что ужаснее: походы царя или страхи о распространяющейся болезни, от которой нет спасения. Нет для тебя иного исхода. И даром не шли Сильвестра в Литву. Ни в разведку, ни для сокрытия. Там тоже не святые. Тело Язавата таскают по Полоцку, униаты убивают врагов.

С и л ь в е с т р. А я и сам не поеду. Кузнец Волк Наум раскаялся в своих проступках и повесился униатом.

О ф и ц е р. *Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра.* (Сенека.) Твоя учеба в Киево-Могилянской коллегии и в Виленской иезуитской академии не прошла бесследно. Ты до сих пор остаешься тайным униатом, скрывавшим свою принадлежность к Базилианскому ордену. А как ты подписываешь свои книги: *Ex libris Simeonis Piotrowski Sitnianowicz Jeromonachi Polocensis Ordinis Sancti Basilii Magni.* — Из книг Симеона Петровского-Ситниановича, полоцкого иеромонаха ордена святого Василия Великого.

П о л о ц к и й. *Ad maiorem dei gloriam.* Ордена, который проповедовал единство христиан всех конфессий.

О ф и ц е р. Под владычеством Рима? Вот почему царь не только не отстроит твой город, но и сын его порушит святую Софию. Петр, бо нарицается камень, и станет ядром, пущенным в храм. Нету тебе доверия ни в Московии, ни на родине. Он же Симеон, еще быше человек и учен, и добронравен, обаче предувещан от иезуитов-папешников сущих и прелщен бысть от них, к тому и книги их латинские чтяше. Греческих же книг чтению не быше искусен, того ради мудрствоваше латинская нововы мышления права быти. А звеку мы знаем закон: У езуитов бо кому учившуся, наипаче токмо латин-

ских без греческого, не можно быти православному весьма Восточная Церковь искреннему сыну. А о самих книгах патриарх Иоаким говорил: «Мы прежде печатного издания не видали и не читали тех книг, а печатать их не только благословения, но и изволения нашего не было». Скоро многие твои книги будут запрещены, как прельщающие чужой мудростью, а рукописи изъяты и сокрыты в патриаршей ризнице. И откроют их спустя столетия.

Сильвестр. Слава, которая приходит к тому, кто стал уже прахом, — запоздалая слава. (*Латинская пословица.*)

Офицер. Почему же не предсказал свою долю? О других можешь все рассказать. А о себе?

Полоцкий. А вдруг сию чашу пронесут мимо.

Офицер. Ого, как заговорил. А не чрезмерно ли, не самонадеянно ли так мыслить? Даже для пиита и пиеса сочинителя. Мне кажется, что ты сам из рода нелюбимого тобой Нострадамуса. Твоя якобы особая роль как астролога не должна удивлять: ты мог точно знать, когда произошло зачатие Петра. Просто потому, что сам заранее рассчитал время для оптимального зачатия и по твоей воле царь совокуплялся с государыней царицей в строго назначенное для этого время. А далее ты сочинил рассказ «О зачатии...», который на самом деле оказывается описанием уникального астрологического эксперимента.

Полоцкий. Почему? Я увидел особое соединение Солнца, Юпитера и Марса и звезды Регул («королевской звезды»), многократно усиливающее свойства планет — Марса как планеты воина, победителя (но планеты «злой») и Юпитера, планеты счастья, славы, справедливости, богатства, доброты и прочими добродетелями мудрого правителя. Зачатие в эту ночь увеличивало вероятность рождения мальчика.

Офицер. Почему же не предсказал, что объявленный будущим государем царевич Алексей умрет в 16 лет? Все мы Нострадамусы задним числом.

Полоцкий. Ты не прав. К сожалению великому, я слишком ясно вижу свой удел. Пугаешь чумой в Италии и Франции, а здесь война. И что страшнее? Та косит край и эта. А если они возьмутся за людей вместе? Можно убежать из отечества, но нельзя спрятаться от самого себя.

Офицер. Люблю измену, но не изменников.

Полоцкий. *Крови моя хочет, пагубы желает.*

Офицер. Скажи, было у тебя задание найти икону Полоцкую чудотворную Богородицы Одигитрии, из-за которой погиб твой брат?

Полоцкий. Нет. Она уже вернулась домой по велению царя. В новом золотом окладе.

Офицер. Почему о смерти единой мыслишь, если жить собрался долго?

Сильвестр. К сему надо готовиться каждому, кто ходит около власти предрежащих. Царская милость никогда долго не длится. Симеон сам противопоставлял идеальному правителю, просвещенному монарху тирана, жестокого, своевольного, немилостивого и несправедливого, а забыл в пылу восхваления, что они все одним миром мазаны.

Полоцкий. Отчего? Я же писал:

*Близ царя еси —
Честь ти сотворися.
Но тобою вины всякия блюдиша:
Ибо тяжко оттуда падати
И неудобно есть паки возстати.*

О ф и ц е р. Даже царь Александр со временем стал относиться к Аристотелю с подозрительностью. Не настолько большой, чтобы причинить ему вред. Хотя племянник философа был убит во время похода в Азию.

П о л о ц к и й. И моего брата иеромонаха Исакия *били убийством смертным не вестимо, за какову вину, и покинули его за мертва. А за непризнанием игумена Нектария без исповедания и причастия божественных тайн отошел из света сего.*

О ф и ц е р. У нас невинных не убивают. Как и у Александра. Однако уже сам факт ослабления его любви и привязанности к Аристотелю свидетельствовали об определенном отчуждении.

П о л о ц к и й. Велеречивые восточные льстецы хотели царя сделать богом при жизни, а учитель предостерегал от этого.

О ф и ц е р. Мы знаем попытки не менее искусных и витиеватых западных.

С и л ь в е с т р. Но они не столь злосноречивы. Конечно, каждый смертный с радостью был бы тираном, если бы смог. Однако врожденные и привитые Александру с детства чувства не угасли в его душе.

П о л о ц к и й. У нас человек считается чуть ли не святым, если не убил, не сгвалтил, не обобрал сиротку.

О ф и ц е р. А вот Сенеку убили. По приказу властителя Нерона его учитель и воспитатель сам вскрыл вены на руках и ногах. В последние минуты жизни призвал писцов и в страшных муках с неизменным красноречием поведал много, что осталось, однако, тайной для потомков.

С и л ь в е с т р. Мору отрубили голову. Король, который и дня не мог прожить без сердечного друга Томаса, без колебаний приказал его обезглавить. И потом голова мудрейшего философа неделю висела среди города на пике, пугая прохожих. А все потому, что мыслитель сказал: «Я в первую очередь слуга Бога, а потом уж короля».

О ф и ц е р. Монаршая милость не только не позволила тронуть Симеона, но даже посылала ему подарки: 10 аршин атласу зеленого; испод соборей на 60 рублей; 4 головы сахару весом по три фунта каждая; 2 блюда сахаров узорочных, сахаров-леденцов и конфектов, ягод винных, фиников, трубочку корички, полосу арбузную да другую дынную. И это только за один раз. Мера угощения ставила на один уровень с архимандритами важнейших московских монастырей.

С и л ь в е с т р. Подумаешь, благодетельство. Да столько мастерам платили. В марте 1668 года, то есть два года назад, ведущему мастеру царской Палаты резных и столярных дел старцу Арсению, прибывшему из Оршанского Кутейнского монастыря, выдали государево жалование и сукно карамзин за то, что он в селе Коломенском был у хоромного строения у резного дела.

О ф и ц е р. Симеон был обладателем самой большой в то время в Москве библиотеки на многих европейских языках. Даже дрова ему присылали из царского запаса, так как прежде данные *изошли, а хладъ и мразь наступают.* А еще просил новую крышу на храм Всемиловитейшего Спаса, в котором жил; сооружение железных дверей в погреб; хлопотал за жалование брату иноку Иоанну. Даже просил о награждении за литературные труды: *А я, твой государев богомолец, и в то время ничем не пожалован, а живу теперь в большой скудости всех нуждных, тако сам, яко и люди мои. А не имею ни откуда пособия нищеты моей, кроме твоего царского милосердия, и того ради молю твое царское благоутробие.*

Уш а к о в. Мазарини, воспитатель Луи XIV, имел столько денег, что одалживал королю и Франции. Его наследие превышало богатство всей державы.

С и л ь в е с т р. Долго ли цветы осенью цветут? Сыпанет пороша, и завяли. Так и милость самодержца.

П о л о ц к и й. *Вчера богат бех, днесь гибну от глада.* Напрасны попытки монарха просвещать: сын мой, разве ты не знаешь, как мало надо ума, чтобы управлять миром. *(Латинская поговорка.)*

С и л ь в е с т р. Симеон блестяще образован, знаток языков, представитель европеизированной культуры, выдающийся гуманист и просветитель. Ему принадлежит проект организации высшей школы в Москве, из которого вырастет впоследствии Славяно-греко-латинская академия. Он учил дьяков Приказа тайных дел латинскому языку, необходимому для общения в западноевропейских странах. И пребывая на Москве 16 лет, написа своею рукою разных книг по исчислению прологов с десять, или и вящше, о них же аз... тщуся, да соберутся все в книги и миру да явятся. С него начинается история русской книжной поэзии и драматургии, именно он определил вектор будущего развития нашей словесности.

П о л о ц к и й. Ежели готовите некролог, то надо вспомнить мои богословские труды, словари и прочая.

С и л ь в е с т р. Ты мечтал, чтобы твои произведения стали известны *по всей России и где суть славяне, в чуждых далече странах христиане.* Тебя знали в Грузии как сладкозвучного проповедника. Ты первый русский писатель, чье имя приобрело европейскую известность. О тебе писали курляндский дворянин Яков Рейтенфель, оксфордский профессор-лингвист, автор первой в Западной Европе «Русской грамматики» Г.-В. Лудольф (1696). Твои сочинения почитались единоверными южными славянами, на них воспитывались в XVIII в. поколения писателей и деятелей национального просвещения в Сербии. Именно ты ввел русскую литературу в систему общеславянского и европейского барокко.

П о л о ц к и й. В неграмотной стране человек, сложивший пару слов, воспринимается как кудесник. Зачем мне сия пустая слава? *Вся глава умом велми ся наткана:*

*А мозгу мало, что места не стало.
Времем сквозь нос разум вытекает,
Да Семен умен — языком принимает.
А сколько силы, не можно сказати.*

О ф и ц е р. А почему ты уже имеешь завещание, testament, как ты озаглавил?

П о л о ц к и й. Откуда знаешь о нем?

О ф и ц е р. Лучше скажи, почему подготовил? Пифагор жизнь человеческую разделил так: двадцать лет — мальчик, двадцать — юнец, двадцать — юноша, двадцать — старец. Сам же ты в своей «Картине человеческой жизни» видишь пять периодов по шестнадцать лет. И вдруг в самый плодотворный, согласно твоей классификации, задумался о смерти. Почему? Перед тобой перспектива прожить пять раз по 16. А ты только три использовал. И одно только твердишь: прах ты есть, прахом станешь, рухнешь и все. Умрешь — похоронят, как не был на свете.

П о л о ц к и й. Можно умереть тому, кому не нравится жить. Запомни, кто спасает человека против его воли, поступает не лучше убийцы.

О ф и ц е р. Не бойся последнего дня, но и не призывай его.

П о л о ц к и й. *Где Александр пресильный, Криз богатый, Ир убогий, Демокрит, обругатель мира, Ираклит, оплакатель суетств его? Где Иулий премошный кесарь, Нерон мучитель, Аристотель любомудрейший, Демосфен, сладкоглаголивший? Все аки не бывшие...*

О ф и ц е р. Ты уже решил разделить свою великолепную библиотеку между монастырями Полоцка, Киева, Москвы, с которыми был связан по жизни. Так знай, до Полоцка книги твои не дойдут. Да и зачем, все равно сгорят. То же случится и с сбережениями, адресованными туда. Неизвестна судьба денег, завещанных братьям, племяннику и «возлюбленному ученику» Сильвестру Медведеву. *(Пауза.)* А хочешь большего?! Ладно. Выдам тайну. Уходящему можно сказать все. Твой покровитель, царь Федор Алексеевич, уже повелел составить достойную эпитафию, каковую указал на двух каменных таблицах вырезать, позлатить и устроить над гробом иеромонаха Симеона своею государскою казною, из Приказа каменных дел.

Гаснет свет.

М е л ь п о м е н а *(появляется в темноте)*. Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение живым, чем помощь мертвым. Ты любишь театр, а потому не забывай его основной закон — вовремя уйти со сцены. Беда всех играющих в жизни, что мы не знаем дня урочного, не можем прочесть сигналы, подаваемые свыше, и цепляемся за ея видимость до последнего, пока новый Нерон не прикажет герою запоздалому резать вены самостоятельно, без палача.

П о л о ц к и й. Но под его надзором. Как Сенека.

М е л ь п о м е н а. Сие уже не важно. Вспомни последние слова Октавиана Августа: как вам кажется, хорошо ли я сыграл комедию своей жизни? Жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а как хорошо она сыграна. Хватит философствовать. Прощай, монах. *Acta est fabula* — Представление окончено!

Исчезает, затем зажигается свет. Пауза.

П о л о ц к и й. Когда вы от меня отстанете? Тем более, что в собрании верующих женщина должна молчать. Читай, Сильвестр. Заклинаю тебя тем, кто придет судить живых и мертвых. *(Пауза.)* Позовите этого хлопца. *(Пауза.)* Блудный который...

С и л ь в е с т р. Он очень похож на тебя молодого, все заметили.

Уходит и возвращается с исполнителем роли Б л у д н о г о с ы н а.

П о л о ц к и й. Ты из Полоцка?

Б л у д н ы й с ы н. Так.

П о л о ц к и й. Как зовут тебя?

Б л у д н ы й с ы н. Самуил. Как и отца.

П о л о ц к и й *(с волнением)*. Как звали твою мать?

Б л у д н ы й с ы н. Не знаю. Сирота я. При монастыре вырос. Братья сказывают, мать в горячке принесла меня младенцем в обитель, успела сказать, как зовут, и скончалась тут же. Кто она, откуда — никому не известно. Да и не искал никто — война.

П о л о ц к и й. Сильвестр. *(Тот подходит.)* Сильвестр, брат. Дай ему книг

и денег. И артистов награди. Возьми в скарбнице. (*Сильвестр уходит.*) Прощай, сыне. Благослови тебя Господи!

Б л у д н ы й с ы н (*становится на колени, припадает к рукам Симеона, словно на картине Рембрандта; явление долго длится*). Спасибо, отче!

Уходит за С и л ь в е с т р о м.

С т р е л е ц. А что, это его сын? У монаха!?

У ш а к о в. Не знаю. Но священник вправе так обратиться к каждому, в том числе и к тебе.

О ф и ц е р. Душераздирающая сцена. Весточки с родной стороны. Помнишь, в учебнике по латыни: неблагодарное отечество, даже и кости мои тебе принадлежать не будут. Так красиво сказал герой Пунической войны Корнелий Сципион, который на склоне лет подвергся оскорбительному обвинению в денежных злоупотреблениях. Перед смертью не захотел возвращаться, приказал похоронить вдали от Рима, поставить памятник, чтобы и могила была вдалеке от неблагодарной родины.

П о с л у ш н и к. Монахов хоронят в обители.

У ш а к о в. Ришелье похоронили в часовне, специально построенной для этой цели. Хоромина краше, нежели многие соборы.

П о с л у ш н и к. Тоже мне фараон нашелся.

П о л о ц к и й. Нашу братию хоронят скромно. В трапезной, под вторым сводом.

С и л ь в е с т р. Это только великих.

О ф и ц е р. А тебя дома никто не ждет. Поэта рождает гнев. Гнев же — не для тебя. После Переяславской рады в Полоцке распространяются слухи о возможном избрании царя Алексея великим князем литовским и королем польским. Никто не знает, что решит сейм, но ты уже пишешь «Поздравление по случаю избрания на польское королевство»:

*Витаем тя, православный царю, праведное солнце,
Здавно бо век пригнули тебе души наши и сердце,
Витаем тя, царю, от востока к нам пришедшаго,
Белорусский же от нужд народ весь свободящаго.*

Не обошел вниманием и боярскую свиту царя, которые *за веру з смелостью пошли яко дети Львовы*. Но далее обстоятельства для тебя складываются не лучшим образом. Война России и Речи Посполитой, этот кровавый потоп, уничтожает половину населения Беларуси. Только во Мстиславе *иляхты, поляков, литвы и иных служивых людей побито болями десяти тысяч*. Тебе могли в любое время напомнить велеречивые прославления российского монарха («праведнае солнце», «светит о солнце, в полском горызонте»), и размах пожеланий: *прийми митру Литовску, прийми и корону Полскую, Алексею, под свою оборону*. Никого не интересует твоя *Молитва в скорби сущего и клевету терпящего*, как и твои стенания: *Крови моя хочет, пагубы желает*. Не о тебе ли писал поэт Гораций:

*Но напрасно желая
Видеть хоть дым, от родных берегов вдалеке восходящий,
Смерти единой он молит.*

П о л о ц к и й молчит.

О ф и ц е р (*Стрельцу*). Слушай, дело серьезное. Давай перенесем его на

полати. Там и лекарь глянет. (*Берут кресло с двух сторон, пытаются унести; спинку поддерживают внезапно появившиеся Муза и Мельпомена, держащие соответственно левой и правой руками светящийся в темноте Череп; пауза, потом прибегает Послушник.*)

П о с л у ш н и к. Господин офицер просит всех немедля подойти. (*Бегут, за сценой шум, топот, возгласы, рыдания.*)

С и л ь в е с т р (*входит после длительной паузы*). Иеромонах Симеон скончался. (*Плачет.*)

О ф и ц е р (*входит*). Плач наследника — замаскированный смех.

С т р е л е ц (*входит*). Что? Какой смех?

О ф и ц е р. Потом поймешь.

У ш а к о в (*с холстом в руках, про себя*). Хорошо, что я успел закончить портрет. Благодарные потомки будут знать, как выглядел пиит Симеон.

С и л ь в е с т р. Врач говорит, что иеромонах, скорее всего, отравлен. Симптомы схожи.

О ф и ц е р (*Стрельцу*). Позвать подмогу. Задержать скоморохов и старуху. Поставить охрану у входа и выхода. Никого не выпускать. Буду допрашивать всех подозреваемых в убийстве.

С и л ь в е с т р. Всех не сможешь.

О ф и ц е р. Это почему же?

С и л ь в е с т р. Один из главных подозреваемых мертв.

Немая сцена.

Занавес.



Михась БАШЛАКОВ

И листва кружится золотая



* * *

Дни тихой осени не за горой.
Горечь разлита.
Вот и на поле за ближней межой
Скошено жито.

Жизнь улетает, как призрачный дым.
Сжаты колосья.
Был я вчера, словно май, молодым,
Нынче — как осень.

Час молотьбы. Что за жизнь накопил?
Почести? Славу?
Скольких же я потерял, что любил,
Господи правый!
Как я бездумно растрчивал дни,
Юный и нежный!
Верил — любви разжигаю огни,
Теплил надежду.

Только не нужен души моей жар
Родине милой.
Тлеет кострище. И сердца пожар
Жизнь остудила.

Как же без песни смогу я прожить?
Голос немеет.
Птица кричит сумасшедшая: «Пить!»
Лес зеленеет...

* * *

Стоят некошенные травы,
Хотя и лето отцвело.
Нет через речку переправы,
Хоть рядом с речкою село.

Так и живем на свете этом:
И пальцем лень пошевелить.
За годом — год, за летом — лето:
И некогда любить и жить.

* * *

Стояли избы.
Тут жили люди.
В своей Отчизне...
И кто осудит,

Что день и вечер
Текли убого.
Погост.
И в вечность
Ведет дорога...

* * *

В окно постучится
Листок золотой.
Запахнет в саду
Ароматным ранетом.
И кто-то костер
Разожжет за рекой.
И бросит в огонь тот
Увядшее лето...

* * *

Выйду на ближайшей остановке.
В лес пойду, где средь берез тропа
И кружится, и петляет ловко —
Так петляет и кружит судьба.

Так и я кружусь, зачем, не знаю,
Так вот и брожу туда-сюда.
И листва кружится золотая,
И кружатся с листьями года.

А над стежкой — синева такая...
Я иду — а значит, я живу.
Опадают листья, опадают,
Золотом ложатся на траву.

* * *

Пил горечь, скитаясь по свету...
Любви же так мало я пил...
Вино — одиночества мету —
Мой друг по бокалам разлил.

Кровавое, с привкусом грезы...
Ах, что там, вино как вино...
И пью я... И катятся слезы...
Все было... Да сплыло давно...

* * *

Катятся неустанно
Месяцы и года.
В сердце моем — усталость,
Горечи злой вода.

Помню, писал стихи я.
Помню строки накал.
Первым чтоб быть, лихие
Взгляды не замечал.

Верить — себе дороже —
Людям на все плевать...
Как я устал, мой Боже! —
Словом не передать.

Вновь на исходе лето.
Брезжит осенний свет.
Были всегда Поэты...
Были... Теперь их нет.

* * *

Поэт — как голос Божий —
Строка его горит.
Поэт молчать не может,
Когда народ молчит.

Пусть угрожают плахой
Ему подчас цари,
Уверенно, без страха,
Он с миром говорит.

Поэт — он вечный воин —
И в битвах, и в труде —

За правду и за волю,
За счастье для людей.

И кто его осудит?
Он пишет на века!
Когда ж он «воду мутит» —
Слаба его рука.

Тогда и не поэт он...
О, сколько их, таких,
Слагателей сонетов —
Убогих, но лихих!

Такие, несомненно,
Все с выгодой живут,
Такие без сомненья
Отчизну продадут.

И продают безбожно...
О, как душа болит!
Ах, где мой кий дорожный?
Дел много предстоит!

Хоть путь нелегким будет —
Пушай горит строка!
Поэта кто осудит?
Он пишет на века!

* * *

Необъятные неба просторы,
Что сливаются с синей водой...
Волны пенные с берегом спорят,
Дни мои забирают с собой...

Шум прибоя... И жизнь отшумела.
Ветер. Чайки. Один я стою.
Светлой юности парусник белый
В грусть-печаль заплывает мою...

* * *

Сколько станций проехал
И измерил дорог —
Я блуждал, словно эхо,
Память в сердце берег!

Незнакомые дали,
Словно книгу, читал,
И цветы, что мелькали,
Без труда узнавал.

Свято память лелеял
Дни, года и века...
Ветер ласковый веял,
В стих ложилась строка.

И дай Бог мне, как эху,
Снова в край мой родной,
В тот, откуда уехал,
Возвращаться строкой.

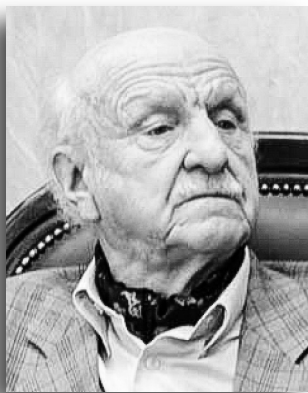
Понимать — это доля:
Век быть сыном Земли,
И — чтоб небо и поле
Васильками цвели.

* * *

И в каких краях
Я ни бывал,
По каким дорогам
Ни блуждал,
Где б свои стихи
Я ни писал,
Господи, Тебя благодарю
За дороги, песни,
За зарю.

*Перевод с белорусского
Елизаветы ДАВЫДОВОЙ.*





Владимир ОРЛОВ

Магия артиста

Документальная повесть

Как они пролетели, эти сорок с лишним лет... Ушли один за другим три Генеральных секретаря ЦК КПСС и ее главный идеолог, сместился в непроглядную темень первый и он же последний Президент СССР, да и самой страны — кто бы мог подумать?! — не стало... Возникла независимая Беларусь. А в ней — свое искусство. И каждый из нас может гордиться хоть чем-то сделанным для нее.

Но по-прежнему «телеайсбергом» белорусского кинопроизводства высится трехсерийный фильм «Вся королевская рать» — экранизация американского романа.

Мощная творческая группа снимала его, выдающиеся актеры советского кино и театра явили в фильме свои таланты.

Собираясь — опять же — снимать «фильм о фильме», о его трагедиях и раскрывшихся тайнах, собрал перед камерой...

Остатки «королевской рати»

Все минувшие годы я не давал «засохнуть» знакомству с участниками «рати»: звонками, письмами, встречами поддерживал отношения с ними. То, бывало, заедет в Минск с гастролями «Таганка» — и разговор с Аллой Демидовой (Анна Стентон), то на «Беларусьфильме» озвучивает кого-то моссовец Борис Иванов (Дафи)... Со Жженовым переписывался, даже предлагал ему главную возрастную роль в своем многосерийном фильме «Проклятый уютный дом», почти ежегодно пересекались с «дядей Жорой» на нашем кинофестивале «Лістапад» — в последний визит в Минске он сделал мне надпись на книге: «Жду встреч», поставил дату «2003 год», а подумав, глянул на меня и подписался: «Старк» (имя его персонажа в «Рати»). Борис Бланк, как и на «Рати», был художником фильма Г. Полоки «Око за око» (2007 год), где я играл небольшой эпизод — тоже незабываемые воспоминания.

Сняли вместе фильм «Все под Богом ходим» с ассистентом оператора «Рати», а теперь уже оператором Семеном Фридляндом, несмотря на то, что жил он в Германии.

Теснее сходились и чаще встречались с Левой Дуровым (Рафинад) и Мишей Козаковым (Джек Берден) — о нем я писал в книге «Закадровые истории фильма «Вся королевская рать» глазами одного из его создателей».

Дуров снимался у меня в эпизоде фильма «Песняры», в 2002-м вместе с Ольгой Аросевой привозил в Минск спектакль «Афинские ночи» — общались с ним в гримерке Дворца Республики.

А Михаил Козаков вообще за первое десятилетие ХХI века пять раз доставлял минчанам наслаждение: то слушать его неповторимое чтение русской поэзии — от Пушкина до Бродского, то видеть его в спектакле «Любовь по системе Станиславского» (его же постановка). Естественно, каждая встреча заканчивалась у нас неторопливым ужином — едва успевал на ночной московский поезд. Общались с ним и в мои приезды в российскую столицу, перезванивались.

Ну, о минчанах и речи нет: время от времени житейские тропинки сводят с художником Михаилом Карпуком, редактором Эллой Миловой, ассистентом режиссера Валерием Жигалко.

Народные артисты СССР Ростислав Янковский (отчим Джека), Виктор Тарасов (телохранитель Старка) и Александра Климова (мать Джека) снимались в моих фильмах, а шофер Гриша Соколов и гример Николай Рожков работали на них.

Вот их, кто еще был жив, до кого «дотянулся», и попросил рассказать перед камерой об участии в нашей общей «Всей королевской рати».

Идея экранизации, безусловно, принадлежала Александру Гутковичу, в прошлом актеру провинциального театра, автору пьесок и инсценировок, режиссеру литературно-драматической редакции Белорусского телевидения. Он, въедливый зануда, как-то убедил свое руководство в срочной необходимости «разоблачения продажности и коррумпированности американской политической системы». Этими же, несомненно, аргументами В. Полесский, глава Белтелевидения, «пробил» проект в ЦК КПБ.

Идея безумная, ибо первый советский фильм, показывавший жизнь современной Америки, должен был находиться в производстве в год, когда страну трясло от идеологической вакханалии по случаю 100-летия со дня рождения Ленина. Забегая вперед, сообщаю, что когда Генсек Брежнев 21 апреля 1970 года, еще не очень шамкая, читал в Кремле доклад «Дело Ленина живет и побеждает», производство «Рати» шло на «Мосфильме» полным ходом, и мы уже переживали трагедию: умер исполнитель главной роли губернатора Старка — выдающийся актер Павел Луспекаев.

* * *

Далее — монологи. «Королевская рать. Трагедии и тайны».

Михаил КОЗАКОВ:

— Раздается телефонный звонок, говорит Гуткович, представляется, спрашивает: «Вы читали роман Роберта Пена Уоррена? Я буду его экранизировать, уже готов сценарий. Предлагаю Вам роль Джека Бердена». Отвечаю, что читал, что мечтаю сыграть Джека! Но сразу спрашиваю: кто будет играть губернатора Вилли Старка? Это же роль для великого артиста! Вели-ко-го!.. Гуткович: «Ну, будем думать... А у вас есть кандидат?» — «Да, — говорю, — я знаю такого артиста». — «Кто?» — «Павел Луспекаев».

И артист, исполнитель роли таможенника Верещагина, и режиссер Мотыль, и сценарист-бакинец Ибрагимбеков стали популярными после выхода их фильма-вестерна «Белое солнце пустыни», который одинаково полюбился и подросткам, и партийным секретарям, и космонавтам, да и вообще, как тогда декларировали, «всему советскому народу».

— Роман о политике, морали, любви, предательстве — на высочайшем творческом уровне! Таким же получился и сценарий. Сколько в долгой своей жизни ставил фильмов, в скольких играл, такой сценарий мне больше не попадался.

Но уже была экранизация романа американцами: в 49-й премии «Оскар» получил всего лишь исполнитель роли второго плана. И это в то время, когда еще был свежим прецедент карьеры губернатора-популиста, демагога и нахала Хью Лонга, который и стал прототипом романного Вилли Старка. Их же, американцев, экранизация 2006 года с участием актеров «первого голливудского эшелона» Джуда Лоу, Шона Пенна, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинса вообще «не прошла» в прокате: вялый неумелый сценарий, лишенный самых острых и драматических коллизий романа.

А у белорусов — выдающийся, по оценке придирчивого Козакова, сценарий. Откуда взялся? Кто сотворил?

Мы, знавшие эрудицию и литературные возможности Гутковича, удивлялись: как удалось сколотить такой напряженный сюжет, сочинить такие острые диалоги, сохранить литературные тонкости романа? Тут чувствовалась цепкая и умелая рука опытного профессионала. Но кто он?

И только сейчас, когда открылось, кто был истинным автором сценария, я припомнил, что несколько раз видел слезы редактора фильма Эллы Миловой. Но тогда не обращал на это внимания: много своих хлопот по организации съемок, да и мало ли поводов для женских слез.

И вот — открывается правда.

Элла МИЛОВА:

— С утра я садила за пишущую машинку. Гуткович всегда пристраивался рядом, слева. Сидел молча. Я сочиняла, печатала. Каждый законченный листик он сразу отбирал у меня и аккуратно складывал в папочку. И вот закончила все три серии. Но никаких разговоров о моем авторстве или хотя бы соавторстве не велось. Накануне отъезда в Москву на съемки Гуткович в коридоре сунул мне конверт с напечатанными цветочками. Я подумала, что поздравляет меня с 8 Марта. Раскрыла — там находилась тысяча рублей разными купюрами, даже грязноватыми, какие ему удалось собрать (*это примерно месячный оклад редактора*). Я пришла домой в слезах. А мама мне: «Верни! И обязательно при людях!» Что я и сделала. Он молча принял конверт с деньгами.

Элла Милова окончила сценарный факультет ВГИКа, в мастерской Алексея Каплера, на то время была уже автором нескольких воплощенных кино- и телесценариев. Вот, оказывается, чье мастерство так поразило Козакова, занятых у нас московских артистов да и всех, кто читал сценарий!

Мне казалось, я знаю все тайны производства «Рати». Но признание Миловой перед съемочной камерой стало открытием. А сопоставить умения дремучего в кинематографе Гутковича с литературной основой будущего фильма тогда как-то не приходило на ум — мало ли что: может, Гутковича «осенило»!

Шел подготовительный период. Ответственно заявляю: ни один советский фильм ни тогда, ни после не собирал столько звезд кино и театра, как белорусская «Рать»!

Михаил КОЗАКОВ:

— Луспекаев приехал в Москву подписать договор на съемки — без проб! — по сценарию Э. Радзинского «Певница», написанному для Татьяны Дорониной. Когда я примчался в гостиницу «переманивать» Павла на «Рать», у него уже сидела мосфильмовская ассистентка с бланками договора. Американский роман Павел, конечно, не читал, от моих настырных уговоров послушать сценарий отмахивался, все требовал информации и сплетен про знакомых артистов, про театры, про Олега Ефремова... Я уже начинал нервничать, когда он сказал: «Читай уж, хрен с тобой». И я стал читать ему те эпизоды, которые «ложились» на его неповторимую актерскую индивидуальность. Слушал он невнимательно, но вот стал увлекаться, бурно реагировать: «Ну, прямо для меня!» Я продолжал «обрабатывать» артиста, читал дальше сценарий... «Стоп! — воскликнул Павел. — Я это играю». Запротестовала ассистентка. Он попробовал сжалиться над ней, спросил у меня: «А совместить нельзя?» — «Нет, — говорю, — Паша, нельзя: у тебя три серии почти из кадра в кадр. Да и совмещать Пена Уоррена с Радзинским...»

Авторитет Павла Борисовича в актерской среде был настолько непрерываем и велик, что «под него» на наши скромные гонорары могли приглашать на «Рать» уже кого угодно. Шли, конечно, на отменно выписанные роли и на уговоры любимца московской богемы Михаила Козакова. Да тот же кудесник сцены и экрана Евгений Евстигнеев согласился на почти бессловесную роль подрядчика Ларсена! В самый критический период творческой жизни, даже можно сказать, на переломе своей судьбы при переходе из созданного им процветавшего «Современника» в хиреющий МХАТ, еще и снимаясь в «Случае с Полюниным», дал согласие участвовать в «Рати» Олег Ефремов (Адам Стентон). Великие артисты словно притягивали друг друга, сотворяя неповторимое созвездие.

Свободные мосфильмовцы, всех и все видевшие, пробирались в 8-й, «белорусский», павильон, чтоб восхититься совместной игрой актеров, которых мы уже называли «нашими».

Титры фильма — парад звезд: Ростислав Плятт, Олег Ефремов, Георгий Жженов, Анатолий Папанов, Лев Дуров, Татьяна Лаврова, Алла Демидова, Евгений Евстигнеев, Борис Иванов, Ада Войцик, Лаймонас Норейка, наши Ростислав Янковский, Виктор Тарасов, Владимир Дедюшко, Матвей Федоровский.

Сошлись актерские возможности и потенциал большой литературы. Дальше дело было за режиссурой, оператором, вообще за всей творческой группой.

Михаил КОЗАКОВ:

— С первых же общений с Гутковичем я понял, что работа будет отчаянной. Если я не хочу позора себе и картине, то кроме исполнения роли мне придется и режиссурой фильма заниматься.

Действительно, Гуткович не видел ни одного классического, ни одного знакового зарубежного, вообще ни одного свежего фильма, не ходил в Дом кино на просмотры — сидел себе в номере гостиницы, «работал». Он какой-то провинциальной лексикой пробовал общаться с актерами, осмеливался мэтрам экрана делать замечания и примитивно долбить очевидные, прописанные в первоисточнике факты. Учтивый Олег Ефремов выслушивал, мягко обещал учесть замечания; резкий Луспекаев попросту отмахивался; сдержанная Демидова, не дослушивая, сразу предлагала снимать; Дуров уходил в сторону «сосредоточиться на образе». Каждый выстраивал роль сам.

Лев ДУРОВ:

— Я выбрал себе поведение «человека в тени». Во всех появлениях губернатора я, его телохранитель и шофер, маячил где-то за ним — знал, что камера меня в это время «видит». А вам, режиссерам, я этого не открывал, чтоб не запретили. Просто присутствовал за спиной Хозяина.

Ростислав ЯНКОВСКИЙ:

— Жженов в роли губернатора-хозяина так попал в образ! Такой курносый американец. Но мощный, с колоссальной энергетикой! Отлично сыграл!

Поначалу Георгию Степановичу, конечно же, трудно было войти в роль и «понравиться» нам после Луспекаева... Репетиция: стоит каменно застывший, величественно спокойный Евстигнеев — Ларсен. И яростно пытается «надавить» на него губернатор. Мы понимаем, что сцена не получается: все перед глазами репетировавший это Павел Борисович стоит... И тут Евстигнеев не выдерживает: «Жора, стань на мое место!» Жженов становится, а Евстигнеев проигрывает за него весь текст, всю сцену: подступает, налетает, да так грозно «давит» на партнера, что нам становится даже страшновато... Сыграв, Евстигнеев в паузе буркнул: «Прости...» — и стал на свое место в кадре. Жженов растерянно отошел, выдал тихо: «Сегодня сниматься не могу». И вышел из декорации. Зато назавтра пришел возбужденный и сыграл сцену по рисунку, показанному накануне Евгением Александровичем. Так и сняли. Вот так дружно работали.

Михаил КОЗАКОВ:

— Гуткович был слабоватым профессионалом для такого рода работы. Конечно, ему помогали актеры, оператор, ты — второй режиссер, — редактор... Да все! Цель была: сделать классный фильм. Тут не до амбиций.

Кризисные ситуации возникали ежедневно. Руководство Белорусского телевидения с «подачи» инициативной части съемочной группы пригласило в режиссеры-сопостановщики оператора нашего фильма Наума Ардашникова. По справедливости, в титрах должна была бы стоять и фамилия Козакова, ибо никто столько не вложил в фильм, как он.

Это он настоял, чтобы внедрить съемки на самую мощную в СССР киностудию: на «Мосфильм». Когда-то Лазарь Милькис был директором фильмов, где снимался Козаков, а сейчас он — начальник производства «Мосфильма». Михаил использовал знакомство для общего дела: свел с Милькисом директора нашего фильма Данилу Нежинского.

Михаил КОЗАКОВ:

— Это — первый в моей жизни опыт подобного рода: как в режиссуре, так и в организации производственного процесса. Я был на «Рати», как теперь сказали бы, «креативным продюсером», хоть таких слов мы тогда не знали.

Чем жила тогда Страна Советов?

Американцы год назад высадились на Луну; «прогрессивное человечество» требовало вывода американских войск из Вьетнама; наш академик Сахаров создал Московский комитет по правам человека; вышла 1-я серия мультяшки «Ну, погоди!», жонглер Белорусского цирка Евгений Хромов брал обязательство к 100-летию со дня рождения Ленина освоить девятый шарик (до того он жонглировал восемью), в СССР готовились к демократическим выборам в Верховный Совет...

А наш фильм как раз и показывал грязное закулисное американских выборов, их «демократию», построенную на запугивании, шантаже и подкупках.

Но сходства, как выяснялось, было больше, чем отличий. И прежде всего, это был обычай «презентов и подношений», чем болело все советское общество, вся чиновничья вертикаль до самой-самой верхушки — в строгом соответствии с должностью и чином.

И параллельно с политическим детективом, что разыгрывался перед камерой, сплетался сюжет «закадровый», криминальный.

Съемки начались в конце марта, а еще с декабря по фильму получали зарплату какие-то пожарники, уборщицы, охранники неизвестно чего. Это наш директор — его фамилия и в титрах знаменитой «Весны на Заречной улице» — оформил на перечисленные должности руководителей тех служб «Мосфильма», от которых напрямую зависело производство нашего фильма. Самые высокие начальники кроме того получали от «щедрых белорусов» дорогие подарки: гэдэровские сервизы, кожаные портфели, деликатесные копчености. В стране тотального дефицита наш директор знал все ходы и лазы, где можно было добыть требуемое. Система подношений работала на отлично. Меня на ежедневных диспетчерских удивляло, что при дефиците бригад осветителей их исправно выделяли чужой «Рати», не обеспечивая ими мосфильмовские картины. Нам были открыты все склады мебели, реквизита, костюмов. Восьмой павильон мы занимали с марта до ноября. Кому бы так просто везло? Как позже выяснилось во время следствия и суда, наш директор всех в прямом смысле купил. «Мосфильм» был уменьшенной моделью советского общества того времени: коррупция, кражи, приписки. Притом рапорты о «благоденствии» — параллельное существование.

Директор ездил — свидетельствовал в суде обделенный им шофер — по кладбищам и списывал фамилии с памятников, ибо уже не хватало фантазии выдумывать их; оформлял на покойников почтовые переводы за некую будто бы выполненную работу. А когда тех людей по адресам из телефонной книги, конечно же, не оказывалось, переводы возвращались на счет директора, на его сберегательную книжку.

Михаил КАРПУК, художник:

— Я разработал пять постановочных комплексов. Отсняв одну декорацию, группа переходила снимать в другую, а использованная преображалась в новый интерьер. Чертежи и разработки я передал в архитектурный отдел «Мосфильма». Работа закипела.

Казалось бы: рационально, разумно, экономно. Однако директор проект первой же декорации — скромный гостиничный номер — забраковал, но заверил, что съемочный график не нарушится: у него был свой «декорационный» вариант.

И вот, почему-то в воскресенье, когда на студии никого не было, влезли мы в интерьер советско-румынского фильма «Песни моря» и сняли что планировали. С чьего разрешения? Почему тайком?

И так повторялось не раз: то по ночам, то в воскресенье. Главное: не оставлять следов вторжения.

А директору и не нужны были дешевые, «экономные» комплексы: декорации наши или строили — и под это списывались десятикратные суммы, — или снимали в чужих, оформляя их в качестве возведенных специально для нашего фильма. Потому честный и наивный «рационализатор» Карпук попросту

мешал директору оформлять фиктивные сметы на невыстроенные объекты, на работы, которых никто не выполнял.

Следователь доверительно сказал мне (нас, всю съемочную группу, по одному вызывали в прокуратуру), что если бы директор доказал, что в с е «левые» деньги пошли на производство, на подкупы, то ему бы дали меньший тюремный срок. Но не доказал, и — восемь лет заключения.

Лев ДУРОВ:

— Директор Нежинский — да он административный гений! Просто опередил то время. Сегодня он был бы выдающимся продюсером!

И я так считаю. Обошлись бы без всех нас, сыграли б в «Рати» другие актеры — нашлась же достойная замена для неповторимого Павла Луспекаева! Не состоялся бы фильм лишь без Михаила Козакова и без директора.

Не отсидел Нежинский присужденный срок: устроился в тюрьме библиотекарем, попал под амнистию в связи с 30-летием Победы. Было у него свидетельство ветерана войны. Хотя, близко узнав его, с трудом верилось нам, что поднимал в атаку взвод храбрецов с призывом: «За Родину! За Сталина!»

Все размышляю: почему директор поддался искушению, зачем ему, жившему скромно, не транжире, который не пил, не гулял по ресторанам, не играл в карты, были эти несправедливые деньги? Для чего?

А не для чего. Это его тайна, разгадку которой и сам, возможно, не знал. Просто нагибался и поднимал, что лежало при дороге. Просто поднимал.

Очень умно поступил я, когда заканчивались съемки «Всей королевской рати»: покидая Москву, оставил деньги механику съемочной аппаратуры, который никогда не расставался с фотоаппаратом. И вскоре прислал он мне пакет с полусотней снимков: рабочие моменты, кадры фильма, портреты актеров. На них мы: молодые, целеустремленные — все еще было впереди! Остатки «Рати» — те, кто снимались в моем «фильме о фильме» «Королевская рать. Трагедии и тайны», — на экране не такие уже молодые, но все еще полные надежд, желания осуществить будущие проекты.

Но Время рассудило по-своему.

Иосиф Бродский утверждал, что поэзия интересна всего одному проценту населения Земли.

Знаменитый артист и режиссер Михаил Козаков почти в каждый четный год этого столетия приезжал в Минск. С моноспектаклем «Дуэт для голоса с саксофоном» в 2002 и в 2004-м держал...

Монолог для 1 % минчан и закулисный — для молчаливого друга-слушателя

Знаменитый джазовый музыкант Игорь Бутман под записанный «минусовый» аккомпанемент играл на саксофоне, а Миша читал стихи Бродского. Козаков музыкально одарен, в московской богеме авторитет в вопросах джаза, он сам подбирал мелодии, выстраивая композицию чтецкого спектакля.

Он двигался, пританцовывал, замирал — все сплеталось с музыкой. Бутман выдувал браваурный «Марш победителей», а артист, словно превращаясь в памятник или в самого вояку-полководца, бросал в зал строфы жестокой оды «На смерть маршала Жукова»:

*Сти. У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входил в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.*

Звучали под соответствующий аккомпанемент «Мексика», «Царь Максимилиан», «24 мая 1980 года», «Пятая годовщина» — Бродский к Рождеству Христову сочинял «итоговое» стихотворение — отчет за прошлый год. А еще читал Миша строфы, которых я не встречал в сборниках поэта, — их артист откуда-то «выкапывал».

И в какой-то момент второго спектакля я неожиданно заметил, что Козаков поразительно похож на «нобелевского лауреата»: сияющей лысиной, сутулостью, непримиримо-ироническим выражением лица, распевностью чтения стихов. Особенно это впечатляло в финале, когда, подтанцовывая под фиоритуры саксофона Игоря, собирал со столика листки со стихами, очки, набрасывал твидовый пиджак.

— Мне уже говорили об этом, — не без удовольствия согласился Миша, собираясь после ужина к поезду. Надел пеструю кепочку — и тут сходство с Бродским сделалось абсолютным: он знал об этом, может, и стремился, а потому усмехнулся.

Пужинали. На выходе из ресторанного гардероба на узкой лестнице две фигуры в кожаных пиджаках расступились настолько, чтобы мы противились.

— Эх, нет Паши... Эту шпану враз разметал бы!

Это он о незабвенном друге Луспекаеве — богатыре, сыне армянина и донской казачки.

В агрессивной козаковской интонации я узнавал черты его молодого: богемного фанфарона, задавалы, вызывающе агрессивной кинозвезды, любимца очарованной им публики, особенно женщин.

Вышли на проспект, он еще остывал после физически трудного спектакля.

— Да, ты прав, воспринимается все на едином дыхании, легко — в это верю. Но как тяжело работается. Наша «Королевская рать» давалась тяжело — помнишь? — да еще мое тяжелое душевное состояние... (Он тогда покидал навсегда «Современник», разводился с Медеей.) «Безымянная звезда» давалась тяжело, «Покровские ворота», «Тень» — все тяжело, тяжело...

— Что-то же собираешься снимать?

— Не так давно попал в казино. Там один тип на моих глазах проиграл 120 тысяч долларов. Подумал я: мне всего-то нужно каких-то 200 тысяч, чтобы осуществить мечту, снять фильм, о котором мечтаю!

— Все та же «Пиковая дама»? — Он рассказывал о своем необычном замысле тридцать лет назад.

— Не отпускает меня графиня-сука! И два выпуска сделал на радио, и скоро буду читать это по телевидению... Но все не то! Фильм бы сделать.

По дороге на вокзал я сидел в машине рядом с Бутманом, похвалил его передачу «Джазофрения», ни одну из которых не пропускал, тихо попросил Игоря не колоть шутками Козакова. Музыкант отозвался серьезно:

— Что вы, я так, слегка. Понимаю, с кем выступаю. Михалыч предлагал этот проект и Георгию Гараняну, и Алексею Козлову. Я рад, что они отказались.

На перроне Мишу вновь потянуло на воспоминания:

— Снимаю в Питере «Безымянную звезду». Возвращаемся под утро, мост разведен, пережидаем... Вдруг из соседней машины бросается ко мне мужик, обнимает, — Толик, мой одноклассник, с которым не виделись с 1952 года. После приветствий спрашивает: «Мишка, чего ты достиг?» Я начинаю перечислять: где снялся, что поставил, что сыграл в театре... А он с нетерпением: «Это все известно. Спрашиваю: чего ты достиг?» Я не знаю, что ответить... А он: «Видишь, у меня новенькая «Волга», а в гараже новенькая «Вольво», квартира в центре на весь этаж, большая загородная усадьба...» Перечисляет — а это все в 79-м! «А знаешь, Мишка, чем занимаюсь? Наша бригада стоит у решет городских отстойников фекалий, внимательно следим и цепляем крюками все ценное. Знал бы ты, Мишка, что люди спускают в унитазы: бриллиантовые кольца, золотые цепочки с кулонами, пачки денег!...» Вот одноклассник Толик не задумывается, как детей на ноги поставить. Хрен его знает, как следовало жизнь строить, — что уж теперь говорить... — И забормотал, опять же из Бродского:

*— Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпях
и без костей язык, до вмятых звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком...*

Он отвел меня от вагона к забору, огораживающему стройку вокзала, — и началась исповедь:

— Прочитай в ближайших номерах журнала «Искусство кино». Я там признаюсь, что с 56-го меня завербовали органы... но никого не заложил!.. Прочитай обязательно.

Когда я передал это признание еще одному знаменитому артисту, соратнику по «Рати...», он посмеялся: Мишиным заверениям не верил.

Признание Козакова напечатано в 7-м номере журнала — творение неопределенного жанра: его можно принять и как беллетристику, и как документальную историю. Если принять вторую версию, все становится на свои места: это факт Мишиной биографии — уж больно все «ложится» на его характер. В 56-м, в 22 года, он фантастически популярен после роли Шарля в фильме «Убийство на улице Данте» — лощеный мерзавец-фашист, убивающий собственную мать. Его актерское отрицательное обаяние использовали и в следующем фильме «Человек-амфибия». В быту он франтоват, аристократичен, прогремел в театре ролью Гамлета, вид рокового красавца, ослеплявшего женщин, шла от смеси кровей: отца-еврея, известного писателя, и русской мамы Зои, в роду которой значились также греки и сербы. Пленив внешним видом, он добивался желаемого высоким интеллектом и красноречием. Взволнованные взгляды поклонниц сопровождали его, как говорится, «с молодых юных лет», и все пять жен, свидетельствую, по-своему красивы.

Так вот, Мишу... или, скажем, героя его рассказа, который как бы исповедуется Мише, вербуют, чтобы он соблазнил американскую красавицу-журналистку. Соответствующими службами выстраиваются убедительные для окружающих аргументы, чтобы артист среди сезона исчез на две недели. Ему создают райские условия в Крымском пансионате, где наш герой «случайно» оказывается в те же дни, когда там нежится под солнышком и американка. Он не знает ограничения в тратах: рестораны, танцы, вино в номере, заплывы при луне, — и женщина увлекается молодым знаменитым артистом. И вот они вдвоем в его номере-люкс, все идет «по сценарию»: легкое вино, рассла-

бление, медленный танец, раздевание... Их уже готовы «накрыть» в постели, чтобы потом шантажировать потерявшую голову американку. Но в последний момент он — литературный герой, а скорее всего, сам Миша, — пожалел ее, шепнул, чтоб не поддавалась ему, чтоб подняла крик. Операция сорвалась, в чем обвинили Козакова — или его героя, — который, тем не менее, отлично «на халяву» провел две недели у моря. Его «списали» из группы искусителей и будто более не поручали щекотливых дел и вообще никаких. Так следовало из опубликованного в журнале рассказа-признания.

— В редакции меня отговаривали: мол, зачем вам, Михаил Михайлович, об этом распространяться, признаваться?.. Нужно! Нужно — это покаяние перед моими детьми.

И вновь зазвучал Бродский:

*Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу...*

Строки оказались пророческими, но мы этого пока не знаем.

Граждане провожающие целовались с отъезжающими, покидали перрон. Администратор Леня приветливо простился: «Пока, Михал Михалыч. До Москвы», — и поспешил к своему более скромному вагону. Бутман и проводник спального вагона стояли в дверях, готовые подхватить, едва тронется поезд, расчувствовавшегося и слегка подвыпившего народного артиста. А Миша читал мне на прощание:

*— Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать...*

Хоть Козаков и Бродский питерцы и таковыми называли себя даже когда город назывался Ленинградом, не судьба им упокоиться там: поэт спит в Венеции, на острове-кладбище Сан-Микеле, через стену от импресарио Сергея Дягилева и композитора Игоря Стравинского — три великих изгнанника России. А Миша давно говорил, что хочет лежать рядом с мамой Зоей, дважды прошедшей ГУЛАГ, а это в Москве. Но зная исход, скажу, что и этому не суждено исполниться.

Подсаживая его в вагон, я спросил:

— Сдашь «Свадьбу Кречинского», а что дальше, Миша?

— «Король Лир» в театре Моссовета. Ставить будет Павел Хомский по моим разработкам.

— Лира, конечно, будешь играть сам?

— Да. Это станет моим прощанием со сценой.

Я уже тогда знал, что это не так.

Минские интеллектуалы и любители изящной словесности дважды прослушали «Концерт для голоса с саксофоном».

Программа следующего четного, 2006 года именовалась «От Пушкина до Бродского». Билетов в трехъярусный зал Дворца профсоюзов не стало уже за четыре дня до выступления Козакова.

Вышел на пустую сцену — стройный, гибкий, элегантный, с небольшой «шикиперской» бородкой — новое в обличье! — в бежевой рубашке с

растегнутым воротником, низко-низко поклонился. Зал взорвался долгими аплодисментами.

— Расцениваю это как аванс, большую для меня честь. Но, как говорила моя бабушка: «Не хвались, идя на рать, а хвались, идя... с рати».

Подождал к микрофону. Зал замер. И начался...

Второй монолог для 1 % минчан и закулисный — для молчаливого друга-слушателя

Первое отделение — часовая медитация: лишь Пушкин.

— Знаешь, я все такой же старый дурень — «романтик», видишь ли! Как открою большой красный том Пушкина, каждый раз нахожу что-то новое, словно впервые углубляюсь!

Глубоко затянулся трубкой... После его ухода в невозвратность я пересмотрел фотографии — и оторопел: он везде с трубкой! На самом последнем моем фото — с сигаретой. Удивляться ли роковому диагнозу!

— У христиан — Христос, у мусульман — Магомет, у кого-то там Будда, Шива... А культ поклонения в русской культуре — светлый Пушкин. Как начал в детстве читать его, так поныне... А мне же, Вовочка, семьдесят один.

Отвечает на записку из зала:

— Программу намечаю только приблизительно, тематически, по авторам. Но что и за чем читать, какие конкретно стихи — это каждый раз сердце подсказывает, вот как сегодня. Словом, импровизация, как в джазе... Нет любимого более или менее, нет.

Лукавил артист. Не было творческой встречи, умного застолья, выступления по телевидению, концерта, чтобы не прочитал пушкинское «Признание» («Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»), Давида Самойлова «Пестель, Поэт и Анна» («Он вновь услышал — распевает Анна. И задохнулся: «Анна! Боже мой!»). Вот захотелось ему сегодня — и прочитал хрестоматийные «Жил на свете рыцарь бедный», «На холмах Грузии лежит ночная мгла»...

— Недавно летал в Тбилиси с концертами. Что сказать: Медея живет, как жила, — ты же помнишь, мы с ней как раз во время последних съемок «Рати» разводились. Дочь наша Манана — артистка, зрелая тетка! У нее двое детей, внуки мои — такие пригожие детки! Перемешаны национальные гены, понимаешь. А муж Мананы — главный режиссер театра имени Марджанишвили... У них там, «на холмах Грузии», своя жизнь, уже мало понятная нам.

— Эпиграф к стихотворению «Осень» из Державина: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?..» Послушаете пушкинские строфы и поймете, почему гений взял эпиграфом, казалось бы, невнятную на первый взгляд строку поэта-классициста. Это — стих о творчестве.

Начал читать монотонно:

— Октябрь уж наступил — уж роица потряхает...

Как скупы и рассчитаны его жесты! Одна рука призывно вскинута, другая в кармане, вот обе сложил на груди; снял очки, взмахнул ими, вновь надел... К микрофону на стойке ни разу не прикоснулся. (Так же никогда не прикасался к микрофону великий Аркадий Райкин.) Зачем? Это всего лишь техническое приспособление, а не реквизит вечера высокой поэзии.

— ...Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена... на смерть осуждена...

Артист растерялся: забыл текст! Извиняется перед залом:

— Редко, но бывает: забудешь строку и — ступор, простите. «На смерть осуждена... осуждена...»

Аудитория сочувственно аплодирует, прощая артисту заминку.

И тут — женский голос из зала:

— «Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах...»

Козаков выходит на авансцену, тянется к подсказнице:

— Как? Как?

— «Улыбка на устах увянувших видна...» — тот же голос из зала.
(Это моя подруга Дина, педагог по сценической речи.)

— «Могильной пропасти она не слышит зева...» — радостно подхватывает артист и далее уверенно декламирует, позабыв о микрофоне, прямо адресуя возвышенные строки женщине-эрудиту, сидящей где-то в средних рядах. И без радиоусилителя слышатся чарующие строфы, чарующий голос:

— Громада двинулась и рассекает волны...

Плывет. Куда ж нам плыть?..

И зависает долгая тишина. В зале «народ безмолвствует», народ в задумчивости...

— Был долгий, почти два десятилетия, спад интереса к поэзии. А теперь тот один неизменный процент, — а больше никогда в обществе не было и не будет, да и не надо! — «наевшись» триллеров, бессмысленных сериалов, «Анислагов», телеигр, всяких прочих поделок — говна в цветистом оформлении — вновь потянулся к поэзии! Убедились умные люди, что интересней ничего нет! Месяц назад был в Москве полный зал имени Чайковского — 2500 человек! А только что вернулся из Питера — два концерта в филармонии по 1600 человек! И всюду так. Жаль, что молодые артисты сформировались в период не востребоваваемости художественного поэтического слова. И результат: кто сегодня читает стихи со сцены? А я тебе перечислю пять фамилий: Юрский, Лановой, Демидова, Филиппенко. Все. А за нами — ни-ко-го. А люди жаждут поэзии — видел же сегодня сам.

— Вот стою сейчас перед вами — и я счастлив. Да, ставлю фильмы и спектакли, играю в театре и кино, но читать стихи со сцены — настоящий праздник! Роль ограничена сюжетом, связана с концепцией всего произведения, с заданностью характера. А стихи!.. Какое у меня настроение, состояние душевное, то и читаю, в разной последовательности. — Козаков задумался, объявил: — «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».

*Мне не спится, нет огня,
Всюду мрак и сон докучный...*

В середине исповедальных пушкинских строк в зале заверещал — не в первый и не в последний раз за концерт — чей-то мобильный телефон. Мало что не отключают, так еще, когда вытаскивают из кармана или сумки, он трещит еще громче!

Козаков прервал чтение, грустновато усмехнулся:

— Я скоро закончу, мне на поезд...

*Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.*

Дочитал монотонно и почти без пауз. Сник.

В антракте я напомнил ему о недавней детской передаче:

— ...Наскочил случайно: сидишь ты со своими малыши Мишкой и Зойкой, начал читать «Сказку о царе Салтане», — я как сидел, так и прослушал до конца знакомое с детства.

Он нахмурился, признался горестно:

— *Так тоскую по детям... Анна отвезла их в Израиль — потому мы с ней и расстались. Я же, как выявила жизнь, остался гражданином Ордынки и канала Грибоедова.* — Рассмеялся: — *Иду по Питеру — захотел посмотреть на дом, где родился, — а рядом по каналу пыхтит катерок с туристами. Слышу, гид через мегафон рассказывает: вот там последний дом Пушкина, а вот идет артист Михаил Козаков, наш земляк!.. Ну, что в Израиле... Нет, климат там целительный, экология отменная: у меня проблема с глазами была, так там за три дня зрение само восстановилось. С Анной там жили, с детьми... Они учатся в лицее: Минька уже классно играет на бас-гитаре, Зойка — на трубе и рисует. Одинок я тут без них... грустно...*

Он передает нам с женой пачку фотографий младших детей: милые личики, разумные глазки. Минька, как он называет младшего сына, родившегося в 1990-м, перед отъездом в Израиль, и Зойка, родившаяся тоже в Москве, по возвращении из эмиграции на Ордынку, названы в честь родителей Михаила Михайловича.

— *А старший сын Кирилл — зрелый дядька... Помнишь его в «Графине Монсоро»? А Катька старше его... Грета мне их родила. Такой большой род от меня пошел!* — Помолчал, вдруг спохватился. — *Маму мою Зою помнишь же, конечно. Она закончила Институт благородных девиц. Так вот, по приглашению Ариадны Цветаевой — она вместе с моей мамой свое в ГУЛАГе отсидела — приехал в Москву из Парижа эмигрант Корде-Родзевич, заглянул к нам. Я тогда — «между женами», без квартиры — жил у мамы, спал на раскладушке. Пока спутница Родзевича с мамой готовили угощение, он поинтересовался: «И что, ваша молодежь знает Марину Цветаеву, интересуется поэзией?» Я вместо ответа прочитал ему, выбрав случайно, наугад, цветаевского «Егорушку». Родзевич прослушал, усмехнулся и произнес тихо: «А знаете, Миша, что это стихотворение посвящено мне?» Оказывается, в Праге у них с Цветаевой был роман!.. Он — эмигрант, но был там советским резидентом!.. Какие сюжеты жизни, а?! Это будет эпизод в моем новом фильме... Потом расскажу.* — Вновь очередная трубка наполняется ароматным табаком из зеленого кисета, берется одна из многочисленных зажигалок. — *Трубок у меня столько, чтоб по одной не чистить.*

Несмелый вопрос заглянувшего администратора: «Когда подавать ужин?» Козаков распоряжается:

— *Концерт будет длиться не два часа, а два часа пятнадцать минут. Ми-ни-мум.*

Выступление длилось дольше: два часа тридцать пять минут. А записки с просьбами-заявками зрителей все пополняли корзиночки на авансцене.

— Жизнь с Пушкиным. Играл я Сильвио в экранизации «Выстрела», читал со сцены это произведение, снял фильм и читал «Пиковую даму», читал «Барышню-крестьянку»... А сколько у поэта юмора, лукавства! Послушайте. — Приводит неизвестную эпиграмму, которая кончается словами «...от денег и независимость зависит!».

Зал смеется, аплодирует. А потом — доверительно — Козаков читает особенно близкое ему, полуеврею, стихотворение про расиста, заканчивающееся строками:

— «...Готов я то тебе вручить, что православных от еврея одно и может отличить».

Зал хохочет.

— Не один я — мой старший друг, поэт Давид Самойлов тоже очарован Пушкиным. Вот его стихотворение «Пока в России длится Пушкин» — там совестливых поэтов, своих современников, он называет «Послушниками Пушкина».

Читает это, затем, конечно же, «Пестеля». Последние слова «Анна! Боже мой...» прозвучали по-новому, торопливо: словно поэт не восхищается ее видом, но уже целует Анну, задыхаясь от страсти. А дальше — ломает настроение: «Паситесь, мирные народы», после чего зал вновь в долгой задумчивости. И в той же «тональности» — итоговое: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит... На свете счастья нет, но есть покой и воля...»

Но заканчивает первое «пушкинское» отделение веселым монологом Финна из «Руслана и Людмилы».

— Пушкин написал поэму эту в 21 год. Сколько иронии! Какое лукавство! Но — слушайте: «Руслан на мокрый мох ложится...»

Красивая приметная девушка, заметил я, в антракте надела дубленку и исчезла — что ж, жаль, не до всех дошло, им же хуже.

Но исчезновение ее имело, оказывается, продолжение...

— *Интересуешься, что сделал я за «отчетный период»? Говорил тебе, что ставлю в театре Моссовета «Короля Лира». Поставил, играю уже три года. Ну, небольшие роли в кино... Вот-вот пойдет по каналу «Культура» телетрилогия «Играем Шекспира»: «Гамлет», затем «Комедия ошибок» и «Лир» и «Венецианский купец» — это версии разных мировых исполнителей с проекцией на историю СССР. Дальше: 21 апреля сдам игровой шестисерийник... За название борюсь: авторы отстаивают название «Очарование зла», а мне нравится «Тогда, в тридцатые». Это история сложных взаимоотношений Марины Цветаевой с мужем Эфрон — агентом НКВД, — вообще с русской эмиграцией в Париже, и все заканчивается, как и было в жизни, трагично. Снял за смешные деньги — всего полтора миллиона долларов! Мне вообще все мои фильмы выпадает снимать за «смешные деньги»! А там же съемки на Лионском вокзале! Лишь за установку съемочной камеры муниципалитету Парижа нужно оплатить — большие деньги! Пришлось как-то обдуривать французов. А что, скажи, оставалось делать русскому кинематографисту с нищенским бюджетом?! Марину играет Тюнина — выдающаяся актриса! Еще такого дарования могу назвать в Москве Чулпан Хаматову... Актеры великолепные есть, есть — играть нечего, вот!.. В фильме совмещаю параллельно: секретарь Троцкого смотрит в Париже фильм «Цирк» Чаплина, где Чарли ходит под куполом по проволоке без страховки — помнишь? А в СССР женщина-агент смотрит «Цирк» Александрова, где клоуны катаются на велосипедах по манежу с песенкой «Весь день мы поем, все поем...». Должно что-то интересное получиться. Следи за телепрограммой.*

— Не Пушкина с его простой повествовательной прозой, а именно лермонтовского «Героя нашего времени» знатоки считают началом великой русской литературы XIX века. А в поэзии на смену эпикурейцу Пушкину пришли

жесткие и временами желчные строфы поручика Лермонтова... Из Шиллера: «Перчатка».

После сурового трагического стиха «Пророк» — юмористическая «Тамбовская казначейша»:

— ...Теперь же город — хоть куда:
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые...

Сравнивая два захудалых трактира, артист единственной саркастической интонацией принижает свой «Московский» и возвеличивает «Берлин» — единственно за иностранное название.

— ...Уланы, ах! Такие хваты...
Полковник, верно, неженатый...

...Ну, и так далее... — сам себя прерывает Козаков; зал загудел разочарованно. — Уважаемые, там двадцать страниц, не успею дойти до других поэтов... Ну, вот Федор Тютчев — считается, что это поэт для людей в возрасте. Но еще в середине 60-х годов — нам тогда было примерно по тридцать — мы с Олегом Ефремовым и его женой Аллой Покровской сделали большую чтецкую композицию по Тютчеву, которая имела огромный успех во всех аудиториях. Тютчев был вельможным дипломатом, российским послом в Европе, а как к поэту относился к себе равнодушно: когда умерла его любимая Елена Денисьева, бросил в камин пачку стихов, которые потом не смог вспомнить. Стихотворение «Молчи» ценили полвека спустя русские символисты, Блок в частности.

И Козаков читает, потрясая зал авторским выводом:

— ...Мысль изреченная — есть ложь!

Аплодисменты возникли не сразу, зал некоторое время словно осмысливал истины, выраженные в строках, часто известных, хрестоматийных, но потом слушатели реагировали торопливыми хлопками, жалея тратить концертное время...

— *Жуткая Москва, не тянет меня возвращаться туда. Не участвую ни в каких фестивалях, съездах, жюри, выборах, тусовках. Сижусь, когда не занят, в своей однокомнатной, думаю, пишу, готовлю двухтомник. Москва стала городом «желтого дьявола»! Знаешь, сколько требует Эдик Радзинский за выступление?.. Талантливый Олежка Меньшиков снимался и до моего фильма, но именно после «Покровских ворот» он стал кинозвездой. Знаешь, сколько он потребовал — и получил! — за ведение новогоднего «Телегонька»?.. А народные артисты в с е г о Советского Союза (он называет пятизначную цифру в долларах). Я так не могу... Старомодный, скромный... Да и обдуривают меня. Вот в Кремле правительственный концерт — оговариваем одну сумму, на словах. Выступил, получаю конверт — сумма в двенадцать раз меньшая. Анна моя сказала: «Без письменного договора работал? Дур-рак!» Много курю? Я жуткий курильщик со стажем: начинал с «Беломора»... На что живу? Вот Игорь Бутман пригласил в закрытый ресторанчик, сыграли наши «Дуэт для голоса с саксофоном» для пятнадцати человек — почти все лица, знакомые по телевизору. Через некоторое время — еще с той же программой. И в третий раз — для той же аудитории. Сказали, читайте, играйте что*

хотите. Не пили, не ели, слушали нас внимательно. Получил скромно, но я доволен: в другой город ехать не нужно. Сколько взял за это Бутман, не мое дело. Спасибо за приглашение.

— Мало читаю Блока. Казалось бы, родился в Ленинграде, 17 лет прожил там... Сам не знаю, почему так... не знаю. Но сейчас прочитаю вам «питерский блок»: Блок — Ахматова — Бродский. Поймете, какая связь.

Начинает с известного: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...» Затем — Анна Ахматова: «Он прав: опять фонарь, опять аптека...» Михаил Козаков был знаком с Анной Андреевной, первым, еще до публикации, читал ее потаенный «Реквием»...

Читает, почти не делая пауз между стихами. Со сцены звучит Иосиф Бродский — последняя часть триптиха: «Ночь. Камера. Топчан. Толчок // Опять херачит мне в зрачок...»

— Если помните, «Дуэт для голоса с саксофоном» — целиком стихи Бродского — такой близкий мне поэт... Вдова Иосифа позволила мне лично читать все его стихи, неограниченно. Горжусь...

— *Вот тебе диски DVD с «Дуэтом...» и спектаклем «Чествование», вот моя последняя книга «Третий звонок»... подожди, напишу на ней что-то. Спасибо тебе за твои презенты.* (Подарил ему три свои книги и набор «Белорусского бальзама».) *Дружбе нашей с тобой столько лет! Рад, что ты тут, в Минске, всегда меня ждешь. Дай нам Бог еще много встреч! А в Москве, поверь, совсем грустно. Мало кто из бывших соратников остался... Пригласили на юбилей театра «Современник» — не пошел. Там из близких осталось всего четыре человека. Нужно было бы выпивать: а с кем? За кого?.. Некоторые из бывших соратников озлились на меня — за что?! Заседание комиссии по присуждениям премии «Триумф». Там мои друзья: Юра Башмет, Вася Аксенов, Олег Меньшиков... Услышав мою фамилию, Табаков решительно заявляет: «Этому — никогда!» Почему? Вместе с Леликом начинали, нигде ему дорогу не перешел... Что с людьми делается!*

— Со Станиславом Рассадиным у вас недавно интересная теледискуссия была.

— *Да, Стасик... болеет тяжело.*

— А пятая жена твоя — поддерживает?

— *Полужена, полудомработница... Из провинции она, не такая уж и красивая... Думал покой, наконец, обрести, лад, домовитость... Но — с разных планет мы, ничего общего... да и вредные наклонности сейчас выявились...*

Ему передают два пакета, в обоих маленькие «самиздатовские» брошюры со стихами. Попивая чай, Козаков смеется:

— *Во всех городах суют мне свои стихи! С надеждой, конечно же, что заинтересуюсь, буду читать. Вот, и минчане туда же.*

Отработав программу, водрузил на нос очки, присел к столику, перебирает зрительские записки.

— *«25 лет назад вы выступали в нашем Политехническом, читали Ахматову. Вы не боялись в те годы?»* Нет, не боялся. Я ж в кино трижды Дзержинского играл.

Зал живо реагирует.

— *«Где приобрести диски с вашими записями?»* Не знаю. Записываю много. Сам хотел приобрести для подарков в питерской «Лавке писателей» программу Тютчева — записал ее вместе с Беллой Ахмадулиной. А там всего

один экземпляр. Спрашиваю: «Почему так мало заказываете?» Ответ: «Боимся затоваривания — вдруг не разойдется...». **«Ваше отношение к экранизации “Мастера и Маргариты”?»** В своем дневнике я записал: «Хорошо, что это случилось. Хорошо, что там не снимался». Какая-то путаница с озвучкой... Брошен перстень, Пилатова награда — это все равно как если бы Берия швырнул подарок Сталина за убийство Троцкого — глупость! Ну, не буду перечислять, времени жалко... **«Ваше отношение к сериалу “Сергей Есенин”?»** Возьмем одну линию: отношения поэта с другом Анатолием Мариенгофом. Дело в том, что это мой родственник. Кроме того, что он описал в «Романе без вранья», дядя Толя много рассказывал мне обо всех «действующих лицах» своей молодости. Не было у него собственного ресторана, а потому никогда не имел денег, которые просил Есенин, — все пропивали вместе. Не бил Пастернак лежащего поэта в пах, не в его характере это было. Я знал Бориса Леонидовича... **«Прочитайте, пожалуйста, Бродского «Письма римскому другу. Из Марциала».** Прочитаю в конце его другое...

*Сядь, Державин, развались...
Входит Пушкин в летном шлеме...
Входит Гоголь в бескозырке...*

Он читает фрагмент большого стихотворения «Представление».

Вечер, половина десятого. Еще записка.

— **«Ваша любимая роль в кино».** Всегда во всех интервью отвечаю: Джек Берден в белорусском фильме «Вся королевская рать». Почему? Если знаете, начинал я свою театральную карьеру в роли Гамлета. Этот образ всю жизнь со мной, сейчас есть замысел поставить на телевидении шесть серий в прозаическом переводе Морозова — со всеми комментариями... Так вот, Джек — родной брат Гамлета, такой же рефлексирующий интеллигент! Все события как бы пропускает через себя, внешне словно не выказывая своего отношения. Большая работа, почти не схожу с экрана. А вообще — это моя... нет, не молодость, а, скажем так, зрелость. И я рад, что сегодня в зале мой друг с тех лет...

Он называет мое имя, некоторые зрители оглядываются на меня...

Миша грустно перечисляет участников «Рати»: тот ушел навсегда, тот покинул экран и театр, партнерша спилась, другой партнер «просуетил карьеру, стал потным».

— *А я ж, Вовочка, как закончили фильм, так его и не видел больше. Москва не показывает.*

— А наше Белорусское телевидение каждые года два-три демонстрирует. А как умер Жженов, так тут же в декабре показали в память Георгия Степановича еще раз.

— *С какой радостью я займел бы копию фильма!*

Организаторы концерта обещают это Михаилу Михайловичу.

— *А знаешь, мне автор романа Пен Уоррен письмо из Штатов прислал: ему в советском посольстве показали фрагмент фильма, который неведомо как там оказался. Он мне написал: «Ваша трактовка, мистер Козаков, убеждает больше, чем в американском фильме». Конечно, в стандартный метраж обычного фильма роман вложить им было трудно, а на политические темы сериалы они не снимают. А мы — точно все сделали! И скажи: Гуткович написал-таки прекрасный сценарий!*

Я не мог не согласиться. Но позже мы с ним узнали, кто так мастерски написал экранизацию...

Он читает последнюю записку из зала.

— **«Ваши творческие планы».** Композиция «Евангелие от Мастера» с музыкой Шандора Калаша — он писал музыку к моему фильму «Визит дамы». Будут звучать мотивы иудейские, арамейские, греческие... Я собрал сведения о деяниях Понтия Пилата из разных источников.

И тут к сцене рванулась красавица, которая, надев дубленку, ушла в антракте. Она несла букет желтых свежих тюльпанов, приобретенных, как я сообразил, в ларьке подземного перехода. Козаков поцеловал ее...

В гримерке он читает вложенную в тюльпаны записочку.

— **«Я вас не знала, я не читала стихов. Попала на концерт случайно. Вы открыли мне мир поэзии, мудрости, любви, новое световосприятие. Спасибо Вам»... Вот такие слова продлевают мою жизнь. Ей ничего от меня не нужно: ни протекции стать артисткой, ни проситься в мой театр.**

Записку — только ее одну из всех многочисленных — кладет в портмоне.

— Может, Михаил Михайлович, запланируем традиционные вечера поэзии — ежегодно? — предлагает минчанин-организатор.

Миша попыхивает трубочкой, устало отхлебывает красное вино.

— **Не будем загадывать. Как сложится жизнь.**

Автор телепроекта ОНТ «Обратный отсчет» Владимир Бокун предложил экранизировать мою книжку «Закадровые истории фильма «Вся королевская рать» глазами одного из его создателей». Так в 2008-м родилась «кино про кино»...

«Королевская рать». Трагедии и тайны

С трагедии все началось: отснявшись в двух эпизодах, умер исполнитель главной роли, великий артист Павел Луспекаев, ставший легендой после роли Верещагина в «Белом солнце пустыни». Хватало и драм: уличенный в мошенничестве и подлогах, попал за решетку директор фильма Даниил Нежинский; не выдержав позора после фельетона в «Правде», умер от сердечного приступа руководитель Белорусского телевидения Вячеслав Полесский; сместили с должности главного редактора «Телефильма» прекрасного организатора Григория Глуховского, кстати, первого, кто забил тревогу по поводу финансовых афер директора фильма... Но главное, почти через сорок лет открылась тайна: кто же был подлинным автором сценария.

К моменту съемок из некогда многочисленной «рати» из актеров остались трое: Михаил Козаков, Лев Дуров и Ростислав Янковский — все охотно согласилось сняться в моем фильме. Аллу Демидову даже при содействии ее соседей не нашли.

Славу снимали в Минске, в нашей студии, Леву в Москве, в театре на Малой Бронной, Мишу — в его однокомнатной квартире в 3-м Самотечном.

Разводясь, — а это происходило четырежды, — квартиры он оставлял женам со своими детьми. В этой, как в предыдущих, на стенах одни и те же знакомые мне фотографии: папа-писатель, мама Зоя, прошедшая ГУЛАГ, дети,

внуки. И неизменно — «его» поэты: Давид Самойлов, Булат Окуджава, Иосиф Бродский, друзья-писатели: Василий Аксенов, Натан Эйдельман — все фото с трогательными автографами. А еще портрет с автографом автора романа «Вся королевская рать» Роберта Пена Уоррена. И хотя артиста Козакова никак нельзя упрекнуть в излишней скромности, но на стенах комнаты — ни одного снимка его в ролях или каких-то плакатов.

Козакова, некогда любимца московской богемы, но поседевшего, полысевшего, в морщинах, узнавали и сейчас: та же подтянутость, стройность, неизменная горько-насмешливая кривизна губ, неизменная трубка, «шкиперская» борода — это новая деталь облика, — и взгляд: пронизывающий, мудрый.

Миша пригубливал из рюмки с давно полюбившейся ему «Беловежской» и вспоминал, а камера работала:

— На съемки «Рати» летел я, как на праздник, — ты же помнишь! Ждал с нетерпением, чтобы ночь скорей минула, чтобы снова за работу!.. Как и у дяди Жоры (Георгия Жженова), это моя лучшая роль в кино. И такой сценарий! Сколько с тех пор за сорок лет читал и ставил, никогда больше такой сценарий мне не попадался!..

И тут я поведал ему открывшуюся мне перед самым отъездом давнюю тайну: автором сценария был не Александр Гуткович, как значится в титрах, а Эллы Милова, числившаяся на фильме всего лишь редактором. Гуткович ее авторство сумел замять — других проблем на фильме хватало.

Выслушав, Миша смачно выругался, сказал в камеру:

— После первых же бесед с Гутковичем я понял: если не хочу позора себе и фильму, нужно включаться в режиссуру.

Но официально сопостановщиком назначили не его, а оператора Наума Ардашникова, хотя большего, чем Миша, вклада в создание фильма не сделал никто, и его фамилия должна была стоять рядом с нашими, режиссерскими, как и фамилия Эллы Миловой — соавтора сценария.

Скромно поужинали. Он вдруг вспомнил о своей «эмиграции» в Израиль.

Тогда, в бурном 91-м, я прослышал о его желании уехать. Тотчас позвонил в Москву. Миша подтвердил намерение:

— Вот закончу снимать «Тень» по Шварцу — и уеду. Питания ребенку не купить, на Новый год в ресторане Дома кино столика мне не досталось — какие-то типы в красных пиджаках, рожи незнакомые!..

Он что-то еще перечислял, обиды, претензии, убеждая, показалось, самого себя в правильности решения. Я выслушал, попытался увещевать:

— Послушай, ты тут Михаил Козаков на одной шестой части земного шара. Ты ставишь что хочешь, читаешь что хочешь, снимаешь что хочешь. А едешь в страну, названия которой на карте мира даже негде уместить, — лишь цифра «27», а ниже расшифровка: «27 — Израиль».

Он помолчал, затем хмуро пробормотал:

— Тебе этого не понять. Прощай.

А сейчас, в 2008-м, вспоминал:

— Так, казалось, здорово сыграл Тригорина на иврите! В антракте отдыхаю, довольный, трубочку посасываю, кофею потягиваю. И тут входит костюмерша с моим сюртуком на плечиках и о чем-то меня с улыбкой спрашивает. А я — ну, не понимаю ни хрена! (Было употреблено выражение покрепче.) Загрустил.

— Мой «Король Лир» в театре Моссовета уже не идет. И спектакль получился хороший, и я Лира играл, кажется, неплохо — отзывы теплые... Но —

мистика, черный рок какой-то: огромная декорация перед спектаклем, когда на сцене, к счастью, никого не было, вдруг рухнула! Прямо вся конструкция! Разлетелось все в щепки, никакое восстановление невозможно! И — нет спектакля. А столько туда вложено и сил, и мыслей... Друзья уходят один за другим. На похоронах Олега Ефремова не был — находился на гастролях в Америке... Стасик Рассадин очень болен, не встает... Вася Аксенов в беспмятстве полгода уже...

Чтоб сломать его грусть, попросил почитать стихи.

И до отъезда — едва не опоздали с оператором на поезд — слушали Мишу. Этим он мог очаровать, завлечь кого угодно — особенно женщин.

Когда-то, уже после его возвращения в Москву и рождения Зои Козаковой, переключая телеканалы, наткнулся я на телепередачу «Спокойной ночи, малыши». В студии сидел Миша с малыми Минькой и Зоей на руках, начал им рассказывать: «Три девицы под окном // Пряли поздно вечерком. // «Если б я была царица...» Я не мог оторваться, прослушал знакомую с детства сказку до конца — магия!

Я рассказал Мише об этом, напомнил, как когда-то, во время пребывания в Минске, четыре часа он читал нам с женой стихи, пока не появилась потребность промочить горло... Промочили.

Немолодому артисту, утомленному жизнью мужчине это приятно было слышать.

Той осенью собирался я на отдых в Италию, маршрут пролегал через Вененцию.

— Миша, как на острове Сан-Микеле найти могилу Бродского?

— А просто: там всюду указатели.

Действительно, на схеме острова на кладбище означены всего восемь захоронений, из них — трое «наших»: Сергей Дягилев и Игорь Стравинский в секторе «Греко-католика», а Бродский через стенку — в секторе «Евангелисто».

14 октября, в день его рождения — очень гордился, что рожден в один день с Лермонтовым, — звоню Мише, поздравляю.

— Спасибо, Вовочка, что не забыл... Наум Ардашников как раз перед тобой звонил, поздравлял... Побывал на Сан-Микеле?

— Да.

— От меня Иосифу поклонился?

Поделился он доброй вестью: поставил в Тбилиси «Чайку» со своей дочкой Мананой, матерью двух его внуков, в роли Аркадиной.

Сокрушенно сообщил и грустную весть: за двенадцать дней до начала съемок закрыли, «зарубили» по его с Марком Розовским сценарию фильм о Соломоне Михоэлсе. Я не стал спрашивать, но, видимо, Миша намеревался воплотить и главную роль. Помню, до этого расспрашивал он меня о месте, где в Минске нашли тело великого еврейского артиста, в каком доме он ужинал перед тем, как его куда-то вызвали.

Я единственно нашелся чем утешить, сказав:

— Миша, ерунду не закрывают, закрывают талантливое. И что за режиссер, у которого нет хоть одного фильма «на полке»?!

Ровно за год до ухода из жизни, 14 апреля 2010 года, в пятый раз за последнее десятилетие выступал Козаков в Минске. Мог ли я, любуясь им из зрительного зала, а потом звеня рюмками, слушая его исповедальный монолог, предполагать, что это...

Последняя встреча

Я встретил его в 8 утра на вокзале и, простившись до вечера, до спектакля, собирался отправиться по своим делам. Но он втянул меня в авто — проводить до гостиницы; затем уговорил позавтракать вместе, а потом пошли в его люкс. Я выслушал четырехчасовой монолог. Несколько раз я порывался уйти, уговаривал его отдохнуть с дороги перед спектаклем.

— Посиди, Вовочка. — Дымил трубкой. Держал паузы. — Нет друзей.

Ему не перед кем было выговориться. А я — и благодарный слушатель, и поклонник его многогранного таланта, я возвращал его в молодость, в сложное время «Всей королевской рати», где он создал свою звездную роль.

Перескакивая, сетовал на трудности жизни, вспоминал родителей — его маму Зою Александровну мы не раз навещали вместе, кормила нас, — жаловался на потерю зрения:

— В Америке упал в оркестровую яму, ключицу сломал, так и играл в гипсе — со мной же партнеры, как их подведешь?!

Стараясь задержать меня, подарил несколько новых дисков: «Евангелие от Мастера» (по М. Булгакову), «Черные блюзы» (стихи с джазом), «Моя Одесса» (его предки оттуда) — тут он и читал стихи, и пел; «Давид Самойлов. В кругу себя», «Мой Гамлет» — отрывки из фильмов и спектаклей с Витторио Гассманом, Полом Скофилдом, Иннокентием Смоктуновским, сам читал за Гамлета — и как читал! — играл же в 50-е эту роль в постановке Охлопкова. Моя коллекция дисков CD и DVD значительно пополнилась.

Он выглядел утомленным — не физически, а как бы жизнью вообще.

— Ситуация этой пьески показалась мне интересной, несложной в постановке — вот я и взялся режиссировать и играть. Вечером увидишь. Но все трудней, Вовочка, все трудней... — И опять про болезни.

Но на сцене царил былой любимец публики: энергичный, ироничный, жаждущий аплодисментов!..

Тем вечером в концертном зале «Минск» аншлаг: народный артист России Михаил Козаков показывал антрепризный спектакль «Любовь по системе Станиславского», который поставил и в котором сам играл. Рядом с ним в спектакле блистали народная артистка Елена Шанина, многолетняя героиня мюзикла «Юнона и Авось», популярный характерный актер Оскар Кучера, молодежь, в том числе Нина Милорадова, автор замысловатой и веселой пьесы.

Хорошо, догадался я в тот вечер прихватить фотоаппарат.

За ужином говорил, говорил, принял граммов 350 беленькой — узнавал я задиристого выпивоху Мишу!

— Болею. Зрение катастрофически угасает — глаукома. Это у меня наследственное: и у бабушки так было, и у мамы — помнишь же, всегда в очках с толстыми стеклами ходила.

И затягивался, затягивался трубкой. Многолетнее всасывание теплого табачного дыма, конечно же, сыграло зловещую роль в последнем роковом диагнозе.

* * *

Осенью дошла весть, что Миша в Израиле. Знаю, что туда не собирался, — и что это вдруг? Звоню последней его жене:

— Надежда, почему он там? Что за смена планов?

— Сама не знаю. Поехал вроде в Америку на вечера поэзии, весь багаж — одна красная сумка. Это Анна его туда заманила!.. Боюсь, не вернется...

Анна Ямпольская — четвертая жена Козакова, мать его младших детей Миши и Зои, создатель театральной фирмы «Антреприза Михаила Козакова», энергичный организатор, продюсер. Она эксплуатирует немолодого артиста, но и дает ему заработать, организовав гастроли и в России, и за рубежом.

Сведения о состоянии его здоровья становились все тревожнее, диагноз предсказывал скорбный конец. Как узнать поточнее? Звоню Наде на Самотечную. Автоответчик ее голосом рекомендует: «Оставьте свой номер, вам перезвонят». Никто не перезванивает...

Узнаю из прессы, что идет тяжба за эту однокомнатную квартиру в центре Москвы, на которую «положила глаз» и Анна: нужны деньги на оплату учебы подрастающих детей. А что станет с его бесценными дневниками, которые вел всю жизнь? С богатым архивом? Рукописями? С дорогими фотографиями?

После новогодних праздников стал каждые две недели, а потом и чаще, звонить в Москву Кириллу, старшему сыну, от первой жены эстонки Греты. Он сообщал бюллетени о переменном состоянии здоровья отца, тот был рад моим звонкам и приветам, которые Кирилл исправно передавал в Израиль... до середины апреля...

Начиная с 71-го не было года, чтобы мы с Мишей не созвонились 17 апреля, в день смерти Паши Луспекаева: и в Минске, и в Москве одновременно поднимали рюмки в память великого артиста, Мишиного друга. И вот так случилось, что Миша ушел из жизни тоже в апреле: через 41 год и пять дней после смерти Павла.

И еще. Я давно заметил, что пишется он не Казаков — от «казак», а Козаков — от еврейского «козак». Действительно, отец его, писатель Михаил Эммануилович, был еврей, а мама Зоя Александровна — русская. Так Миша в 2011-м умер после 18 апреля — иудейского Пейсаха, — перед 24-м — православной Пасхой: 22-го. Чтобы не обидеть никого из родителей...

В альбомах моих его и наши совместные фотографии, много Мишиных дисков. Буду смотреть, слушать, вспоминать старшего дорогого друга до конца своих дней.





Елизавета ПОЛЕЕС

Будить, растревоживать, жечь!

Могилеву

В городе этом, где я родилась,
что там осталось? —
Памяти призрачной тонкая вязь?
Детская шалость?

Но узнаю этот дворик и дом
чувством девятым.
Что там таится — в предании том
чистом и святом —

там, где рождался мой первый вопрос,
первые взгляды,
где поднималась я в маленький рост,
где были рядом

мама и папа, и кот, и кровать,
и подоконник,
где узнавала я, как меня звать,
как скачут кони,

как над планетою месяц встает,
солнце садится,
как соблазнителен в небе полет
крохотной птицы,

как для души непростительна ложь,
гибельны битвы...
Чем ты теперь, старый дворик, живешь?
Чьею молитвой?

Еще...

Еще мечтать — и обо всем — вполне возможно,
И пестрый мир еще велик и так тревожит.

Еще не пищею одной, еще не хлебом,
Еще распахнуты глаза — в живое небо.

Еще душа — уже Душа! — вбирает звуки.
И музыкой звучит любовь, и нет разлуки.

И все, что видишь, можно знать, не вспоминая
Ни бед земных, ни войн, ни ада-рая.

Еще вдыхать — и грудью всей! — морозный воздух...
О, как в начале жизни жить еще не поздно!

* * *

Любить себя — какая есть,
Других немало я любила.
Любить за преданность и честь,
Любить за ветреность и силу.

Любить за то, что создала
Природа так, а не иначе,
Что, повидав немало зла,
Все так же и смеюсь, и плачу,

За то, что шляпой не мела
Ни перед властью, ни пред лестью,
Что, встретив нелюбезный взгляд,
Не опускалась я до мести,

За то, что не бросалась ниц
Перед коварством и пред злобой,
Что не срывала маски с лиц,
Когда виновны были оба,

За то, что верила всерьез,
Вливаясь, как в реки течение,
В любовь, напрасную до слез...
За то, что поддаюсь лечению...

* * *

Как надоело сильной быть!..
Как надоело
под завывание трубы
встречать метели...

Как надоело видеть дверь
одну и ту же...

Круг обретений и потерь
все уже, уже...

Как надоело заводить
все те же песни
и одиночество любить.
Любить — хоть тресни...

Как надоело от себя
самой спасаться,
и жить, себя в себе губя,
и гордой зваться...

Как надоело гнезда вить
с чужим, кто рядом...
Как надоело сильной быть
в любви...
А надо...

Апрель

Апрель прийти не торопился —
Он ветры славил.
И дождь с крупю снежной бился
В едином сплаве.

Апрель запаздывал с листочком,
С зеленой веткой,
Хотя уже тянулись почки
Упрямо к свету,

Хотя уже стремились травы
К теплу пробиться,
Свое отстаивая право
Шелками виться.

Да и подснежники воскресли,
Лепечут мило...
Мне тоже мир казался песней,
Когда любила...

Помогите!..

«Помогите! Все зачтется, грех простится!
Помогите!» — крик несется над столицей.

«Помогите! Помогите!» — просит нищий.
«Помогите!» — на панели нищих тыщи.

«Помогите!» — хлещет кровь по Украине.
«Помогите!» — жизнь в клубах уходит дымных.

«Помогите!» — задыхается Пальмира.
«Помогите!» — вопль разносится над миром.

«Помогите — крошкой хлеба и участием!
Кто там зерна на земле посеял счастья?!»

«Помогите!...»

Но на свете нет покоя...
И сирены города пронзают воем,

И старик с безумным взглядом что-то ищет
Средь развалин, средь руин, на пепелище...

Памяти 927 погибших в Зембинском гетто 18 августа 1941 г.

Они жили в Зембине — бабушки, деды,
И тети, и дяди, и братья.
Но я никогда не глядела вослед им,
Не знала их ласк и объятий.

И даже увидеть я их не успела,
Победной эпохи подкидыш.
И бабушка Рива мне песен не пела
На добром и ласковом идиш.

С собой не брала меня бабушка Лея,
Лесные любившая стежки.
И дед предо мной не распахивал веер
Сказаний о святом и грешном.

Он, часто в постели куривший махорку,
О будущем думал ночами,
Не ведая участи жесткой и горькой,
О той, что ждала за плечами.

Июнь сорок первого грянул внезапно.
Не думали? Знать не хотели?
И в августе тишь опрокинулась залпом,
И падало тело на тело.

Кто скажет, зачем и за что умирали
Они тем неласковым летом?
Сестренка погибшая, девочка Рая,
Ты тоже не знаешь ответа?..

Где все они? Кем после выстрелов стали?
Землею ли? Влагой небесной?..
Кружит в облаках лебединая стая...
А может, их души воскресли?..

* * *

Глаголом жги сердца...

А. С. Пушкин («Пророк»)

Так просто — на миг отключиться
От мелких житейских забот
И, выпорхнув легкою птицей,
Взлететь в голубой небосвод!

Так важно — бесстрашно раскрыться
И душу до дна распахнуть,
Вглядеться в бесстрастные лица,
И все же с пути не свернуть.

Так трудно — не сделав обратно
Ни шагу, — себя не беречь,
А речью, по-детски невнятной,
Будить, растревоживать, жечь!

* * *

Я только перо Твое,
Господи! —
только!
Ни гордости нет,
ни гордыни —
нисколько.
Живу, чтоб почувствовать
чуткой душою
незримую связь
с Синим Небом —
с Тобою!



Лариса КАЛУЖЕНИНА

Толука

Рассказ



Толука — это километров пятьдесят к югу от Мехико, столица штата. Аэропорт международный, но Марине не понравился. Какие-то ажурные перекрытия под потолком, вроде ничего себе, красиво, а снаружи сарай сараем, просто очень и по-казенному.

Рикардо их встретил с букетом. Жену Ольгу обнял, расцеловал, левым глазом при этом косил на ее спутницу. Жена не заметила, а Марина сразу застеснялась.

Пошли к машине, вместительному «форду», еще совсем новому, — дожидаясь их на стоянке — и отправились в город. И город Марине не очень понравился. Поначалу даже непонятно было, где едут. Все какие-то одинаковые, приземистые домишки, разноцветные, как в Незнайкиной цветочной стране.

Ехали долго, и на другом конце Толуки, наконец, притормозили у особняка доктора Рикардо Мирабаль и Эррера, для жены и друзей просто Рики. Служанка-метиска встретила их в холле вместе с дочерью хозяев, девочкой-подростком, нескладной, на лбу прыщик, в глазах привычная меланхолия.

Не успела Марина распаковаться, как пригласили к столу. Долго сидели за ужином, гостя стала клевать носом, но неугомонная Ольга потащила сестру показывать дом, попутно заглядывая во все закоулки, будто проверяя, как тут без нее справлялись, хвасталась дорогой мебелью и убранством комнат, особенно гостиной. Здесь было собрано много ярко разукрашенной глиняной посуды, каких-то еще глиняных горков, тканых примитивных ковриков и гобеленов, другой непонятной пестроты. «Я бы такое и в гараже не стала держать», — подумала гостя. Но оказалось, это аутентичные произведения местных мастеров, и стоят больших денег. А Марине при виде них вдруг так сильно захотелось домой, в южный черноземный свой город, где еще лежит снег, хотя на дворе март, но весна в этом году припозднилась. Весна! Солнышко все равно уже пригревает, и такой стоит запах. Весной пахнет! Здесь же не то чтобы холодно, но не поймешь, какой сезон, и дышать трудно. Все-таки два километра над уровнем моря.

* * *

Недели за три до этого, ранним утром, Ольга вошла в столовую в непривычное для нее время, заспанная и растерянная:

— Баба Фира умирает!

Рикардо сидел за завтраком, допивая кофе, собирался в клинику. Известнейший в городе хирург-косметолог. На левом запястье баснословные часы, на правом — платиновая цепочка, золотой перстень-печатка на безымянном пальце. Рассеянно поглядел на жену:

— Умирает? А диагноз?

— Не знаю, кажется, сильная простуда. Марина так рыдала, я ничего не поняла.

— Ну, может, обойдется.

— Ха! Ей восемьдесят седьмой год!

Ольга в негодовании плотно запахнула полы дорогого итальянского халатика.

— Ты хочешь лететь? — Рикардо посмотрел на жену.

Повисла пауза. Мужу не нравились ее, хотя и нечастые, прыжки через океан к родственникам. Почему не поехать в Японию? Там гейши из Киото играют на старинных инструментах, поют и всячески развлекают гостей. Две гейши на одного туриста с золотой картой. «Баба Фира», — он всегда повторял это имя вслед за Ольгой по-русски, — это миф. Никакой бабы Фиры быть не может. И бывшая родина супруги тоже миф. Огромное, холодное пространство. Два штата: Россия и Сибирь. Он это хорошо знал. Когда-то давным-давно баба Фира воспитывала Ольгу, потому что родителям было не до нее. А потом родители забрали старшую дочь и переехали втроем сначала в Канаду, потом сразу в Толуку. Младшую внучку упрямая старуха не отдала, воспитывала сама. И вот результат: ей еще и тридцати нет, а уже четверо детей.

Рикардо прищурился, разглядывая жену. Почти сорок. Одна подтяжка лица, одна ягодица, но все остальное без силикона. Нет, выглядит прекрасно.

— Ты хочешь лететь? — повторил вопрос уже на ходу, поднимаясь из-за стола, никогда не опаздывал в клинику.

— Да, наверное, надо лететь, — Ольга замялась и поглядела на мужа как-то не очень уверенно, без обычного своего апломба.

Рикардо решил быть снисходительным:

— Ну что ж, навести пожилую даму. Я не против. Только не засиживайся там. Возвращайся сразу после похорон. Нача будет скучать.

Нача — Наталья — была их дочь-подросток. На лбу прыщик. В глазах привычная меланхолия.

* * *

Жизнь духа и жизнь тела. Баба Фира лежала на кровати, вытянув руки вдоль туловища, укрытая теплым одеялом, и притворялась спящей, чтобы не будить внучку, дремавшую в кресле напротив. Тело ее, онемевшее, измученное болезнью, не хотело страдать и требовало удобства. Перевернуться на правый бок, поудобнее устроить голову на высокой подушке. Или вообще подушку убрать. Но тогда затечет голова, заломит шею. И она покорно продолжала лежать, не шевелясь, закрыв глаза, размышляя о жизни духа.

Дух праздности один из господствующих духов современности. Так написано в книжке известного священника. Книжка лежала рядом, на столике, перехваченная закладкой где-то на половине. Она начала читать ее до болезни и не успела закончить. Праздность... Ну, она-то работала всю жизнь. В школе преподавала русский язык и литературу, потом долго была завучем. Растила внучку. И даже недавно еще смотрела за правнуками... И дух словоблудия. Все говорят, говорят, кричат, никто никого не слышит.

Баба Фира вздохнула. Лежать на спине было тяжело, дышать трудно, но она не хотела беспокоить Маринку и стала читать «Отче наш», потом «Богородицу» — и незаметно для себя уснула. Проснулась, как от толчка, от гром-

ких голосов в соседней комнате. Удивленно и радостно вскрикивала Маринка, другой женский голос что-то ей отвечал, тоже радостно вскрикивая. Баба Фира заворочалась, пытаясь приподняться. А обе они уже стояли у ее кровати, две ее внучки. Только шикарную женщину в дорогой шубе она узнала не сразу. Но шуба уже летела на пол, женщина порывисто склонилась над ней, приобняла: «Бабулечка!»

— Оленька! Детка моя! — старухе хотелось заплакать, но не было сил. — Приехала! Вот это мне подарок! Вот спасибо тебе! Приехала!

Молодой мужчина с ребенком на руках вошел в комнату. Недовольно поморщился, глядя на трех женщин, и вышел, что-то на ходу приказав Марине. Та поспешила за ним следом. А Ольга присела прямо на кровать в изящной своей юбке с разрезом. Баба Фира сумела, наконец, извлечь руку из-под одеяла. Ольга сразу же ею овладела, прижала к раскрасневшемуся лицу. И на мгновение показалось, что все лучшее в жизни было у нее связано с этой тощей пожилой женщиной и уже никогда не повторится.

* * *

Еще в самолете было окончательно решено поселиться сперва в отеле. После слов Рикардо о похоронах почему-то все время мерещился гроб посреди комнаты, людская сутолока, нервы, и для того чтобы вначале оценить ситуацию, она приказала шоферу такси везти ее в хорошую гостиницу, не меньше четырех звезд, а лучше пять. Получив ключи от номера, прямо с порога пала на широкую кровать и поползла по ней, принохиваясь. Сдернула покрывало, простыню и опять поползла на животе, что-то тщательно высматривая. И нашла. Нашла! Сперва один, а после второй черный, закрученный в вихор, жесткий волос. Явно мужской, явно от бывших постояльцев.

— Не желаю! — бросила портье ключи на стойку. — Не желаю селиться в отеле, где в кроватях остатки чужих волос!

Девушка-портье растерянно заморгала накладными ресницами, но швейцар, повинуясь строгому указанию капризной иностранки, уже тащил багаж на выход.

Вася, муж Марины, прилету свояченицы не слишком обрадовался. Но в первую неделю Ольга почти не выходила из комнаты бабы Фиры, которая быстро пошла на поправку. Казалось, приезд старшей внучки вдохнул в нее новую жизнь. Уже и поднималась сама, и даже пила бульон, сидя в кресле, закутанная с головы до ног в теплые пледы.

Почуввав, что опасность миновала, Ольга переключила внимание на племянников. Их было четверо. Двое старших, близнецы Саша и Даша, года на два младше ее Начи, средняя Танька и маленькое, в полтора года, златокудрое чудо — Манечка, любимица отца. Только придет с работы, сразу берет ее на руки и так до вечера с рук не спускает. Она и ест у него на руках, и спит. Хорошие дети, кто бы спорил, но ведь надо же и о себе подумать.

— Ты работать собираешься? — спросила напрямик у сестры, когда сидели вдвоем на кухне после завтрака.

— Работать? — опешила Марина. — Но ведь Манечка... баба Фира...

— Оставь бабушку в покое! — возмутилась Ольга.

— Да, она мне здорово помогла со старшими, — согласилась Марина.

— Хватит! Правнуки же это. Сколько можно! Что твоя свекровь? Что Зинаида Семеновна?

При упоминании имени свекрови Марина поникла и замолчала надолго.

* * *

Зинаида Семеновна имела на рынке ларек. Пирожки с капустой, с повидлом, всякая слоеная, песочная выпечка, кремовые торты и пирожные аппетитно громоздились за стеклянным колпаком витрины. «Неужели она и сама это ест?» — брезгливо подумала Ольга и заулыбалась навстречу торговке. Та в ответ тоже заулыбалась:

— Что будете брать, красавица? Булочки с маком еще горяченькие!

— Вы не узнаете меня? — Ольга несколько напряглась. — Я сестра Марины.

Женщина на секунду замерла и вдруг визгливо, на весь рынок, заголосила:

— Ох! Так это ж вы з Мексики! От чудо! Ох, надо же!

И охала бы еще долго, но Ольга ее перебила. Не стала ходить вокруг да около. Рассказала о болезни бабы Фиры («но уже поправляется, слава богу»), о близнецах и о Таньке с Манечкой, упомянула и Василия («молодец, хороший у него шиномонтаж, хорошо зарабатывает»).

При упоминании имени сына лицо женщины тотчас скривилось в гневную гримасу. Женился, дурак, сразу после армии, и на соплячке, семнадцать лет. Их расписали, потому что скоро родила ему близнецов. Ну, ладно. Пускай бегают. Выполнили план, так сказать, на сто процентов. Так нет же. Через время опять рожают. «Ты что, на женщине женился или на яйцеклетке?» — говорю ему. Справедливое замечание? Справедливое. Но лицо сына покрывается пятнами, и он орет на мать: «Вон отсюда! Вон из моего дома! И не появляйся, — орет. — На порог не пушу!» С тех пор не общаются. «А Манечку, младшенькую, я даже ни разу не видела!» — женщина уже глотает злые слезы. Плачет. И Ольге приходится ее утешать. В конце концов решают: надо мириться. Надо в субботу прийти с тортиком. «Лучше с ананасом, — поправляет Ольга. — Я видела, здесь продают». При слове «ананас» торговка передергивает плечом, но тотчас соглашается: «И с тортиком, и с ананасом. Приду! Родная ж кровь, своя».

* * *

Баба Фира воцерковилась на заре перестройки. Участвовала в первом за долгие годы крестном ходе на Пасху и получила под дых от самого председателя райисполкома, лично руководившего разгромом верующих и примкнувших к ним зевак. Но уже на следующий год та же милиция крестный ход охраняла, и по слухам, один милиционер после этого даже крестился.

На изломе эпох время для Глафиры Петровны сильно ускорилося, как-то спрессовалось. Смерть мужа, отъезд дочери в эмиграцию. Семья распадалась. Сокращалось время. Сокращались люди. Уезжали втроем, младшую внучку она отстояла, а они и не возражали. Надо было устраиваться на новом месте. И устроились оба, неплохо. А потом один за другим, в один и тот же год умерли. Врачи говорили: климат не подошел. Вроде вчера было, а почти двадцать лет прошло. Ольга вышла замуж за врача, дочка у нее совсем взрослая, двенадцать лет. Как это случилось? Когда? Пролетела жизнь одним махом, будто и не жила. Мексиканскую внучку совсем не знает. А у Маринки дети хорошие. Старшие все с телефонами, и даже Манечка к этому несчастью приучается. Только Танька, ребенок «залетный», яблоко семейного раздора, больше любит книжки, листает их часами. И какой человек растет! Всех любит, всему рада. Простая душа. Всему верит. Такой ребенок. Замечательный!

По вечерам, если не мучает давление, читает с ней русских классиков. До болезни читали поэму «Кузнечик-музыкант» Полонского, Якова Петровича. Любимых авторов Золотого века бывшая словесница называет не просто по фамилии, но всегда с добавлением имени-отчества. Правнучка сидела, слушала внимательно, приоткрыв рот, так ей нравилось. Спрашивала только про Сильфиду, кто это. Она объясняла.

— Ну зачем? Зачем Ольга тянет сестру в Мексику? — подумала вдруг с отчаянием. — Говорит, чтобы развеяться и отдохнуть. То-то все они теперь развеиваются и расслабляются, а настоящего веселья нет. Раньше собирались по выходным с соседями, общий стол, беседовали, песни пели. Сейчас петь перестали. А ее, конечно, о поездке никто не спрашивает, мнением ее не интересуется. Жива и хорошо. Теперь вот только так.

* * *

— Я эту Ольгу прибыю, честное слово! — Вася вошел в комнату бабы Фиры злой, раздраженный. — Ну чего она в чужую семью лезет?!

— Правда, незачем ей Марину с собой брать. Далеко и не нужно, — подтвердила Глафира Петровна.

— Да я не об этом, — Вася от досады пристукнул стихотворным томиком, лежавшим на столе. — Пусть летит на недельку, раз собралась. Я о другом. Заявила мне, что вернется и пойдет работать. Теперь, когда с моей матерью помирились, та посидит с детьми, а она хочет устроить на первом этаже барбершоп. Нет, вы представляете себе?! Стенку ломать в кухне, кухню перенести на второй этаж, где спальни. Нет, я ее прибыю, Ольгу! Угроблю! — Василий выругался, но конец ругательства приглушил, глядя на растерявшуюся старуху.

— Барбершоп, это как же?

— Да просто мужская парикмахерская, только дорогая, с понтами. По два часа бреют, по три часа стригут. А еще хочет там же устроить маникюр. Для мужиков! Это чтобы ко мне в коттедж все голубые слетались?

— Надо бы Манечку покрестить! — неожиданно для себя сказала Глафира Петровна. — Старшенькие крещеные.

— Не дождетесь! — Василий окончательно разозлился. — Ваши попы, им бы только деньги брать, простудят ребенка. Даже не мечтайте!

Глафира Петровна молчала, потрясенная. Как всегда, когда при ней ругали священников, внутри у нее что-то обрывалось и падало, она пыталась возражать, но слов не было. Слова не шли.

Вася ушел, и она машинально открыла стихотворный томик, заложенный закладкой. Кузнечик! Кто бы сейчас целую поэму посвятил кузнечику? Никто бы не посвятил. Да, Золотой век не был суетен, умел говорить о главном. О Боге и человеке. О капле росы и мироздании. О рае и аде. Умел. Какая-то наша эпоха... третьесортная, что ли. Миллионы научились читать, а думать не научились. Размышлять по-настоящему или не хотят, или не умеют. Все деньги да еда, да развлечения! Тяжело. И детей жалко. Она опять полистала книжку. Да, вот оно:

Как нищий старец изнурен
Духовной пищи просит он.
И все, что жизнь ему пошлет,
Он с благодарностью берет.
И душу делит пополам
С таким же нищим, как и сам.

Духовная жажда! Это ж не пива хочется. И у Пушкина, Александра Сергеевича, тоже об этом: духовной жаждою томим...

Она отложила книгу и долго неподвижно сидела в кресле.

* * *

Рикардо красоту Марины оценил: четверо детей, а такая талия! И волосы. У Ольги цвет рыжеватый, она же еще и краской яркости добавляет, и коротко стрижется. А у свояченицы — видно сразу — цвет свой, дивная брюнетка, и волосы длинные. Ольга на День независимости 16 сентября тоже пристраивает накладную косу с бантом, в национальном стиле, надевает широченные юбки и блистает на приемах в муниципалитете, поддерживает народный, фольклорный дух. А Марина со дня приезда никакого интереса к светской жизни не проявляет, засела в детской у Начи. Они подружились. На каком языке болтают? Непонятно. У дочки русский слабый. Но они вместе даже уроки делают. Ольга говорит, сестра щелкает задачки по алгебре и удивляется, какой низкий уровень математики у нас в лицее для такого возраста. У них посложнее.

Ну, ладно! В будние дни он в клинике до позднего вечера. Но на уик-энд решает отвезти обеих женщин на пикник с видом на вулкан, а вечером как следует повеселиться где-нибудь в хорошем ресторане. Ольга еще предлагает «Космовитраль» — музей в Ботаническом саду, и русская тут же заявляет: надо взять с собой ребенка. Девочка очень одинока. Родители или работают, или развлекаются, а Нача все время одна. И Глория плохо убирает, только делает вид, отсюда смахнет, там пыль осядет, гнать ее, непутевую, что это за работа.

Eh, bueno, bueno¹. Русские, они все такие требовательные и не умеют толком отдыхать. Что это за отдых — с детьми?

Но в субботу всей семьей, прихватив и Глорию, едут на пикник. И тут уже родственница впечатляется. Прямо до слез. Такой яростной синевы небо, и Невада де Толука возвышается великолепно. Она смотрит с замиранием и от красоты плачет. Господи! Что за народ! Такой сентиментальный. И по «Космовитралю» от избытка впечатлений бродит как сомнамбула — мощные витражи поразят любое воображение, тут уж не до опунций. А Нача смеется: какой-то Маурисио нацарапал на кактусовой ветке свое имя. Ну, дураков хватает везде. Выходят из «Витраля» к вечеру. Павильон подсвечивают тысячи огней, и кажется, плывет он, как большой корабль в бархатной темноте ночи. Рикардо рад, что угодил Марине с развлечениями. Ведь это же Толука, дорогая, мы умеем встречать гостей.

* * *

Далее отправляют Начу со служанкой на такси домой, сами едут в ресторан, открылся новый, называется «Дринк хата». Держат какие-то эмигранты. Ольга говорит, какие-то украинцы, надо попробовать, подают горилку с перцем. Рикардо, мексиканца, удивить перцем?! Смешно! Но заходят, пробуют и неожиданно пьянеют. Особенно дамы. Выходят на площадь. Марина говорит: «Домой хочу, к детям хочу!» Тогда Рикардо, чтобы не портить вечер, подзывает группу марьячис и заказывает номер. Две скрипки, труба и четыре гитары.

¹ Ну, хорошо, ладно.

Семеро смуглых парней, как и полагается, все в сомбреро, в пестрых вышитых куртках, галстуках с красными полосками. Через плечо у первой скрипки перекинута сарапе.

— ¿A ver, lindas que les tocamos, pues?¹ — спрашивают у сестер. Видно, как всем сразу понравилась Марина. Первая скрипка запускает указательный палец в рот, свистит, давая отмашку, оркестр начинает «Льорону». Плачут скрипки, плачет страстно тремоло трубы. Баритоны и героический тенор вытягивают душу на длинных нотах. А на глазах у Марины опять слезы.

— Эге, дорогая, не плачь!

И снова заливаются гитары, поют о юноше, который хотел бы вечно смотреть в глаза своей волшебницы. Рикардо сжимает запястье свояченицы, как бы нечаянно прижимает его к своему бедру и сразу же отпускает.

— Куку-руку-ку, голубка! — поют парни. — Лети! Любить камни без сердца, голубка, что проку, что знают они о любви!..

Глухой ночью босиком Рикардо пробирается в спальню Марины и ложится рядом на кровать. Марина просыпается мгновенно, и реакция ее тоже мгновенна. Изо всей силы ударяет мужчину в грудь кулаком. И тем же кулаком после ударяет его куда-то в район правого уха. Рикардо Мирабаль и Эррера де Торревьехо сваливается с кровати. Сумасшедшая! Она поломала мне ребро! Разбила барабанную перепонку! Мексиканец удаляется в страшном негодовании, но молча, боясь поднять шум.

Дед его, достославный испанский нобль, но социалист, едва унес ноги от Франко в Гражданскую войну, иначе был бы расстрелян. Не как нобль, но как социалист. Но он удрал в Мексику. И там в году 46-м женился на еврейке-эмигрантке из Познани, чудом уцелевшей в оккупированной немцами Польше. Потом еще добавлялась другая кровь, другие родственники возникли из местных. И сам он женат на русской, на иностранке, но числит себя кабальеро. Настоящим! А эта ненормальная, дикая, как она посмела?! Неблагодарная!

И пока свояченица остается в Толуке, Рикардо тщательно избегает встреч с ней наедине и под благовидным предлогом отказывается проводить ее в аэропорт.

* * *

Баба Фира умерла в конце октября совершенно неожиданно. В последние месяцы все больше слабела, худела, маленькое, почти детское тело становилось все более невесомым и прозрачным. Все всё понимали, но смерть ее застала родных врасплох. Марина на похоронах не была. Ходила беременная, томная и на время похорон переехала с детьми к свекрови. Ольга прилететь не смогла, лежала с гриппом, высокой температурой, но оперативно перевела по банковским каналам серьезную сумму денег, на которые Василий купил роскошный венок. Он оказался самым большим и красивым. «От внуков и правнуков», — было написано на лентах. Бригадир похоронной бригады при виде такой роскоши запросил дополнительно на чай. Зинаида Петровна открыла было рот, чтобы поставить нахала на место, но сын одернул ее и заплатил, не торгуясь. Несколько старушек, бывшие учительницы, соратницы бабы Фиры, дружно одобрительно закивали.

Таньке сказали, что бабушка спит и долго будет спать, и она не плакала. В сентябре она пошла в первый класс. В первый же день занятий, вернувшись

¹ Ну, что вам сыграть, красавицы? (*исп.*)

домой, затолкала ранец куда-то за стиральную машину, в угол, а в школу решила больше не ходить. Ее с трудом уговорили не бросать это дело. Но школа ей совсем не понравилась.

А месяца через три она увидела бабушку во сне. Только вначале не поняла, что сама она спит. Баба Фира была молодая и веселая. Такой Танька ее никогда не видела, но почему-то знала, что это именно бабушка.

— Ты «Кузнечика» дочитала? — спросила она у Таньки, улыбаясь.

Танька кивнула:

— Дочитала. А в школе скучно, не хочу туда ходить. Я лучше буду сама учиться.

— Э, нет! — сказала баба Фира и опять улыбнулась. — Так не годится. Школу придется закончить. А то как же.

Танька спорить не стала. Ей так хорошо было смотреть на эту молодую бабушку. А потом что-то защекотало в носу, и она открыла глаза. Солнечный заяц пробирался по лицу, лез в глаза, она чихнула и совсем проснулась. Необычный для конца января яркий день начинался. Марина вошла в комнату, большая, круглая. Пора было подниматься, чистить зубы и завтракать. Хорошо, в школу не надо идти. Воскресенье.

— А я видела бабулю, — сказала Танька.

Марина насторожилась:

— Видела? Да?

— Она совсем молодая и улыбается. (Про школу Танька утаила.)

Марина торопливо перекрестилась:

— Ну, молодец. Поднимайся.

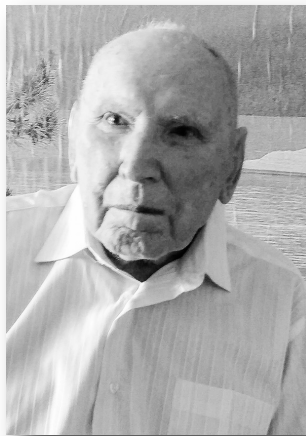
И вышла.

Танька полежала еще чуть-чуть и неохотно высунула из-под одеяла ногу. Солнечный заяц тотчас уселся на нее, согрев приятным теплом. Посидел так и побежал дальше.



Георгий ВЕРБИЦКИЙ

В те дни тревожные...



Стихи ветерана

Событий в его жизни было, как говорится, на двоих. Два раза побывал в плену, совершил два побега. Воевал в партизанском отряде «Чекист» помощником командира взвода. Затем на Втором белорусском фронте помощником командира фронтовой разведки. 7 марта 1945 года был тяжело ранен под Кенигсбергом — шесть месяцев провел в госпиталях. Вернулся на родину инвалидом второй группы. Тем не менее, окончил Институт народного хозяйства и 52 года работал на Шкловщине бухгалтером, председателем колхоза «Луч Октября», начальником планово-финансового отдела Шкловского райисполкома. Однако тяжелое ранение все чаще давало о себе знать. Все чаще он оказывался в военном госпитале. Здесь и произошла еще одна судьбоносная встреча в его жизни: навестить ветеранов в госпиталь приехал Президент. Узнал Георгия Ивановича — вместе работали на Шкловщине: Георгий Вербицкий в райисполкоме, Александр Лукашенко — директором совхоза «Городец». «Есть какие-нибудь просьбы?» — спросил. «Есть, — ответил Вербицкий. — Две. Одна коллективная, вторая личная. С какой начать?» — «С коллективной». — «Надо городу Могилеву присвоить звание города-героя». — «Не моя компетенция, — ответил Президент. — Такие вопросы решает Верховный совет. Какая вторая просьба?» — «Хочу в Дом ветеранов».

Уже 15 лет живет Георгий Иванович в этом удобном и уютном Доме. На стенах квартир фотообои, есть — пусть не самый современный — телевизор, телефон, в коридорах картины и фотоснимки. В просторном вестибюле сад цветов. В квартирах все современные бытовые удобства... Нет только здоровья: 96 лет ветерану и тяжелейшее ранение в голову. Впрочем, память и ясный ум ему нисколько не изменяют.

Стихи он начал писать будучи на первом курсе Лужеснянского сельхозтехникума. Поэму о воссоединении Беларуси послал в Союз писателей Максиму Танку. Получил и ответ с советами и подсказками.

Теперь у него восемь небольших книжечек. Одну из них и получила редакция журнала «Нёман». Публикуем отрывки из двух поэм о Великой Отечественной войне.

Олег ПУШКИН

На встречу с юностью (Отрывок из поэмы)

...А вот и Лотва перед нами,
Завод кирпичный, ремзавод,
Вокзал. Сигнальными огнями
Встречает станция. Так вот,

В деревне этой находился,
В те дни немецкий гарнизон.
К тому же здесь остановился
На отдых артдивизион.

К деревне ночью мы подкрались,
Без шума снят был часовой,
Без шума в гарнизон пробрались —
И грянул бой, жестокий бой!

Заговорили автоматы,
Строчил, как дятел, «дегтярев»,
И тут и там рвались гранаты...
В одном исподнем из домов

Бежали заспанные фрицы.
— Alles kaput! O, mein Got!
Страх смерти исказил их лица.
Сдавался в плен фашистский сброд.

Врагов погибло здесь немало.
Богатый взяли и трофей.
Но вот что радость омрачало —
Мы потеряли трех друзей.

* * *

...Вот та дорога. Не узнали?
В те дни тревожные по ней
На кладбище мы провожали
В последний путь своих друзей.

А вот знакомая опушка,
Здесь, помните, стояла ель.
Да вот она, жива, старушка!
Наш пост в те дни стоял под ней.

Вот кладбище. Какой унылый
Имеет вид, среди кустов

Стоят безликие могилы,
Без обелисков и крестов.

Мы долго у могил стояли,
Ругали этих и других,
Жизнь в партизанах вспоминали,
Друзей и мертвых, и живых.

Чекист
(Отрывок из поэмы)

Подрывник

Вблизи от рельсовой дороги
Взрывчатку спрятали в тайник,
Там, где откос к путям высокий,
Лежит в засаде подрывник.

Изучены посты, засады,
Секреты, график поездов,
Пора закладывать заряды,
Да так, чтоб не было следов.

Здесь как нигде нужна сноровка.
Но вот под рельсами заряд.
К чеке привязана бечевка,
Пора в укрытие, назад.

Восток зарею занимался.
Забрезжил только лишь рассвет,
Патруль дорожный появился.
Заметит мину или нет?

Хвала Аллаху! Не заметил!
Теперь недолго ожидать,
Он с облегчением отметил.
Однако рано ликовать.

А вот и поезд показался,
По звуку слышно — порожняк.
Что делать? Парень растерялся.
Жаль мины на такой пустяк.

Но нет! Меня ты не обманешь
Коварной хитростью своей!
Как видно, что-то затеваешь?
Дождемся зверя покрупней!

Лишь только порожняк умчался,
Последний проскочил вагон,
Вдали другой — как будто крался —
С двойною тягой эшелон.

Цистерны, на платформах танки,
Вагонов несколько вояк.
Так вот зачем им для приманки
Понадобился порожняк!

Куда спешишь ты, к Сталинграду?
Или на Курскую дугу?
Я здесь советскому солдату,
В тылу глубококом помогу.

Состав к заряду приближался.
Бечевкой обмотав руку, —
Пора! — к земле плотней прижался,
Рванул и выдернул чеку.

Так получай же, гость незванный,
Фашистский подлый басурман,
За кровь людскую, слезы, раны!
Прими подарок партизан!

И страшной силы взрыв раздался,
Металла скрежет, визг колес.
Вагон передний приподнялся
И покатился под откос.

Цистерны, танки и машины
Летели следом кувырком.
Рвались снаряды, бомбы, мины,
Объято было все огнем...



Зинаида ДРОЗДОВА

Светлый лирик

За вёскай сосны,
Звонкія, як струны.
З іх робяць хаты,
З іх жа робяць труны.
Не будзе векавечнай і яна,
Мне наканаваная сасна.

Стихотворение Анатолия Гречаникова «Сосны», из которого взяты эти строки, написано еще в 1970-х годах, когда поэту было едва за тридцать, но мысль о смертном часе, как видим, волновала его уже в совсем молодые годы. Тема этого произведения — о неизвестности смертного часа — далеко не новая. Еще святой Пророк Давид просил Господа открыть число дней его, чтобы знать, сколько ему остается прожить (Пс. 38,5). Гречаников не спрашивает у Господа об этом, он просто говорит о невозможности знать его:

Адкуль мне ведаць,
На якой бядзе
Я спатыкнуся
І не паднімуся.

Но нельзя не заметить, что эти простые строки звучат как-то особенно теперь для нас, знающих, как погиб поэт. 8 сентября 2018 года ему было бы восемьдесят лет. А 7 марта исполнилось 27 лет, как он призван в иной мир, для иной жизни, выполнив свою земную миссию, выполнив, верится, то, к чему был призван Богом. Размышляя сегодня об этом светлом и проникновенном лирике и о других писателях, творческий расцвет которых пришелся на 60-е годы минувшего столетия, мы видим их похожесть в общем восприятии времени, духа новой эпохи, их веру в человеческие силы, человеческий разум, возможность перестроить мир. Первый полет в космос, грандиозные открытия науки и техники, появление роботов, революция на Кубе и многие другие события — все это давало основание для возвеличивания человека и прославления его разума. И как будто наводило на мысль о ненужности Бога, возможности нравственности без Бога. Жизнь показала ошибочность этого мнения, и А. Гречаникову, живущему в ином мире, это известно теперь лучше, чем нам. Он оставил после себя шестнадцать поэтических книг, подтверждающих известную истину о тематической безграничности лирики. Эти книги свидетельствуют о том, как своеобразно вел себя в диалоге поэзии о проблемах любви, человечности, вечных ценностях жизни этот одаренный белорусский писатель, исповедовавший мораль, очень близкую к христианской.

Родился Анатолий Семенович Гречаников в 1938 году в деревне Шарпиловка Гомельского района в семье служащих. Окончив в 1955 г. местную СШ, учился на механическом факультете Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта. Два года работал на Гомельском ремонтно-

механическом заводе. В 1962 г. перешел в Гомельский промышленный обком комсомола, где был инструктором, а потом заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации. В 1965—1967 гг. был первым секретарем Гомельского горкома комсомола. В 1969 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве и два года заведовал отделом литературы в газете «Літаратура і мастацтва». В тридцать три года стал заместителем председателя правления СП БССР. В 1976 г. возглавлял журнал «Вясёлка», затем четыре года (1978—1982) редактировал журнал «Бярозка». Девять последних лет своей жизни (1982—1991) Гречаников был главным редактором журнала «Маладосць».

Первое выступление А. Гречаникова в печати состоялось в 1957 г.: 23 октября газета «Чырвоная змена» поместила его стихотворение «Мечта». Через семь лет выходит сборник стихов «Магістраль», состоящий в основном из качественных, талантливых произведений. Название первой книги символическое. Автор и впрямь вышел на свою творческую магистраль и сделал по ней немало твердых, уверенных шагов. Вместе с тем это название непосредственно связано и с профессией А. Гречаникова — инженера-железнодорожника. Эта вторая профессия поэта немало содействовала тому, что он принес с собой в белорусскую поэзию свежую образность, интересные своей новизной детали, сравнения, метафоры, связанные с железной дорогой и железнодорожниками, их трудом и повседневными заботами. Символический образ дороги, магистрали будет присутствовать и в других книгах поэзии А. Гречаникова, станет сквозным в его творчестве.

В первом сборнике поэт старается идти непроторенными путями, избегать повторений, зависимости в мотивах, образах от предшественников, стремится к творческой самостоятельности. Это особенно касается его военной поэзии, в том числе и маленькой поэмы «Солнечный звон» — произведения об отголосках войны в судьбах и душах людей, написанного белым стихом. Крупным планом показан в ней жизненный путь одного из представителей поколения, рожденного войной, которое нередко погибало после нее. Взрывались найденные детьми «игрушки», о чем писал Р. Бородулин в известном стихотворении «Палата». Небольшая поэма свидетельствовала об умении ее автора описывать психологическое и физиологическое состояние своего героя, умении найти эмоционально-психологическую деталь.

Большой успех, как справедливо отмечал критик Борис Бурьян, ожидал автора «Магістралі» в стихах сюжетных, «балладных», с эпично-повествовательной формой развития темы, таких как «Заводской оркестр», «Он был щенком...», «Случай этот возле моста...», «Сын» и др. От зарифмованных рассказов эти стихи отличает глубоко лирический подсвет темы.

Проблемы человеческой доброты и черствости, душевной красоты и морали, личности и коллектива — в центре внимания стихов книги «Магістраль». Неудачи подстерегали автора в первом сборнике там, где он игнорировал событийность, связь с жизненным фактом, стремился к «лирической обобщенности».

Через семь лет после выхода в свет первой книги появилась, наконец, и вторая — «Круглая площадь» (1971). 70-е годы — очень плодотворное время в поэтической работе А. Гречаникова. После «Круглой площади» через каждые два года поэт издает новые книжки — «Грибная пора» (1973), «Ночная смена» (1975), «Дерево на острове» (1977). В 1979 г. выходит его избранное «Когда далеко ты...».

Третья книга А. Гречаникова, если расшифровать символику ее названия, говорит о наступлении поры зрелости и плодотворности в его поэзии. Поэт

уподобляет настроение счастливого грибника собственному радостному творческому настроению:

Бо, як грибі́нці, набухаю́ть жылы,
І думкі непатолею́ть, ні́бы
У словах нечапаны́я грибы.

И впрямь автором был собран уже значительный творческий урожай. Четвертый и пятый сборники еще более увеличили его. Названия их тоже символические. «Ночная смена» — это не только рабочий термин, но и время непрерывной работы души, ее очищения, наполнения свежими силами, подготовки к завтрашнему дню. «Дерево на острове» — это призыв к человеку вырваться из тесных рамок обыденности, серости, коллективной приглагоженности, чтобы свободно дышать, утверждать свою индивидуальность и уважать право других на такое же самоутверждение. В книге есть стихотворение с одноименным названием, в котором рассказывается о судьбе неприметного дерева, росшего в лесной гуще. Но однажды оно заскучало и, не выдержав лесного шума, сбежало на остров «і ўпершыню на прастор зірнула, які не засціў чужы нават ліст».

Текущая критика справедливо отмечала сильную привязанность поэзии А. Гречаникова к строгой классической поэтике. Манера письма в его произведениях 70-х годов своей конкретностью и осязаемостью, сочной образностью, вниманием к деталям, поэтизацией, казалось бы, обычного события напоминает коласовскую в поэме «Новая земля». Следы присутствия Коласа ощущаются и в атмосфере стихов, в их интонации:

Калодзеж капаю́ць! Калодзеж капаю́ць!..
Чыстае ўсё на сябе апра́наюць.
Не свара́цца цёткі. Не кура́ць мужчыны,
Як бы́ццам сабра́ліся тут на радзі́ны.

Остается в памяти и впечатляет новизной видения стихотворение о родной деревне Шарпиловка, изображенной в окружении великого космоса, таинственного и неизведанного. «Тихая» поэзия А. Гречаникова приобретает здесь настоящую глубину, содержательность, емкость ассоциаций:

І ў першароднай цішыні наў́кол
Я слухаю, прысеўшы на калоды,
Як вечна́сць, асядаючы на дол,
Быцця зямно́га запаўняе соты.
Гуду́ць у небе зоры, бы́ццам восы,
Нябесная дымі́цца сенажа́ць.
Ні́бы заста́гаваны́я пакосы,
Над лесам хмары сонныя ляжа́ць.

Свежесть авторских ощущений, смелость сопоставления небесного и земного, вечного и мгновенного не могут не удивить в этой картине.

Тема загадочного, безграничного космоса и значительности в нем маленьких и больших забот человеческих волнует автора и в стихотворении «Вечное противостояние», где старые люди, сидя на колодах, глубокомысленно пророчат: «Что-то на свете будет...»:

Што? Ураджа́й? Пажа́ры?
Засуха ці ма́крэ́ча?
Та́емна з вы́шынь Стажа́ры
Глядзя́ць на род чалавечы.



Што бачыцца ім, што сніцца?
Што хочацца ім сказаць?
Ноч. Пара касавіцы.
Вельмі рана ўставаць.

И эти люди с их вечным любопытством и желанием прочесть по звездам будущее в стихотворении А. Гречаникова отмечены отблеском какого-то романтического света.

Пейзажные стихи поэта раскрывают одаренную душу лирического героя, влюбленного в родные места. В них особенно ярко предстает талант Гречаникова-живописца. Поэта захватывают неяркие пейзажи и картины, в скромности которых он видит своеобразную красоту и привлекательность. Точность, выразительность, тонкость ощущений и переживаний, переданных в подобранных со вкусом красках и цветах, — качества, свойственные многим пейзажным стихам поэта. Вот зарисовка озера во время летней грозы:

А недзе гром ужо хадзіў
На мяккіх лапах злосным зверам.
Ён возера пазалаціў
На міг. А потым цёмна-шэрым
Зрабіў яго. І вецер змоўк.

І азярына за кустамі
Дрыжыць, разлапіста, як воўк,
Як воўк, загнаны ганчакамі.

Излюбленными тропами в поэтике А. Гречаникова являются сравнение и метафора. Им, тропам, как и всей его поэзии, свойственны внешняя неяркость, «тихость» и красочность, реалистичность и точность. Торжественность, праздничность находит поэт во время цветения картофеля. Это событие становится для сельских людей настоящей радостью. Поэт замечает, как «палагоднелі жанчыны», и «ў хатах стала больш цяпла. Што значыць бульба зацвіла...». Внимание к деталям, умение видеть картину в изменчивой динамике отличают стихотворение-образок «Мертвый сезон», прекрасное стихотворение «Сож», в котором автор, подобно Бородулину, предстает чрезвычайно метафоричным.

Анатолий Гречаников при постоянном наличии в его поэзии эпических элементов все-таки — проникновенный лирик. Лиризм — нимб, который освещает и украшает, придает величие его стихам и поэмам. Поэт стремится к гармонии с природой, ощущает тесную связь с ней, умеет передать особую прелесть и свечение сентябрьской поры, ее сочную зрелость, красоту налитых тяжелых гроздьев калины, освещенных солнцем плодоносных садов. Урожайное время осени напоминает ему о собственной творческой зрелости: «У верасні і сам я, нібы сад, дзялюся з вамі думкамі-пладамі».

Стихи Гречаникова полны трепетной любви к Отечеству, его природе. Нельзя не «заразиться» этими горячими, светлыми чувствами любви и глубокой грусти, выраженными в таких искренних строках:

Адвяслуе восень
на зазіміны,
Бакены зашыюцца пад гаць.
Сінія асеннія асіннікі
У смуге марознай зазігцяць.

Ёсць у іх
Журба неверагодная,
Саладжавы і гаркавы пах,
Ад якога — ўсё такое роднае,
Што аж слёзы,
Слёзы на вачах.

В творчестве А. Гречаникова большое внимание уделяется проблеме взаимоотношений человека и природы. Все живое хочет жить, борется за жизнь. Человек в ответе за растительный и животный мир. Он же и использует его в своих целях, лишая (если считает нужным) жизни птиц и животных. В стихотворении «Начало охотничьего сезона» как бы объявляется несправедливость такого положения дел, так как человеческая охота — трагедия для тех, на кого охотятся. Беззащитность уток, предсмертные их ощущения, страшный последний момент — изображение всего этого имеет целью послушать и вторую сторону, природу, о которой писал А. Вертинский, спрашивая, нравится ли природе то, что делает с ней человек (стихотворение «Послушаем и вторую сторону»).

Жалобы второй стороны на человека автор слушает и в стихотворении «Изгнанники» — о собаках, «якіх свае ж гаспадары з кватэрнага пагналі раю». Бездомные животные, которые собрались на пустыре, ждут от человека человечности, доброты, не тратят надежды найти «другія для ратунку дзверы».

В стихах о животных и птицах поэт использует теплые лирические краски. Подкупает живое участие и искренний интерес автора к жизни братьев наших меньших. Он умеет передать их жизнерадостность, молодую силу. Иногда эти краски становятся юмористическими, как в стихотворении «Вороны», где тощий скворец, вернувшись из теплых краев, вначале подозрительно смотрит на ворон, строящих гнезда рядом с его домом. Но вскоре начинает понимать, что вороны не конкуренты ему:

І быў ён шчасця поўны:
Як добра, што ў шпакоўні
Для іх малая дзірка.

Лиризм и гражданский пафос органически сплавлены. Поэт стремится всегда быть в гуще жизни, откликаться на ее разнообразные события. Современник грандиозных событий, как любила напоминать творческим людям критика 70-х — начала 80-х годов, должен писать о сегодняшнем дне, не сбиваясь на мелкотемье и отбросив личную печаль. От поэта требовали активной гражданской позиции, «партийного» отзыва на то, что происходит в мире. Творчество А. Гречаникова внешне соответствует этим законам. Оно сильно привязано к своему времени, оно, как говорят, дитя его. Некоторые стихи, как, например, стихотворение «Какой сегодня день и какое число?..», прямо подтверждают это.

Однако о чем бы ни писал поэт — о реакции в Чили, о прошедшей войне, об открытиях науки, о роботах, о загрязнении окружающей среды, — на первом плане в его произведениях тревога о человеческой душе, о ее чистоте. Показательно, что в то время как почти все советские поэты в большей или меньшей степени отдавали дань теме коммунизма, «красным дням календаря», пели оды вождям, А. Гречаников не поддался в поэзии на это идольское служение, вероятно, помня о вечных человеческих ценностях. В своих сборниках он ухитрился обойти подобные темы молчанием.

Многое заставляло талантливого поэта беспокоиться. Научно-технический прогресс... Что он несет людям? Не утратят ли они во время НТР что-то существенное в духовном плане? Не осложнятся ли их взаимоотношения с природой? Его внимание привлекает такая нередкая в наше время картина:

...на злыселыя дзялянкі
Натоўпам хлынулі паганкі.
Сп'янела абляпіўшы пні,
Гніюць яны на карані.

И естественно возникает вопрос: почему лес, раньше такой богатый грибами, теперь остался без них: «Няўжо ад нашых хімікалій яны кудысьці паўцякалі?» Размышляя над приобретениями и утратами НТР, над важными научными открытиями своего времени, поэт прежде всего имел в виду проблемы добра и зла, такие актуальные на протяжении существования всего рода человеческого:

Адкрыцці будуць новыя, бясспрэчна,
Было б на свеце толькі — чалавечна.

Заботой о человечности объединены и стихи, посвященные проблеме взаимоотношений личности и народных масс, личности и коллектива. Тема рамок, в которые коллектив хочет вставить всех своих представителей («не вытыркайся, глыбей хавайся...»), и ломки этих рамок первопроходцами, судьба которых драматична («Самых высокіх і дужых пільнуе спрадвеку маланка»), разрабатывается Гречаниковым в аллегорической, иносказательной форме, в форме притчи. Комете «ў гарманічнасці нябеснай галактыка здалася цеснай», и она стала искать иной доли. Галактика же не простила ей такого своеволия: подожгла крылья и только тогда позволила лететь («Блуждающая комета»).

Большую роль притчевости в поэзии А. Гречаникова отмечали Владимир Гниломедов, Тамара Чабан. «Для него это не просто жанр, а именно своеобразное мироощущение», — писала Т. Чабан. И это действительно так. Поэт «мыслит» притчами, видя через них и особенности психологии человека, и очень важные истины его бытия. Тема агрессивности, ощетинивания коллектива против тех, кто выделяется, поднимается в стихах «Белый голубь», «Вороны». В первом белого голубя злобно прогоняют серые, смотрят на него подозрительно-враждебно, так как он живет иной жизнью, чем они, отказываясь от сытого довольства, укрепляя свои крылья высотой. У серых же все сводится к материальному преуспеянию.

В другом из названных стихов ситуация совсем трагическая: «Сокала вороны задзяўблі...». Автор спрашивает:

Чым жа зграю сокал угнявіў,
Чым жа ён яе раз'юшыў, сокал?
Можа, тым, што незалежна жыў
І над вараннем лунаў высока?

Финал стихотворения содержит намек на «вечность», нерешенность проблемы. Сокол погиб, а разъяренная стая все еще не может успокоиться, как бы желая новой жертвы:

А вароны, як раней, гулі,
А вароны, як раней, крычалі.

Большое место в поэтических сборниках 70—80-х годов А. Гречаникова занимает тема войны. Его военная поэзия лишена голой риторики, декларации, она изобилует непридуманными сюжетами. «Худыя, галодныя, рахітычныя, развучваем дзеянні арыфметычныя», — рассказывает лирический герой о себе и своих друзьях-сверстниках в стихотворении «Урок арыфметыкі», возвращаясь в воспоминаниях в сорок пятый год, когда он, первоклассник, плачет навзрыд на уроке арифметики, узнав о смерти брата.

Своим пафосом, взглядом на военные события стихи А. Гречаникова близки военным стихам Р. Бородулина. Из стихов о войне особым гуманистическим пафосом выделяется стихотворение «Ужин», в котором поэт рисует свой идеал христианской любви к человеку. Женщина-мать, рядом с которой в ожидании ужина стоят опухшие от голода дети, отдает последнюю еду из чугунка пленному немцу, видя и в нем Человека. И дети вслед за нею преодолевают недобрые чувства к зашедшему гостю. Ценным качеством этого и других военных стихов А. Гречаникова является психологизм. Его лирическому герою не свойственно то бескомпромиссно-сладенькое всепрощение, безграничная доброта без колебаний и внутренней борьбы. Поэт показывает, что его герои принуждают себя творить добро, победа над собой им дается часто высокой ценой. Мать из названного стихотворения плачет, угощая немца, а ребенок-повествователь очень жалеет еды, с детской мстительностью вспоминая зло, сделанное фашистами его семье.

Анатолий Гречаников обогатил литературу о войне своим неповторимым видением, эмоциональным опытом. Он акцентировал внимание не только на физическом искалечении своих героев, но и на моральном. В стихах о войне уделяется внимание не столько самим событиям, сколько личным переживаниям субъекта. «Энергия внутреннего переживания» (Т. Сильман) является в них более мощной, чем энергия внешней событийности. Почти в каждом из них читатель встретится с драмой, которая, начавшись там, в военном прошлом, продолжается и в современной жизни.

Эта драма увидится и в судьбе обделенной счастьем девушки Маруси, которую никто не проводит с гулянки, потому что, как говорят в деревне, она родила сына от немца («Маруся»), и в судьбе оптимистичного, доброго дядьки Фимы, который во время войны делал мины с часами, потерял жену и пятерых детей («Дядька Фима»).

Значительное место среди произведений на военную тематику занимают баллады. Жанр баллады, эпический жанр, хорошо подходит к показу героических, трагических военных событий. Широкую известность получили такие баллады Гречаникова, как «Кровавая баллада», «Небо и камень», «Снежная баллада», «Минное поле».

В 70-е годы поэтом написана и небольшая лирическая поэма «Бесконечные рельсы», в которой опять возникает символический образ магистрали, вызывая в душе лирического героя множество воспоминаний, ассоциаций, философских размышлений. Поэма открывается панорамной картиной вокзала. В поле зрения лирического героя попадает на некоторый момент то бабка-вековуха, то младенцы, «што цмокаўкі ўзяўшы ў рот, ляцяць на захад і на

ўсход», то цыганский табор, то военные, то крестьяне, то даже иностранный пан или влюбленный юноша.

Лирический герой вспоминает пройденный путь — детство, военную блокаду, работу на железной дороге, друзей-железнодорожников, юных проводниц. Поэме свойственна калейдоскопичность, изменчивость кадров. Однако общие рассуждения, которых так много в поэме, утомляют, отсутствие сосредоточенности на чем-то одном отрицательно сказывается на произведении. Поэме не хватает психологической наполненности, эпичности, которой так силен талант А. Гречаникова и которая могла бы оживить и углубить философское звучание произведения.

В 80-е годы у поэта один за другим выходят сборники для детей и взрослых: «Сказка о Иване-гончаре и уроде-царе» (1980), «Валерка и летающая тарелка», «Полесье» (оба — 1983), «Сентябрь» (1984), «Живая вода» (1985), «Я вас люблю...» (1986), «Звездный полет», «Школа танцев: Сатира и юмор», а также книга «Избранное» (все — 1988). В это время поэзия А. Гречаникова обогащается новыми темами и мотивами, становится более разнообразной в жанровом плане. Усиливаются ее философичность, интеллектуализм, происходит расширение и усложнение ассоциативности, выразительнее становится ориентация на народные морально-психологические основы, на фольклорное мироощущение. Поэту свойственно острое ощущение связи и единства всего живого, времен и поколений, мертвых и живых. В годы атеистического мрака А. Гречаников по сути дела поднимал важную христианскую проблему единства, союза, отношения и общения между земным и загробным мирами:

Спасцігне шчасце ці няўдача
Мяне ў бытнасці зямной, —
Я веру: бацькаў крыж заплача
Як не слязою, то расой...

Его творчество 80-х годов проникнуто светлыми, радостными мотивами, оптимистической верой в лучшие качества человека, во всемогущество любви, в здоровые силы народа, в его великий разум и моральную чистоту, в победу добра над злом. Одним из таких концептуальных стихотворений является стихотворение «Почему-то я в это не верю...».

Поэт верит в бесконечную Вселенную доброты, и эта вера освещает всю его поэзию. В ней, неизмеримой вселенной, живут эпические герои таких его стихотворений, как «Жизнь Матвея», «У дядьки Ивана трухлявый дом...», «Лотерейный билет», поэмы «Полесский треугольник» и многих других. Литературовед Т. Чабан отмечала, что Гречаников иногда сравнивает своих героев с евангельскими святыми, указывая на стихотворение «Жизнь Матвея». В самом деле, крестьянин Матвей своей жизнью — не аскет он, не праведник — заставляет вспомнить апостола-евангелиста Матфея, бывшего до встречи с Христом мытарем, грешным человеком. Жизнелюб, шутник, щедро наделенный добротой Матвей, «поблажливый, как Бог», намекает автор, также имеет шанс повторить жизнь святого Матфея.

Герои стихов А. Гречаникова отвергают легкое «лотерейное» счастье, материальное благополучие, они не стремятся возвыситься за счет других, довольствуются житейским минимализмом и руководствуются принципами максимализма в духовном плане. Честность, доброта, трудолюбие, альтруизм человека из народа привлекают внимание даже инопланетян. В сказочно-фантастической поэме «Полесский треугольник» пришельцы из космоса приглашают обычного крестьянина Евхима стать гостем на их неизвестной планете.

Критика (Ирина Богданович и др.) справедливо отмечала, что «Полесский треугольник» наследует традиции анонимных поэм. Разговорно-повествовательный стиль, ритмика, сочный народный юмор, элементы фантастики, даже в некоторой степени сюжет, говорят о близости названных произведений. Интересно и то, что поэма А. Гречаникова, как и «Тарас на Парнасе», а также «Новая зямля» Я. Коласа, написана четырехстопным ямбом, излюбленным размером и русской классической поэзии.

Действие в поэме А. Гречаникова разворачивается не в созвездии Лебедь, куда инопланетяне забирают колхозного сторожа Евхима. Оно происходит на земле, в так называемом «Полесском треугольнике», соединяющем Гомель, Лоев и Речицу. Внимание к личности крестьянина Евхима вмиг обострилось. Люди вдруг всерьез задумались над человеческой сущностью сторожа. А задумавшись, вспомнили о его трудолюбии и чудачествах, любознательности и умении жить в необычайном согласии с землей и звездами, о тонком ощущении красоты природы, желании слиться, раствориться в ней. Вспомнили и его заботы о других людях, героизм и самопожертвование во время войны. Таким образом, открывается необычность обычного человека и утверждается идея, что при внимательном отношении к нему всегда можно увидеть в нем что-то прекрасное, заложенное самим Творцом.

Взгляд писателя останавливается и на некоторых тружениках деревни Войтин. Психологические портреты их иногда юмористические. Добрый, честный человек председатель Король, которого очень любит народ, не заслужил уважения у начальства, попал в печать «не за стараннасць і за плён. «Чаму Кароль не кукурузны?» — так называўся фельетон». И в другом месте поэт скажет о председателе колхоза:

Быў ён не з тых, хто на пасадзе
Служылі тым, хто іх «падсадзе».

И пошутит над фамилией героя, которая уж очень соответствует и его самочувствию среди людей, и характеристике его происхождения:

На «газіку» сам за рулём
Ён быў сапраўдным каралём.

.....

Яго і продкі — Каралі,
Спрадвеку каралі — раллі.

«Полесский треугольник» — поэма лиро-эпическая. Уравновешенность в ней элементов эпики и лирики, их гармоничное сочетание очевидны. Поэма несет в себе мощный заряд народной фантазии. Народная нравственная основа ощущается и в общей концепции произведения, и в обрисовке персонажей. Бросается в глаза и наличие в поэме разнообразных фольклорных элементов — пословиц, поговорок, заговоров, причитаний. А искреннее обращение жены Евхима к водиче с просьбой приговорить мужа к родному дому и подать весточку о том, живой ли он, как уже отмечала литературовед Т. Чабан, чем-то очень напоминает плач Ярославны.

Поэма А. Гречаникова является любопытным документом своего времени. Автор иронически относится в ней к чрезмерному увлечению и шуму, поднятым вокруг загадочных «летающих тарелок», за которыми, как утверждает Церковь, отрицающая инопланетную природу НЛО, стоят демоны, бесы, о существовании которых хорошо известно каждому христианину.

Художественная литература издавна пытается решить проблему, кто они, возможные братья по разуму, что может принести землянам контакт с другими цивилизациями, и решаются эти проблемы, как в поэме Гречаникова, всерьез. «Будзем жа верыць у дабрыню тых, хто наведаў грады», — говорит автор устами ученого из Академии наук. Исчезновение человека, полет его вместе с инопланетянами в дали Вселенной объединили человечество:

Пытанне пастаўлена і ў ААН
 Убок адышлі ўсе тэмы,
 Ніколі яшчэ не было ў зямлян
 Такой агульнай праблемы.

Говоря о поэме, важно отметить и авторский интерес к проблеме «народ и память». Писатель задумывается о роли личности вождя в истории народа. В повествовательное течение поэмы органически включается аллегорический рассказ о трагической судьбе смертельно больного лосиного вожака, забытого и оставленного неблагодарным стадом, которое он не раз спасал от беды. Гордый непобедимый вождь даже перед лицом смерти с тревогой думает о стаде, беспокоится о его будущем.

Проблема вождя и толпы, личности и массы волнует А. Гречаникова и в стихотворении-притче «Первый восход солнца», где он использует горьковский мотив о сердце Данко, которое осветило племени дорогу из тьмы и болота. Не Данко, а «какой-то осторожный человек», лишенный мужества и доброты, назвав первого сумасшедшим, притопчет живой огонь его сердца и поведет за собой племя. Поведет вновь в лютую тьму и болото.

Цяжка
 Чарадзе без важакоў... —

скажет А. Гречаников в стихотворении «Последний круг», посвященном Ивану Мележу, утверждая, что человеческий вождь должен олицетворять лучшие человеческие качества.

«Человек при власти» интересует А. Гречаникова и в его детских произведениях — сказках, легендах, где эта проблема решается в шутильной форме, но по-народному мудро и глубоко. Показательной в этом смысле является современная сказка-притча «Король и вельможа» о добром, искреннем короле, недолюбливающем лстивых и лживых вельмож, за что последние решили уничтожить его. Узнав же о покушении на него, король решил, что «кароль не можа быць ціхамірным каралём!». Финал сказки, как и многих других произведений А. Гречаникова, многозначителен, оригинален. Король произносит тост, выпивая за «суровыя законы», за «пікі і штыкі», и как результат этой речи идет короткое сообщение:

...На ўсе дарогі і заставы
 Ужо спяшаліся шпікі.

Лирико-дидактические миниатюры, стихи-притчи из цикла «Восточная мозаика», иные шутивно-иронические произведения Гречаникова, написанные в разные годы, собраны в книге «Школа танцев», изданной в 1988 г. библиотекой «Вожыка». Тут помещена и небольшая юмористическая поэма «Школа танцев», новаторская не только по содержанию, но и по форме. Ее отличают свобода композиции, богатство ассоциативной образности, изменчивость ритма.

В ироническом ключе написаны разделы поэмы — «Современные ритмы», «Самоподготовка», «Заключение» и другие. Толпа, танцующая шейк, визг оркестра, неэстетические движения танцоров заставляют автора задуматься, что значит этот танец, усомниться в духовности танцующих.

В поэме автор рекомендовал себя как интересный ритмик. Остроумно, с юмором, живым разговорным языком написаны стихи «Министр без портфеля», «Харитон и закон», в которых автор хоть и не навязывает читателю никакой педагогики, но призывает всерьез задуматься над собственной жизнью, поучиться на чужом опыте.

Цикл «Восточная мозаика» с использованием условной поэтики отличается остроумием, оригинальным поворотом мысли, ее глубиной и мудростью, спрятанной в словесной одежде краткого сюжета. Стихи-притчи этого цикла таят в себе определенную дидактическую идею, заключают философско-этическое осмысление того или иного предмета, явления.

Мастерски написана сказка об «Иване-гончаре и уроде-царе» и легенда «Черный замок». Начало последней настраивает на правдивость того, о чем будет рассказано в древней легенде:

Чуў я некалі ад бацькі,
Ад свайго пачуў ён дзеда,
Дзед таксама не прыдумаў:
Ад сваіх бацькоў пачуў.

Анатолий Гречаников умеет создать романтический ореол вокруг того, о чем пойдет речь, заинтриговать читателя. Романтические, фантастические и реалистические краски замечательно сосуществуют в «Черном замке». Автор стремится представить героев легенды не какими-то сказочными богатырями, а живыми людьми, способными переживать, печалиться и радоваться. В легенде Гречаникова есть подробные зарисовки психологического состояния главных героев — мужественных и добрых Мирона и Янины, обычных людей из народа, а также лютого и воинственного князя-демона Пилона.



С матерью Евдокией Никифоровной.

Стихи для детей А. Гречаникова учат замечать красоту природы и тонко чувствовать ее. Цикл стихов «Природы вечный календарь», составленный из двенадцати частей, представляет яркие зарисовки, посвященные одному из месяцев года. Ритм, интонация, звукопись — все здесь подчинено выявлению наиболее характерных особенностей каждого месяца. Поэт чутко ловит запахи, краски того или иного месяца, доносит его неповторимость, индивидуальность, дает своеобразный портрет. Так, представляя январь, автор повтором звука «с» как бы создает осязательность свиста холодных январских ветров, скрип искристого мягкого снега, передает торжественность белого дня. Звукописью создается и музыкальность многих стихов А. Гречаникова.

Произведения последних лет жизни поэта несут на себе отпечаток общей тенденции художественной литературы бывшего Союза конца 80-х — начала 90-х годов — публицистичности, гражданской страстности, исключительного внимания к политике. Проблематика его последнего поэтического сборника «Август-45» хорошо оттенена заглавиями стихов — «Перестройка», «Ах, Чернобыль...», «Радиация — невидимый оккупант», «К вопросу о плюрализме» и т. д. Пафос современности составляет основу книги. Притчевость, афористичность становятся еще более характерными чертами стиля А. Гречаникова. Его идеал — мудрец, желающий видеть согласие и любовь там, где растет враждебность, призывающий уважать права каждого человека на свою правду, решать дела мирным путем.

Последний сборник поэта отмечен особым вниманием к морально-этическим проблемам, к тем порокам в развитии общества, которые «трэба скрышыць». Дед Нупрей (стихотворение «Радиация — невидимый оккупант»), хорошо изведавший жизнь, законы войны, ходивший в открытый бой с врагами, задумывается: как же воевать с неуловимыми, невидимыми нуклидами, как их наказывать. И приходит к несколько неожиданному, но справедливому выводу, что

Пачынаць патрэбна, мабыць, справу
Ад дэзактывацыі душы
Тых, хто любіць
Не людзей,
А славу.

«Дезактивация души», утверждает поэт в стихах сборника «Август-45», нужна не только для самого человека, но и для сбережения жизни на планете, за которую человек в ответе.

Анатолий Гречаников выступал в печати и как литературный критик, а также плодотворно работал в области художественного перевода. Вместе с Э. Огнецвет перевел с узбекского языка на белорусский книгу стихов и поэмы народной поэтессы Узбекистана Зульфийи «Такое сердце у меня» (1985). Ему принадлежат переводы с афганского языка стихов современных афганских поэтов «Ватан — значит Родина» (1987).

Произведения А. Гречаникова переводились на двадцать один язык мира, в том числе на английский, французский, польский, болгарский, венгерский, вьетнамский, и на языки бывшего Союза, что свидетельствует о большой популярности поэта далеко за пределами Беларуси. На его стихи написано немало замечательных песен.

Анатолий ГРЕЧАНИКОВ

Я верю в тайну обновления



Последний круг

И. Мележу

Тяжко
Стаям птичьим без вождей...
На Полесье
Посреди болота
На прощанье — танец
Журавлей
В сумеречный час
Перед отлетом.

Звезд далеких
Слушают хорал —
В танце птицы,
Под напев дубравы.
Не тревожат
Этот ритуал
Ни зверье бродячее,
Ни травы.

Вдалеке,
Застыв, стоит вожак,
Вспоминая,
Где ж друзья бывшие,
Клюв свой вскинул.
Наблюдает, как
Скачут, задираясь,
Молодые.

Пусть резвятся
Среди спелых трав.
Места хватит
Каждому в Полесье.
Пусть узнают,
Что и он узнал
Средь холодных высей
Поднебесья.

Это не венчальный
Вешний хмель,
То — обряд прощальный
По поверью...
Журавлихе
Чистит журавель
Звездами овсянные
Перья.

Он еще
Поднимет ввысь
Косяк.
Бросит клич
На лес свой заповедный.
Стае не поведает
Вожак,
Что он в жизни сделал
Круг последний...

* * *

Как обездвиженные тени,
На сельском кладбище — кресты.
Я верю в тайну обновленья
Души, травинки, красоты.

Вот муравей плетется к дому
С поклажей тяжелой на спине.
Здесь даже птицы по-другому
Щебечут, показалось мне.

Остановились тут столетья,
Но почему же здесь, скажи,
Скорбь, с ощущением бессмертья,
Рождается из недр души?

И сердце задрожит впервые,
И обретет ритмичный лад,
Услышав предков позывные
Среди глухонемых оград.

Постигнет счастье, неудача
Меня средь суеты земной, —
Все ж верю: отчий крест заплачет
Коль не слезою, так росой.

* * *

Брату Леониду

Дым из трубы над милой хатой,
Стожок душистый за углом.
Я во дворе, как виноватый,
Зайти боюсь в родимый дом.

Пришел сюда не на свиданье,
Не нищим я пришел сюда.
И не искать в немом страданье
Лет, улетевших навсегда.

Не за глотком единым ветра,
Что кров овеет мой и дол,
Летел и ехал я сквозь дебри,
Пешком из дали дальней шел.

И я не сетую на долю,
Что с милой хатой развела.
Нигде и никогда дотол
Она чужой мне не была.

И все ж отмечу я несмело,
Украдкой даже от себя,
Что хата наша постарела,
О чем-то плача и скорбя.

Так, будто нечто ей знакомо,
Чего нам не уразуметь.
Ну, вот и все. Я снова дома,
Чтоб снова в дали полететь.

Завет

— Все ж рискуйте, парни,
Не сдавайтесь! —
Перед смертью
Говорил поэт. —
Погибая,
Все равно — спасайте
От беды и издевательств
Свет.
Век закончат
Возле звезд орлы —
Мыши умирают
У норы...

Звездный купол
За окном качался.
С сердцем,
Словно в ранах ножевых,
Он ушел.
Ни с кем не попрощался,
Чтобы жить всегда
Средь нас, живых.

* * *

Когда печальных дум стерня
Меня пронзала горше хвори,
Я, жизнь не хая, не кланя,
Не поносил ее и в горе.

Покоем звезд, чащоб и нив,
Заросшим дерном шляхом узким,
Частенько сам себя лечил, —
Я шел под небом белорусским.

В небытие плыла печаль
И с нею — все мои напасти.
Все окрыляло. Я мечтал
О радости, любви и счастье.

И легче каждому в пути,
Хоть держим все мы это в тайне,
Улыбку людям принести —
Не слезное клеймо страданья.

* * *

Свети, любви чистейшая заря!
Свети, не угасай от зла и боли —
Над долей пахаря и песняра
Над высочайшей в мире женской долей.
И всех людей пора тебе, пора,
Объединить твоей всеильной волей.
Ведь, вправду, без любви сиянья
Не жизнь — а только существованье.

* * *

Днепр и Сож. Междуречье.
Заросли красных поречек.
Царство лосиное, соловьиное.
Звонкое лето жасминовое.
Тихая пристань язей и сомов...
...Снова хочу домой.
Там, между Гомелем—Киевом,
Над Сожем крылья раскинула,
И кличет меня, будто книговка,
Деревня моя — Шарпиловка.
Усталому сердцу неможется —
И ночью, и днем тревожится.
Как там родители, родичи,
Дубравы, курганы, пни?
Живу, их повсюду помнящий.
А помнят меня они?

Перевод с белорусского Лидии ВОЗИСОВОЙ.

Валери ТУРГАЙ

Чувашская Республика, г. Чебоксары



За все судьбу благодарю

Осеннее стихотворение

Зачем мне нужен этот день осенний,
В котором грусть навеяна дождем,
Когда и так сегодня настроенье
В душе моей подернуто ледком?

Совсем недавно небо голубело,
И солнце улыбалось в вышине.
Мечтам и силам не было предела.
А может, это лишь казалось мне?

Казалось, счастье бесконечным будет,
Казалось, не случится в жизни гроз,
Казалось, что завидуют мне люди,
Как в райских кущах, — вовсе не всерьез.

Казалось, лишь казалось... Не осталось
Огня мечты и чувств былых тепла.
Не знает осень, что такое жалость,
Царит в душе. И все же не дотла

Свеча сгорела вечных откровений,
Надеждою мой озаряя путь.
Продлись еще, ненастный день осенний, —
Я только постигаю жизни суть.

Рабочая лошадь

Я — лошадь, рабочая лошадь,
Такой родилась и умру.
Кормежка — не выдумать плоше,
Работа — в мороз и жару.

Не слышу я доброго слова,
Все только бранить норовят.

Не ведаю счастья иного...
Кто в этой беде виноват?

Работа — привычная ноша,
Впрягаюсь опять и опять.
Но ведь и рабочая лошадь
Когда-то должна отдыхать!

Пахать и пахать я готова,
Я горы сумею свернуть!
Пусть только хозяин суровый
Меня пожалеет чуть-чуть.

Ему, видно, тоже несладко —
О доле тяжелой скорбя,
Недаром рабочей лошадкой
Он сам называет себя!

Мечтает он жить по-другому.
Тогда почему же, браня,
Он старою кормит соломой
Сестру-горемыку — меня?

Ну, как объяснить человеку,
Что снится мне только овес?
Он точно прибавил бы веку,
Я дольше тянула бы воз.

Как жаль, что соседский коняга
Со мною совсем не знаком.
Вздыхает печально бедняга,
И я отвечаю тайком.

Он ржет мне призывно вдогонку,
А я не могу отвечать...
Ах, если бы мне жеребенка —
Была б я хорошая мать!

Моя вековая доля —
Телеги таскать да арбы.
В хомут ежедневной неволи
Толкают оглобли судьбы.

Неужто по воле Господней
Хозяин сердиться горазд?
А может быть, корма сегодня
Он досыта, вволю мне даст?

Надежды широкая площадь
Венчает дорогу к добру.
Я — лошадь, рабочая лошадь,
Такой родилась и умру...

Пастушок

Пастушок сидит на горке.

Из песни.

И я сидел на горке той —
Заправский пастушок.
А из деревни — боже мой —
Волшебный запах тек!

Там женщины пекли хлебы,
Которых слаще нет.
Я цену хлеба не забыл
С далеких детских лет.

Ведь стадо целое на мне!
И тут не до обид.
Коров пасти — всего главней.
Подумаешь — не сыт!

Зато рассветною росой
Я умывал лицо!
Я жил обычною судьбой
Колхозных сорванцов.

И луг, и поле мне — родня,
И лучшие дружки.
Там распускались для меня —
Я видел — васильки.

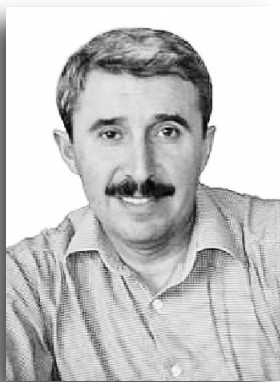
Столетний дуб — с ним я тогда
Любил поговорить.
Незримая через года
Нас связывает нить.

Успел немало повидать
Вчерашний пастушок.
Но в сердце эту благодать
Я навсегда сберег.

За эту росную зарю —
Пастушеский рассвет —
За все судьбу благодарю,
Иного счастья нет!

На горке той мои мечты...
Родимые края,
Быть может, с этой высоты
Увижу детство я?..

Перевод с чувашского Юрия ЩЕРБАКОВА.



Адам АХМАТУКАЕВ
Чеченская Республика, г. Грозный

Непростые пути

С надеждой

Я. З.

Как радостно, когда отец в мой сон
Является и, как живой, глядит.
Но рвется из груди печальный стон:
Неужто вновь меня покинет он?
И хочется заплакать мне навзрыд...
— Во сне ты улыбался! — мама говорит.

* * *

Крутою бесконечною тропой
Карабкался за солнечной судьбой.

Казалось: на вершине обрету
Я настоящей жизни высоту.

Но миражом, увы, мечта была:
Не окрылила душу — обожгла.

И невозможно повернуть назад —
Зияет пропасть под мостом Сират...

* * *

Ночь осеняется лунной строкой.
Снова я болен ночью тоской.

Утром холодным вмещает едва
Грустные мысли моя голова.

Душу, как видно, от главных тревог
Я этой ночью не уберег.

«Мама, неужто весь мир пропадет?» —
Злому вопросу — не месяц, не год.

В детские сны не прокралась беда —
Сказкой ответила мама тогда.

Но через много несказочных лет
Мама дала настоящий ответ:

«Если отца потеряешь, сынок, —
Поводыря на любой из дорог,

Если останешься ты без меня,
Без моих слез, что в дороге хранят,

Утром холодным от этих невзгод
Небо расплечется, мир пропадет...»

С этой поры начал я замечать:
Близится то, что пророчила мать.

И по земле непростые пути
Мне без печали уже не пройти.

Ночь осеняется лунной строкой.
Снова я болен ночью тоской.

Утром холодным вмещает едва
Грустные мысли моя голова.

Понял ты

Все хлопотуньи-ласточки в труде —
Пищат их дети в новеньком гнезде.

Одна забота нынче у отцов —
Как накормить беспомощных птенцов.

Я от гнезда не отрываю взгляд.
А мысли, словно ласточки, летят

В те времена, где вьется счастья нить,
Где дети просят только накормить...

Семья

Семья большая сыновей немало
Взрастить смогла под общим одеялом.

Родителей состарил века ветер,
И у детей уже родились дети.

Вон во дворе их шумная орава —
Заслуженная дедушкина слава!

А бабушка живот от внуков прячет,
Где зреет жизнь... Такая незадача!

Пройдут года, и юная богиня
Невестой дом родительский покинет.

А без нее, без поздней и любимой,
Для братьев опустеет дом родимый...

С восходом солнца

О, грешный мир, твоей дороги нить
В колдобинах и ямах без конца.
И надо бы соломки подстелить,
Да не дает упрямый нрав бойца.

Я тяжело болен, правда — мой недуг!
Его не заглушит лекарство лжи.
В моей душе не превратится вдруг
То, что болит сегодня, в миражи.

Моей земле нашествие терпеть
Еще придется снова и опять,
Когда невежда захватил мечеть,
Чтобы меня от Бога оторвать.

И с каждым шагом поступь тяжелей,
Вот-вот погаснет путеводный свет.
От лживых обещаний и речей
Неужто на земле спасенья нет?

Неужто никогда уже весна
Не позовет разбуженную кровь?
И серых снов глухая пелена
Неужто не покинет отчий кров?

Взойди же, солнце, над землей моей,
Дорогу озарить нам поспеши!
Любовью и надеждой обогрей,
Стань верою воскреснувшей души!

Как будет?

Жизнь моя! Стариком ли пойму, что страницы
Разобрать не сумел я твои на лету, на скаку, на бегу?
У последней черты, у последней заветной границы
Перед совестью я неужели останусь в долгу
И на том берегу, что когда-нибудь должен открыться,
И на этом, который постичь до конца не могу?

Земля Отчизны

Закрыла горы коршунячья стая,
И каждой жилкой жаждал я ответа:
Неужто жизнь сиротская, пустая —
Лишь подаяние от бела света?

Хрипела гордость в непокорной песне,
Упрямо отвергая злую долю.
И верил я: моя Чечня воскреснет
И даст мне счастье на отцовском поле!

Я не бросал в мороз дечиг-пондара¹,
Натягивая солнечные струны.
Наперекор угрозам смертной кары
Они звенели песней, вечно юной!

Нет злобы в сердце, в нем рубец навеки
Оставлен горьким временем разбоя.
Горжусь судьбой остаться человеком —
Не подаянья ждущим сиротою!

Напевы гор не выжжены пожаром,
И потому всегда во имя жизни
Откликнется душа дечиг-пондаром
На зов моей несломленной Отчизны!

Увоз невесты

О, только ли адаты виноваты,
Что мучаешь любимого сейчас?
Как будто не звучали ваши клятвы,
И не сказали губы главных фраз!

Ты медлишь. Заждались уже джигиты,
И ружья заждались команды: «Пли!»
И мать, чтобы заплакать деловито,
И весь аул, чтоб грянуть: «Увезли!»

Та, которой нет и пятнадцати...

Никакой житейской стужи.
Просто детские года.
Мир игрушек и подружек
Окружал ее всегда.

¹ Дечиг-пондар — чеченский народный трехструнный музыкальный инструмент (аналог русской балалайки).

Ни кокетливой походки,
Ни уменья привлекать —
Не успел росточек кроткий
Девушкой покуда стать.

От весеннего дурмана
Не кружится голова.
Отвечать еще ей рано
На заветные слова.

Дочка матери перечит.
В чем — соседям невдомек.
...Разве то по-человечьи —
Замуж отдавать росток?

Боль одиночества

Боль одиночества... Наверное, она
Из этих лунных нитей сплетена.

И не напрасно кажутся тебе
Они да сплетни главными в судьбе.

Окно напротив. Молодая мать
Ребенка кормит. Лунный свет сосать

Он начинает вместе с молоком.
А мать — тебе сочувствует тайком.

Рассвет холодный выпил чашу сна,
И втягивает щупальца луна.

А радио гремит — сойти с ума!
Там вести — только миг, как жизнь сама.

Окно напротив. Молодая мать
Ребенку улыбается опять.

На чердаке тоскливый ветра вой
Над колыбелью, брошенной тобой...

Девочка

Ты только что пришла на белый свет,
В наш мир надежд, свершений и обид.
Родным — дитя, а вовсе — не предмет,
Торг о котором скоро предстоит.

Да, скоро! Ибо путь до сватовства
Так короток... Вот сделан первый шаг,
Вот первые слова пришли едва...
Не торопись взрослеть, судьбу верша!

Закрылась...

О, если б эта мода не кипела,
Как молока мгновенная волна!
Из мини в миди загоняя тело,
На пораженья ты обречена...

Нелегко жребий: макси, миди, мини...
За модой не угонишься уже!
И тело драгоценное отныне
Ты доверяешь только парандже,

Которая — и крепость, и темница —
Теперь всегда безрадостный наряд...
Но рвется на свободу, словно птица,
Из заточенья твой лукавый взгляд!

Смотрины

Покажется невеста и сноха
Сегодня на пиру у жениха.

И свадебной гульбы водоворот
На улицу горячку унесет.

Как этот путь порой бывает мал —
От брани до хватанья за кинжал!

Но старцы-аксакалы тут как тут —
Веселье в русло прежнее вернут.

Показ невесты... Очень важный миг —
Сейчас «развяжут девушке язык»¹.

Но главное, чтобы жена потом
Работала поменьше языком!

¹ «Развязывание языка» — один из свадебных обрядов.



Римма ХАНИНОВА
Республика Калмыкия, г. Элиста

Алтарь вечности

Баллада о войне

Мне
 в душу
 врезался
 снарядом
 рассказ
 военных
 давних лет,
 как
 при раскатах канонады
 из боя
 вышли
 трое...
 Нет,
 один был ранен в грудь.
 И пуля
 вначале
 хлеб
 пробила
 влет:
 он был за пазухой.
 Волнуясь,
 друзья окликнули...
 Но льет
 холодный дождь
 свои потоки
 в его
 открытые глаза.
 И изменить
 ничто
 нельзя.
 Буханка общая,
 как сроки
 уже
 отмеренной
 судьбы,
 все тяжелей
 от свежей крови,
 и горбится,
 как от беды,

в своем
 понятии вины.
 И этим хлебом
 был помянут
 один из трех
 солдат войны,
 и этим
 вовсе не обманут
 обряд печальный
 той поры.

Ландшафт истории *(Размышления по поводу)*

Вероятно, в любом ландшафте истории
 Есть тропы такие, что не всеми проторены:
 Ведь нужно на карту смотреть
 в масштабе один к одному,
 Чтобы понять, кто должен, что и кому,
 Хотя по прошествии лет кому разобрать
 Триумфы и поражения, чтобы счет предъявлять.
 Легче в жанре какой-нибудь оратории
 Писать, переписывать свою и чужую историю:
 Ноты послушны тогда дирижерской руке,
 Как манжета сорочки смокингу (этикет).
 Ноты дипломатические — для всех головная боль,
 Та еще необходимость из множества чужих воль,
 Когда за листом бумажным — не древо,
 а государство,
 Суверенность, граница, словом, одни мытарства.
 Зримое есть для зрячего — посох иль булава,
 Вроде той предпосылки, что есть ковыль-трава:
 Кому — сорняк, не культура, белесая погань земли,
 Кому — культура в ландшафте,
 где предки твои и мои.
 Если за ковылями не видеть земли праотцов,
 Значит ли это, что нет ее, там, за... Зов
 Одинокий полнит пассивность пространства затем,
 Чтоб овладеть и временем, быть чтобы этим и тем:
 Пока в живущем время ладит с его пространством,
 Можно идти тогда, соизмеряясь с ландшафтом.
 И, как казахский хан Нурали, в ответе своем Убаши
 Перечислять набеги, походы, войны, миры...

Бедные братья джунгары, родины вам не видать:
 Жузами и войсками велено вас окружать,
 Чтобы вернуть на Волгу, к положим ее берегам,
 Воссоединить там в целое, что стало теперь пополам.

А те, что остались в Джунгарии, до того же исхода,
 Их как считать — половиной? Целым еще народом?...

Братья мои джунгары! Как мало вас на земле,
 Рассыпаны в странах повсюду,
 как горсть серебра на золе.
 Пепел очажный мифемой в память не постучит —
 Или искра там тлеет под спудом потерь и обид?..

Но если ветер прихватит запах полыни с собой...
 Что станет со всеми нами? Со мной? Теперь и с тобой?..

Все мы — кочевники в мире, в космосе, в век скоростей.
 Человек умирает мгновенно — и нет еще долгих смертей —
 Только рождается медленно... Медленно — не беда.
 Остановись, мгновенье!..
 — Полыню пахнет?..
 — О, да!..

Колодец

*Памяти детей деревни Шуневка
 Докшицкого района
 Витебской области Беларуси,
 сброшенных фашистами в колодец
 в 1943 году*

В этом колодце давно нет воды.
 В этом колодце лишь камни одни:
 В этом колодце не выпить воды —
 Детские тени там ночи и дни.

Алтарь вечности

Франциску Скорине

Гравер, издатель, переводчик,
 философ, врач и богослов,
 писатель, он — первопроходчик,
 первопечатник новых слов.
 Вслед за великим Гуттенбергом
 издал десятки божьих книг,
 от Полоцка до Кенигсберга
 свободных семь наук постиг.
 Его тома жгли московиты,
 изгнал из города сам князь,
 его «Апостол» деловито
 издали вслед, уж не боясь.
 Жена сгорела при пожаре,
 сидел в тюрьме сам за долги,
 грозили всяческие кары,
 казалось, не видать ни зги:
 указ монарший дал свободу
 и привилегии дворян.

Франциск из Полоцка народу
открыл десятки разных стран,
он, белорусский просветитель,
взывая к разуму людей,
по-прежнему добра учитель,
что сеет семена идей.
И микрокосмос человека
включает макросы, как встарь —
когда от века и до века —
о вечности вещал алтарь.

Зульфия ХАННАНОВА

Республика Башкортостан, г. Уфа



Женщина-из-камня

Молитва

Мы стали золою сожженных аулов,
Корнями цветов в обгорелом подзоле,
И, смерть возлюбив пред постылой неволей,
Мы стали золою сожженных аулов.

Мы угли-ожоги аулов сожженных.
Тоскуем молитвенной жаждой одною
В объятьи последнем с отчизной родною...
Мы угли-ожоги аулов сожженных.

Мы дым над кострищами мирных аулов...
Неужто потомки нас завтра забудут?
Мы солью земли остаемся, покуда
Мы дым над кострищами мирных аулов.

Мы пламя пожарищ аулов мятежных.
Безродными слыть — не башкирская участь! —
Башкир, как легко растерять свою сущность...
Мы пламя пожаров аулов мятежных.

Мы дети огнем разоренных аулов,
Чьи души взывать будут к памяти вечно...
Какими ветрами сегодня подуло,
Коль стал наш народ к состраданию беспечным?

От горя золою глаза не забыты:
Из праха восстав, мы торопимся к людям.
Ты вспомнил себя, значит, мы не забыты, —
Воспой: «Я — башкир!
Мы — башкорт!
Есть и будем!»

Яшма

Цвет глаз твоих напоминают мне
Отливы яшмы на моем столе.
Она молчит... Молю, молчи и ты.
Нам за советом некуда идти.

Ты с яшмой схож.
Пусть камень-монолит
Прожилкой каждой сущее хранит.
И я, как яшма, столько зим и лет
Несу в душе твой потаенный свет.

Что ведаю, не надо знать двоим...
От слез тот камень стал насквозь сырым.
Он склеп, он храм несбыточным мечтам...
Прости... я все читаю по глазам.

Сокрытых мук не выдать и во сне...
(Ах, яшма, яшма, что осталось мне?!)
Ты сердца моего не разрывай!
Молчи! — молю...
Пройди...
Не окликай!

Женщина-из-камня

*Встреча с каменным менгиром возле
Института истории, языка
и литературы УНЦ-РАН...*

Сошлись два взгляда... и прощай покой,
Тревожит рой мучительных исканий:
Как мне знаком до боли облик твой!
Кто ты? — откройся — Женщина-из-камня...

Скажи, тебя ваятель воскресил
Праматерью духовною башкирской?..
Когда душа моя лишилась сил,
Твой стан ей был опорой кремнистой?

А может, кто-то так тебя любил,
Что говорить заставил даже камень?!
Потомок, видишь, из каких глубин
Горит в веках любви высокой пламень!..

Язычник ли пред камнем-божеством
Кидал в траву распластанное тело?
Иль чья-то месть твой храм сожгла огнем,
И ты от горя вдруг окаменела?

Что утаишь, обветренный менгир,
И о какой поведает невзгоде?
Ведь полным зла остался новый мир...
Молчит менгир. Молчаньем скулы сводит.

Кто я тебе?.. Стою перед тобой.
Седых веков лежит меж нами пропасть.
Тянусь рукой — зови меня сестрой!
Назваться первой мне мешает робость.

Не надо слов, еще всеилен жест,
И малый знак — он свыше, во спасенье.
Душа провидит глуби и окрест,
Где наши кони вздыбились в сраженье

За правды лик...
На нем печаль без дна...
Нет сил собрать разбросанные камни...
Ах, женщина, в какие времена
Жила ты без тревог и без страданий?!

Терпенья памятник — пред ним в долгу —
Твержу: любовь в забвение не канет!
Что б ни случилось, все превозмогу...
Как мой менгир — как Женщина-из-камня.

Разговор

Давно не говорили мы с тобой,
Присядь напротив, как когда-то...
В груди моей озноб. И мыслей рой
Тревожит скорою расплатой.

У всех дорог надежда впереди —
Нам сын и дочери наградой...
Зачем ты боль мою разбередил
Опустошающей неправдой?

Опорой были ли друг другу мы
В житейском море запыленном?
Минуты светлые... мгновенья тьмы...
Куда все кануло? Все в прошлом...

Решай! Я — женщина, очаг, я тыл...
Скажи свое мужское слово.
Молчишь... Надеешься, мне хватит сил
Терпенья воз тянуть по новой?

Устала я. Чуть теплится запал.
Вот сказ мой верный перед мужем:
Прости, коль ты от ласки не сгорал,
Коль был порой остывшим ужин...

Прости, что я негордою душой
Чужому счастью помешала...
Когда б я не прощала, ты б — ушел,
Прости, что до сих прощала!..

Молитва в долине Муздалифа¹

Муздалифа!
И камни твои святы!
Я тяжесть правой выверю рукой...
Будь проклят тот шайтан — тот враг заклятый,
Кто посягнул на мой язык родной.

Муздалифа!
Какой еще молитвой
Спасти тебя, единственный народ,
Когда восстало Зло — с тобой на битву,
Чтоб слову быть в забвении — «башкорт»?!

Муздалифа!
Я камни собирала,
И в строгий час не дрогнула рука...
Твержу молитву, чтоб хребты Урала
Сплотить щитом во имя языка!

Муздалифа!
Благословен Всевышний!
И камню подвиг праведный вмени...
Пусть Глас прощенья мне не будет слышен...
Но мой народ, Всесильный, сохрани!

Перевод с башкирского Сергея ЯНАКИ.

* * *

Я не лебедь — далеки
Перьев льстивые хлопки,
В сладкий плен не манят сцен
Золотые маяки.

Раз в крови — вершина гор,
Что мне сцен хмельная сыть?
Сброшу лебедя убор! —
Я хочу волчицей быть.

¹ В долине Муздалифа паломники, совершающие Хадж, собирают камни для ритуального побивания шайтана — источника зла (греха).

С выси сцен слышнее лесть,
С выси гор — сохранней честь,
Я хочу вести народ,
Серой шкуры вздыбив шерсть.

Буду в ней, пока мой род
В пасть Вселенной не всосет.
Слышишь? — Мой зовущий вой
Держит лунный небосвод.

Обновляясь вновь и вновь,
Верю я: она живет —
Той волчицы серой кровь,
Что наш род вела вперед.

Взят народ мой под прицел —
Грозный век грядет опять.
Эй, скажите, кто б хотел
Серым волком снова стать?!

Обращение к Шульган-Ташу¹

Шульган!
К тебе пришла передохнуть, устав,
Склонила стан.
Ты поделись огнем, открой очаг —
Мой дух зачах.
Шульган!
Набрав воды из озера в ладонь,
Смогу глотнуть,
И отыскать свою сумею суть
В золе седой.
Шульган!
Неужто стать манкуртом мне черед?
От многих ран
Скончалась память. Запусти в ней ход
Священных вод.
Шульган!
Отцы и деды, разбивая стан
В твоих местах,
Плясали. Я б плясала, но мой род
Почти зачах...

Перевод с башкирского Светланы ЧУРАЕВОЙ.

¹ Шульган-Таш (Капова пещера) — название знаменитой пещеры в Башкортостане, в которой сохранились рисунки древних людей.



Рене БАРЖАВЕЛЬ,
Оленка де ВЕЕР

*Дни мира**

Роман

* * *

Утром в понедельник Томас появился в банке с веточкой дрока, сорванной накануне в парке. Он поставил ее на зеленом столике в чернильнице, сполоснутой и заполненной водой из умывальника. Веточка все еще сохраняла следы аромата и даже все оттенки цвета, несмотря на электрическое освещение.

Когда господин Паризо увидел эту легкомысленную вещь на столе в чернильнице, в серьезной рабочей обстановке, он сначала был поражен, но потом испугался. Эта золотистая веточка сыграла роль переключателя его убеждений, в чем-то исказив их. У него мгновенно сработал консервативный инстинкт, и он протянул к веточке руку с вытянутым указательным пальцем, словно готовое выстрелить ружье.

— Немедленно уберите это! Вы забыли, где находитесь?

Томас вернулся от умывальника с пустыми руками, с раздражением и печалью в сердце. Он оставил на раковине чернильницу с веточкой дрока, и все сотрудники банка, заходившие сегодня утром в туалет, задавались вопросом, у кого могла возникнуть столь нелепая идея принести цветок в такое неподходящее место. Когда это увидел сам господин Паризо, он вылил воду из чернильницы, а веточку бросил в корзину для бумаг.

— Вы найдете бутыл с чернилами на третьей полке шкафа, находящегося за вашей спиной, — буркнул он, поставив мокрую чернильницу перед Томасом, продолжавшим штемпелевать бланки. — И вы можете оставить это занятие. Как я и обещал, сегодня перейдете в финансовый отдел. Точнее, в отдел текущих счетов. Вы очень быстро продвигаетесь, так как получили подобное повышение, проработав в нашем банке всего две недели. Это связано с интересом, проявленным к вам нашим директором. Надеюсь, вы оцените подобное отношение к себе...

Он снял с соседнего стеллажа папку с корочками черного цвета, стоявшую первой в длинном ряду других таких же папок, на корешке которой была наклеена белая этикетка с буквами А-Ба, написанными от руки черными чернилами красивым шрифтом. На следующей папке были написаны буквы Би-Ва и так далее до букв Э-Я.

Господин Паризо положил папку на столик Томаса и открыл ее. На первой странице Томас увидел фамилию первого клиента банка (в алфавитном порядке): Аальто (Эдвард).

* Продолжение. Начало в № 7 за 2018 г.

Ниже шла большая таблица высотой 49 сантиметров, заполненная от руки пером сержант-майор, и узкие колонки цифр: дебет, кредит, сальдо.

Томас должен был сложить все величины сначала в колонке «дебет», затем в колонке «кредит», произвести вычитание второй суммы из первой и проверить, совпадает ли полученный результат с последним числом в колонке «сальдо». Потом нужно было перенести числа из последней строки первой страницы таблицы на следующую страницу и продолжить аналогичные вычисления до листа с фамилией следующего клиента, таблицу с величинами «дебет, кредит, сальдо» которого он должен был обработать таким же образом. Процедура должна продолжаться до последней фамилии клиента банка в последней папке с буквами Э-Я на корешке.

— Вот вам новая ручка, — сказал господин Паризо. — И вот карандаш и резинка. Я советую вам разбить каждую колонку цифр на отрезки, показав конец каждого отрезка тонкой карандашной линией, которую потом аккуратно сотрете. Важно, чтобы вы не нажимали сильно на карандаш, когда будете проводить ограничительные линии! Проводите их как можно легче... Подсчитав суммы каждого отрезка колонки и сложив их, вы получите окончательный результат, который должны записать внизу таблицы чернилами наклонными цифрами и без исправлений. Промежуточные суммы для отрезков колонки нужно записывать на страничке в своем блокноте... Вы должны быть уверены в правильности полученных результатов, прежде чем запишете их в таблицу. Я ни в коем случае не хочу видеть исправления! Ни в коем случае!..

То, что господин Паризо назвал блокнотом, было стопкой испорченных Томасом в начале работы бланков, скрепленных металлической скобкой, на чистой стороне которых можно было записывать промежуточные суммы, делать подсчеты и так далее. В общем, это был рабочий черновик.

Томас взялся за первую страницу. Через час у него имелось два десятка разных сумм. Каждый раз, когда он начинал суммировать числа с начала, он получал другой результат, и суммы в разных колонках после последнего вычитания никак не хотели совпадать с итоговым результатом в колонке «сальдо». Задача казалась ему чудовищно сложной, и он потерял всякую надежду справиться с ней. Он мог выполнять подсчеты целую вечность, но был не в состоянии получить верный результат. Томас никогда не думал, что ему поручат заниматься работой, превышающей возможности нормального человека!

И вдруг случилось чудо! Разность между тридцать второй суммой в колонке «кредит» и сорок девятой суммой в колонке «дебет» дала значение в 13 745, 06, что прекрасно соответствовало значению, написанному внизу колонки «сальдо». Томас не мог поверить своим глазам. Он трижды повторил вычисления, даже начиная с конца колонок, и каждый раз получал то же самое значение: 13 745, 06!

Он почувствовал невероятное облегчение, словно вынырнул на поверхность из болота, в котором вот-вот должен был окончательно задохнуться. Полученное число 13 745, 06 было для него солнцем и синим небом, чистым воздухом, короче, жизнью...

Он вставил перышко сержант-майор в свою новую ручку, пососал его, чтобы удалить попавший на него жир с пальцев, обмакнул перо в чернильницу, потряс его над чернильницей, чтобы удалить излишки чернил, и своим великолепным почерком художника записал полученный им результат, первый замечательный результат, полученный им в первый день работы в новом отделе.

Ужас возобновился на следующей странице. В итоге, когда закончился рабочий день, он находился всего лишь на четвертой странице.

Он сел на велосипед, чтобы отправиться домой, в Пасси. Ехал в странном мире, в котором каждый штрих, каждый силуэт, все деревья, фиакры, омнибусы и дома состояли из множества мелких цифр, написанных разноцветными чернилами. Вся окружающая его действительность была пожрана этими разноцветными муравьями, все вокруг него шевелилось, кишело, колебалось, искажалось. Ему пришлось остановиться, чтобы не упасть. Закрыв глаза, он глубоко дышал, поставив одну ногу на тротуар и оставив вторую на педали.

— С тобой все в порядке, красавчик? — раздался рядом с ним чей-то голос.

Он открыл глаза. Ему улыбалась девушка без шляпки. Она была красной и целиком состояла из цифр.

* * *

По мере того как «Золотой призрак» мчался вперед, взлетающих на обочине дороги куропаток становилось все больше и больше. Скоро со всех сторон движущейся машины одновременно в воздух поднимались десятки птиц, сразу же садившихся после того, как машина проезжала мимо. Сидевшим в машине казалось, что они оставляют след в сплошном море куропаток. Ферган попытался подстрелить хоть одну куропатку, но так как ружье было заряжено только пулями, да и машина передвигалась по весьма неровной дороге, он каждый раз промахивался.

— Впереди нас видны впадина и овраг. Похоже, мы на правильном пути, — сказал Шаун.

Машина спустилась в заполненную песком и лишенную растительности ложбину, обрамленную черными, сильно разрушенными скалами. Впереди возвышалась огромная песчаная дюна. Ее остроконечная вершина нависала над ложбиной, словно форштевень корабля над впадиной между двумя волнами. С дальней стороны впадины дорога, казалось, была перекрыта обвалившимися скалами. Об этом месте им рассказывал работник телеграфной станции. Им нужно было объехать ложбину по самому краю и затем отклониться к северу, чтобы снова выбраться на главную дорогу.

После каменистой саванны езда по гладкой песчаной равнине казалась удовольствием. Ферган наслаждался быстрой ездой. Неожиданно прогремел выстрел, и стаи птиц дружно поднялись в воздух.

— Господи! — удивился Ферган. — Какая странная пустыня! Здесь не только полно дичи, но даже встречаются охотники!

Снова послышались выстрелы, и ветровое стекло автомобиля разлетелось вдребезги.

— Не радуйся! — крикнул Шаун. — На этот раз роль дичи досталась нам!

Из-за скал впереди вылетела группа всадников в красных халатах, яростно подгонявших своих небольших черных лошадей; похоже, их целью была машина. Они размахивали длинными ружьями и непрерывно стреляли на скаку. Хотя их стрельба не отличалась точностью, пули жужжали вокруг машины, словно шершни.

— У них однозарядные ружья! — крикнул Шаун. — Мы не должны позволить им перезарядить свои самопалы! Стреляй скорее!

Ферган вскочил на ноги и выпустил в нападавших всю обойму, то есть семь пуль. Из числа находившихся в первых рядах всадников семеро свалились с лошадей. Шаун утопил в пол педаль газа. Ревущая машина врезалась, словно болид, в атаковую группу. Испуганные лошади шарахнулись в стороны, вставая на дыбы и сбрасывая всадников на землю. Тем

не менее, большинству нападавших удалось удержаться в седлах. Шаун быстро крутил руль, резко поворачивая машину, разгонял лошадей в стороны, догонял их, сбивая с ног; стоявший рядом с ним Ферган с удивительной меткостью непрерывно палил из двух револьверов, продолжая сеять панику среди нападавших. Схватка закончилась очень быстро. Когда через несколько десятков секунд три четверти бандитов были убиты, послышался пронзительный крик, и немногие уцелевшие кинулись в стороны, подхватывая по пути тех, кто оказался на земле.

— Ты заметил одного из них, в желтой шапке? — крикнул Шаун.

Машина продолжала преследовать беглецов, и Ферган не переставал стрелять в мелькавших в облаке пыли бандитов.

— Я видел его в Пекине, на празднике вспашки!.. Я уверен, что его послал этот толстяк Лайонс...

— Ах, свинья! Ну, мы с ним еще увидимся...

По машине снова защелкали пули. Ферган выронил ружье и со стоном упал на капот автомобиля. За машиной, стреляя на скаку, мчались несколько всадников.

Шаун, державший руль одной рукой, другой подхватил Фергана, резко развернулся и устремился на атакующих, забросивших в это время ружья за спину и выхвативших сабли.

Шаун вскочил, прижав руль ногами, схватил ружье и начал стрелять. Всадники падали один за другим, словно сметенные ураганом. Бросив ружье, Шаун снова резко развернулся и помчался к дальнему краю ложбины. Он должен был выбраться из этой ловушки... Ему оставалось совсем немного до прохода между скалами, и он значительно опередил своих преследователей. Но в этот момент из ущелья впереди вырвалась новая группа красных всадников во главе с человеком в украшенной золотом шапке.

Шаун повернул вправо на девяносто градусов, удерживая руль коленями, разрядил в нападающих оба пистолета и ружье и пододвинул к себе ящик с динамитом. Оба атакующих отряда приближались к нему с двух сторон. Он на полной скорости помчался к тому, что был ближе. Ферган неподвижно лежал между сиденьями, словно груда одежды, и Шауну некогда было проверить, жив ли он. «Золотой призрак» с рычанием врзался в черно-красную массу. Одна из лошадей взлетела в воздух вместе с всадником. Остальные шарахнулись в стороны, словно вода, расступающаяся перед носом катера. При этом всадники успевали пустить в ход сабли, и на машину и водителя посыпались удары. Шаун стрелял из пистолета в правой руке, тогда как левой крутил руль то вправо, то влево, разгоняя нападавших. Сабля задела его плечо, и он выронил пистолет. Он не почувствовал другие доставшиеся ему удары. Машина продолжала беспорядочно вертеться, то и дело задевая лошадей и сбрасывая на землю всадников. Над схваткой висело плотное облако пыли, наполненное запахом пороха, бензина и крови.

Удар сабли рассек Шауну лоб, кровь залила ему глаза, и он почти ничего не видел. Он что-то кричал, выпуская неизвестно в кого последние пули из ружья. Попытался стереть кровь с лица и увидел, что машина немного оторвалась от толпы бандитов. Прибавил скорость, но свора не отставала от него.

Наклонившись, Шаун выхватил из ящика со взрывчаткой две пашки с коротким запальным шнуром и извлек из кармана зажигалку. Ему с трудом удалось зажечь сначала один, а затем и второй шнур руками в крови и пыли; потом он бросил оба заряда в ящик, с трудом поднял его, опустил на песок из притормозившей машины и, снова надавив на педаль газа, устремился к проходу между скалами, пока кровь не успела залить ему глаза.

Ферган застонал.

— Дружище, — бросил ему Шаун, — похоже, мы и на этот раз сможем унести отсюда ноги...

Ящик, заполненный шашками динамита, взорвался в тот момент, когда мимо него проносилась вопящая и размахивающая саблями кавалькада. Казалось, огромная дюна взлетела в воздух вместе с всадниками и тут же рухнула на землю во вращающейся смерчем туче красной пыли, которую то и дело пронизывали вспышки от продолжающих взрываться зарядов динамита. Потом на землю посыпались куски человеческих и лошадиных тел.

Шаун пришел в себя, когда машина приближалась к ущелью. Они все же спаслись. Он осторожно съехал на равнину по круто спускавшейся вниз тропе. Далеко позади жалкие остатки татарского отряда уносились во все стороны от оставшейся на месте взрыва воронки. Но они могли и вернуться с новыми силами. Нужно быстрее оставить между машиной и противником расстояние как можно большее. Но прежде всего необходимо заняться Ферганом.

Он остановился, не заглушая мотор. Сойдя с машины, Шаун удивился, что у него подгибаются ноги. Чтобы не упасть, ему пришлось схватиться за раму выбитого ветрового стекла. Только теперь он разглядел, что теряет кровь, вытекающую из нескольких ран — сабельных на лбу, на плече и правом бедре и пулевой на груди.

Правда, рана на лбу почти не кровоточила, но когда он коснулся ее рукой, то понял, что рассечена кость черепа и почти вскрыта оболочка мозга. При мысли о столь близко пролетевшей мимо смерти, он содрогнулся. Шаун заговорил, обращаясь к Фергану:

— Ферган, тебе скоро придется сесть за руль, так как я не смогу долго оставаться в сознании...

Ферган застонал и попытался, слегка приподнявшись, ответить другу, но тут же опустился без сил на траву. Склонившись над ним, Шаун понял, что дело плохо. Пуля вошла в спину и вышла через грудь на уровне подмышки, оставив выходную рану размером с монету в пять франков, из которой вытекала кровь. Лицо с правой стороны было обожжено, когда он упал на горячий капот.

Шаун сел возле друга и постарался успокоить дыхание. Он сплюнул, почувствовав вкус крови во рту.

— Ферган, братишка, — сказал он, — мы с тобой никогда не увидим зеленые луга Донегола...

— Шаун... Мы умрем?..

— Да, Ферган...

— Молли... Что будет с ней?..

— Не беспокойся, Гризельда позаботится о ней...

«Гризельда, ах, Гризельда, я потеряю тебя, — подумал он, и сердце его сжалось от боли. — Не знаю, куда приведет меня рука Божья... Даже если он примет меня в раю, я буду страдать без тебя... Надеюсь, Господь позволит нам когда-нибудь встретиться... Как я хотел вернуться вместе с тобой в Ирландию... Я готов даже умереть, но только рядом с тобой... О, Гризельда, как мне тебя не хватает...»

Ферган застонал.

— Шаун!.. Мы умрем без исповеди!..

— Нет, Ферган... Любой христианин может выслушать другого... Исповедовать его...

— Я не знал... Но, раз ты говоришь... Я верю тебе...

— Ферган, я готов исповедовать тебя...

Когда Шаун хотел встать на колени возле Фергана, ему показалось, что земля покачнулась, и он едва не упал на спину. Холодная боль, словно удар сабли, пронзила голову от одного виска к другому.

— Гризельда, Гризельда, помоги мне... — прошептал он.

Ему удалось снова встать на колени. На том месте, где он сидел, остались капли крови.

Он перекрестился.

— Говори со мной, Ферган... Сейчас Господь слушает тебя.

— Я не знаю, что мне сказать... Помоги мне, Шаун...

— Ты грешник, Ферган. Скажи: «Боже, я много грешил...»

— Боже, я много грешил...

— Ты раскаиваешься в содеянном, Ферган?

— О, конечно... Я раскаиваюсь! Боже, прости меня, если можешь... Столько грехов... Наверное, каждый день... Шаун, мне страшно... Он не простит мне все мои грехи!.. Их много... как звезд на небе!..

— Нет, Ферган, он простит тебя... Если ты раскаиваешься... Если ты любил... Ты ведь любил, Ферган?

— Да, Господи... Я любил... Любил Бога, своих родителей... Шауна и Гризельду... И Молли, мою жену... Больше всего я любил Ирландию... Я ненавидел англичан... за все зло, что они причиняют... и причиняли всегда...

— Ты должен простить их, Ферган, за все, что они совершили... Если ты хочешь, чтобы простили тебя...

— Я не могу...

— Они тоже люди, такие же, как ты... Они не знают, что делают...

— Это не люди... Это англичане...

— Прости их, Ферган... И поторопись, ты можешь умереть в любой момент...

— Шаун, спаси меня!..

— Прости их, Ферган, прости скорее!.. Прощение от всего сердца это...

— Я... Я прощаю их...

— Господь прощает тебя, ирландец Ферган Бонниган...

Наступила необычная тишина, и Шаун вдруг услышал пение множества птиц, потому что заглох мотор. Машина перестала дрожать и затихла. Из пробоин, оставленных пулями и саблями, вытекали бензин и масло. От раскаленного двигателя поднимался легкий дымок.

Шаун огляделся. Он заметил зацепившееся за колючку куста небольшое перышко, белоснежное, легкое, невесомое, не больше ногтя мизинца. Он перекрестил его, осторожно снял с куста и повернулся к Фергану.

— Прими плоть господню, Ферган...

Ферган приоткрыл рот, и Шаун положил перышко ему на язык.

Ферган закрыл рот, улыбнулся счастливой улыбкой и умер...

Только теперь Шаун почувствовал, как болят все его раны, как старые, так и только что приобретенные, и понял, что скоро умрет. Оставалось очень мало времени...

Склонившись над Ферганом, он обхватил его левой рукой и, выпрямляясь, смог поднять. Он не пытался сообразить, что ему по силам, а что нет; он должен был сделать то, что ему оставалось. Шагнув с Ферганом к машине, он бережно положил его на пол между сиденьями. Потом попытался запустить двигатель. Для его состояния задача была почти неразрешимой. Рукоятка вырывалась у него из рук, и с каждым ее оборотом, который ему удавалось сделать, кровь толчками била из всех его ран.

— Ну же, мой красавец, — прохрипел он, — ты тоже должен постараться... Помоги мне...

Мотор чихнул раз, другой... Потом неожиданно заработал, сначала с переборами, потом все уверенней и уверенней.

— Спасибо, — поблагодарил его Шаун.

Он сел за руль, включил первую передачу и тронулся с места. Почти ничего не видел перед собой, все было в красном тумане. Угадав положение оврага справа от него на приличном расстоянии, он повернул руль, чтобы двигаться в этом направлении, потом бросил руль и лег рядом с Ферганом. «Золотой призрак» медленно двигался в нужную сторону. Искры из выхлопной трубы подожгли сухую траву, на которую попал бензин, вытекающий из поврежденной трубки, и пламя огненным полукругом двигалось за машиной, словно шлейф королевской мантии, поддерживаемый придворными.

На горизонте появилось облако пыли. Шауна догоняли получившие подкрепление татары.

— Ферган, дружище... Я принял твою исповедь... Теперь тебе придется выслушать мою... Слушай меня, Ферган, я исповедуюсь тебе... Господь мой, я иду к тебе со всеми моими грехами... У меня нет времени, чтобы вспомнить их... Господь мой, это я, Рок О'Фарран, и тоже я, Клайд Шеридан, ты же знаешь меня, Господи, для тебя не важно, какое у меня имя... Прими мою исповедь, Ферган...

Я все прощаю всем своим врагам, но только не англичанам...

— *Шаун Арран, прости их, если хочешь, чтобы простили тебя!..*

— Я понимаю тебя, Господи, когда ты говоришь, что я должен простить англичан, если хочу, чтобы простили меня... Хорошо, я прощаю им все, что они сделали мне плохого... Но я не могу простить им то, что они сделали с моей страной...

— *Рок О'Фарран, король Донегола и Ферманага, прости их, если сам хочешь прощения... Прости их всем сердцем!..*

Господи, делай со мной все что хочешь, но я не прощаю их...

Шаун закрыл глаза и замолчал. Машина в сопровождении огненного шлейфа приблизилась к вертикально обрывающейся стенке оврага. Двигатель машины работал спокойно, мягко и ровно. В тот момент, когда ее колеса преодолели край пропасти, Шаун перестал видеть и дышать.

Огромный гриб огня и дыма взвился над пустыней. Гром взрыва прокатился во все стороны по саванне. По мере того как он распространялся все дальше и дальше, миллионы испуганных грохотом птиц, жаворонков, куропаток, цапель, фламинго и скворцов взлетали из травы и болотных зарослей и кружились в невероятно синем небе, закрывая солнце живой тучей.

* * *

Затерявшийся в дебрях цифр и чисел Томас переводил дух только выйдя из банка и, сев на велосипед, устремлялся на нем в лабиринт парижских улиц, купающихся в вечернем летнем солнце. Его жизнь останавливалась каждый день за несколько минут до восьми часов утра, когда он перешагивал порог банка. За толстым стеклом дверей его встречал кошмар чисел, огромный паук с множеством расходящихся от него нитей, всегда один и тот же и каждый раз чем-то не похожий на вчерашнее чудовище, и он был его рабом и его пищей. Все радости жизни оставались во дворе здания банка, посаженные на цепь вместе с велосипедом, а он должен был погружаться в вязкое болото сложений и вычитаний...

...пятьдесят шесть — пятьдесят семь — шестьдесят — тринадцать — девять — двадцать два — двадцать четыре — шесть — девять — девяносто пять — и семь...

...И семь?

...Семь плюс пять будет двенадцать, плюс восемьдесят будет девяносто два...

...Нет, у меня же было уже девяносто пять!..

...Значит, девяносто пять плюс двенадцать...

— Нет! Не то... Придется начать сначала...

Постепенно эти подсчеты становились автоматическими. Главное, отгонять любые мысли, не думать, позволять цифрам самим цепляться друг за друга. Какая-то часть мозга распределяла их по ячейкам невидимой сети, карандаш сам записывал полученный результат, и взгляд молнией взлетал к началу очередной колонки чисел...

Остальная часть мозга находилась в состоянии анестезии. Время от времени взгляд сам собой находил круглый циферблат настенных часов, невероятно медленно добавлявших минуту за минутой и почему-то почти никогда не показывавших часы... Через вечность каким-то чудом часы показывали половину двенадцатого, а еще через одну вечность — двенадцать...

Томас немедленно вставал и быстро выходил из зала, унося в забитой числами голове-улье гудящий рой цифр, и даже воздух снаружи не мог заставить их утомиться. Перерыв на обед был всего лишь временной передышкой, отнюдь не позволявшей зародиться надежде на спасение. Он шагал и ничего не видел перед собой, кроме цифр, слагавшихся в числа: ...семь-восемь-пятнадцать-девять-двадцать три-восемь-тридцать один... Ресторан «У Андре» (...девяносто-один-шесть-семь-сто-пять-девяносто-три-девять-сто-восемьдесят-двенадцать...) находился в сотне метров от банка, на той же стороне улицы. Он спешил, чтобы занять привычное место за одним и тем же столиком.

Ресторан с жесткими ценами, франк пятьдесят за обед, включая кофе и вино. Когда он вошел в большой прямоугольный зал, его поразил сильный запах дежурного блюда, подействовав как стимулятор на его аппетит, мгновенно уничтожив жужжание цифр у него в голове.

Томас вдохнул запах пищи и улыбнулся, вновь почувствовав себя человеком.

Кухня в ресторане была достаточно простой, без изысков, но хорошей и обильной, подававшейся в тарелках из толстого — около половины сантиметра — фаянса, разбить которые было невозможно. За каждым столиком сидело по четыре клиента, обычно не знакомых друг с другом. В четверть первого зал был полон, и возгласы официантов, обращенные к поварам, сталкивались в воздухе над головами посетителей: «У меня лопатка, сегодня она получилась особенно удачно!.. Три пармезана!.. Пять тулуз!..» Полные тарелки с легким скрежетом двигались по оцинкованному прилавку от большого кухонного окна к официантам. В зале стояла тишина, нарушаемая только выкриками официантов и звоном ложек и ножей. Разговаривать было некогда.

Томас уселся у углового столика справа от входа, возле стены, спиной к окну. Он, как всегда, не стал ни с кем разговаривать. На столе перед собой, между бутылкой вина и горшочком с горчицей, он устраивал только что купленную книгу, Уэллса или Вальтера Скотта, испытывая двойное удовольствие от чтения и постепенного исчезновения чувства голода. Садившийся рядом с ним клиент иногда пытался завести разговор, но глянув на лежавшую перед соседом книгу на иностранном языке, замолкал с почтением и некоторым неудовольствием.

Десятого августа была суббота, благословенный день уикенда, как называют субботу англичане. В этот день недели банк закрывался в половине первого и оставался закрытым до утра в понедельник. Все парижские банки открывались в понедельник только после обеда, но обычно работали

всю субботу и в воскресенье до полудня, рассчитывая на посетителей, вышедших из церкви после воскресной мессы.

В эту субботу десятого августа Томас решил пообедать в ресторане, как в другие дни недели, вместо того чтобы сразу вернуться в Пасси, потому что его матери, занятой с учениками с одиннадцати часов, некогда было приготовить обед.

Когда он заканчивал заказанное на десерт сливочное желе, услышал доносившийся с улицы гром фанфар, сопровождавшийся все усиливавшимся гомоном толпы. Он сразу понял, в чем дело. Утром, когда без десяти минут восемь спешил в банк, проходя бульваром Пуассоньер, Томас увидел здание редакции газеты «Матэн» расцвеченным французскими, китайскими и итальянскими флагами и натянутые через улицу транспаранты. Он быстро рассчитался, оставив официанту два су на чай, и поспешно вышел. Шел дождь. Совсем близкие трубы исполняли триумфальный марш из «Аиды». Париж встречал победителя ралли Пекин—Париж.

* * *

Как знали Томас и Элен, «Матэн» сообщила месяц назад, что новостей о «Золотом призраке» не было. От телеграфиста, работника станции в Гоби, стало известно, что команда этой машины предпочла маршрут, отличавшийся от маршрута, выбранного всеми остальными участниками пробега. Но после того как машина Шеридана покинула станцию в Гоби, никто ничего не знал ни о ней, ни о Шеридане и его механике. Судя по всему, они никогда не покидали пределы Гоби. Несколько поисковых групп, отправленных в пустыню, не нашли никаких следов «Золотого призрака». Пыльные бури уничтожили все следы на песке, а до сих пор продолжавшийся в саванне пожар не позволял исследовать значительную часть пустыни. Высказывалось предположение, что гонщики могли погибнуть в этом пожаре, и эту возможность нельзя было исключить. Кроме того, они могли сойти с маршрута всего лишь из-за нехватки бензина. Их поиски продолжались. То, что не были обнаружены ни машина, ни тела самих гонщиков, позволяло сохранять надежду, что они просто сбились с пути, оказавшись в каком-то совершенно неисследованном районе Гоби, этого самого загадочного места на Земле.

Для Томаса и Элен тревожное ожидание продолжалось; они не теряли надежды как на возможное появление оптимистических новостей в «Матэн», так и на радостное письмо от Гризельды. Но вот пробег закончился, а они по-прежнему ничего не знали о судьбе Шауна.

Пока Томас бежал к бульвару Пуассоньер, он прокручивал в уме невероятные, нелепые картины: представил, что увидит Шауна и Гризельду, триумфаторов на машине-победительнице. Трубы сейчас исполняли Марсельезу, дождь припустивший с удвоенной энергией, барабанил по его шляпе, проникал сквозь куртку и рубашку, стекал по спине и груди. Томас врезался в плотную толпу, заполнившую тротуары; со всех сторон неслись выкрикиваемые сотнями глоток имени победителей. Машина, заполненная оркестрантами, с которых стекала дождевая вода, остановилась перед редакцией газеты «Матэн». Вода заливала трубы и тромбоны; старавшиеся изо всех сил музыканты фонтанами брызг выбрасывали ее из инструментов; вместо нот иногда раздавалось бульканье. Мокрые инструменты и лица музыкантов блестели, толпа орала: «Пекин! Итала! Да здравствует принц!»

Кинооператор, забравшийся на балкон, самозабвенно крутил ручку своего аппарата под брезентовым навесом. Ослепительно вспыхнул маг-

ний, оставив после себя облако белого дыма — это фотографу журнала «Иллюстрасьон» удалось зажечь магний под дождем.

Вслед за музыкантами появилась «Итала». За рулем сидел принц Боргезе, спокойный, слегка улыбающийся, хорошо выбритый и элегантно одетый. В машине с ним сидели механик и итальянский журналист Барзини с острым профилем и черными как смоль волосами.

Из толпы послышались крики: «Да здравствует принц!» и «Да здравствует Боргезе!» Затем толпа хлынула к машине и захлестнула ее. Группа полицейских бросилась отеснять ликующую массу от автомобиля, но вторая волна любопытных затопила их. На тротуаре суетились продавцы открыток, кричавшие: «Принц! Кому нужен принц? Портрет принца за четыре су! Четыре су за принца!»

Со всех сторон любопытные устремились к «Итале»: с бульвара Себастьянополи, от Оперы, от Сены, от собора Сакре-Кер, из многочисленных боковых улочек. Они выскакивали из домов, прыгали с балконов — мужчины, женщины, дети, старики, спортсмены, инвалиды, с зонтиками, собаками корзинками, костылями. Они рвались к машине, стремясь коснуться ее или хотя бы увидеть вблизи. Они орали: «Пекин! Париж!» Задние карабкались на плечи передних, бежали по головам, теряли равновесие, падали, их толкали, сминали, затаптывали.

Толпа сплотилась вокруг машины, словно пчелы вокруг матки-королевы; она росла в высоту и скоро достигла уровня второго этажа. Фотограф второй раз зажег магний, и обрушившаяся на машину лавина заблестела под дождем. Послышался треск, раздались вопли. Человеческая гора начала оседать. Автомобиль, преодолевший столько препятствий, не выдержал успеха. Портье редакции «Матэн», великан в красном мундире, нырнул в магму, расшвыривая тела в стороны. Пробившись к принцу, он вскинул его на плечо, прорвался назад и скрылся со спасенным героем в подъезде.

Дождь превратился в ливень. Захлебнувшаяся толпа начала рассеиваться. Музыканты незаметно исчезли. Края шляпы на голове Томаса обвисли, шляпа мокрым комом съехала ему на глаза и уши. Он отшвырнул ее. Дождь ослепил. Прикрыв лицо руками, он посмотрел на восток, на дальний конец бульвара, и не увидел ничего. Ни одной машины не появилось следом за «Италой». Развевались флаги, болтались транспаранты, свисали мокрые гирлянды; по почти обезлюдевшему тротуару бегал продавец открыток, предлагавший редким любопытным: «Портрет принца за один су! Две открытки принца за один су!»

Развалившаяся на две части «Итала», сплюснутая, ободранная, грудой металла лежала посреди улицы; множество мелких обломков усеивало мостовую вокруг нее. Останки победительницы пробега охранял полицейский. С его усов стекали две тонкие струйки воды.

* * *

Восемнадцатого августа газета «Матэн» опубликовала под броским заголовком сообщение о том, что мадам Шеридан, супруга пропавшего участника ралли, возглавила экспедицию, отправившуюся на поиски мужа. По Транссибирской железной дороге она добралась до Иркутска, откуда двинулась к Гоби во главе большого каравана. Она была уверена, что ее супруг вместе с механиком живы, и не сомневалась, что найдет их. Мероприятие финансировалось кузеном русского царя князем Александром, принявшим участие в экспедиции.

В воскресенье Томас поднялся на голубятню, где устроил свою мастерскую. Он протер рубашкой часть выпуклой стены и изобразил на

ней караван Гризельды с помощью всех имевшихся у него красок и других материалов: масла, акварели, угля, карандаша. Во главе каравана ехала Гризельда на белом коне, нарисованном резкими штрихами. Она была изображена обнаженной. Но поскольку Томас никогда не видел обнаженной женщины, если не считать картин и скульптур, ему не понравилось то, что у него получилось. Поэтому он задрапировал Гризельду огненным плащом ее волос. Потом нарисовал исходящий из лошадиного лба луч света, сделав из коня единорога.

Через несколько дней появились два «Де Дион-Бутона». На этом ралли закончилось, и о нем перестали писать и говорить. Началось обсуждение ралли Нью-Йорк—Париж, намеченного на следующую зиму. Чтобы попасть из Азии в Северную Америку, предполагалось использовать льды Берингова пролива.

Прекратились разговоры о пропавшем автомобиле с водителем Шериданом, а также об отправившейся на его поиски экспедиции. Общество заинтересованно обсуждало появление кометы. Ее обнаружил американский астроном Даниель, когда та была жалким пятнышком на небе, но она стала очень быстро увеличиваться в размерах. Ее уже можно было увидеть в Париже перед рассветом, когда она начала появляться очень низко над горизонтом. Однажды, незадолго до восхода солнца, Томас долго всматривался в нее. Комета походила на белую розу, тащившую за собой кусок вуали новобрачной. Или впервые причащающейся девушки. Откуда она прилетела? Что это было? Она казалась удивительным воплощением тайны. Взволнованный Томас наблюдал за ней, пока она не исчезла за горизонтом. Потом он добавил ее к своей фреске при свете свечи. Белая, обрамленная красным и синим, комета гармонично сочеталась с лошадьё-единорогом, находясь над правым плечом Гризельды.

Комета летела к Солнцу со скоростью двести тысяч километров в час. Она должна была обернуться вокруг него, чтобы набраться сил; затем, став ярче и быстрее, устремилась к холоду и мраку космического пространства. Комета собиралась вернуться через тысячу лет. Или через сто тысяч лет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дата 28 декабря 1908 года пришлась на понедельник. Чуть позже четырех утра Томас был вырван из сна сильным стуком в окно. В комнату, непонятно почему, в такое раннее время, зачем-то рвался Шама. Незвестно кем разбуженный до рассвета белый ворон стучал клювом по стеклу и кричал «Орр-кра! Орр-кра!», замолкая на несколько секунд для того, чтобы забарабанить по стеклу, и прекращая барабанить только для того, чтобы снова заорать.

Томас пошарил на ночном столике, чтобы найти спички, снял стекло с ночника, зажег его и бросился открывать окно. Шама ворвался в комнату с хриплым криком и уселся на спинку кровати. Он был взъерошен, словно кот, столкнувшийся нос к носу с собакой. Вертел головой и осматривался с таким видом, словно не узнавал хорошо знакомую обстановку. Огонек лампы отражался в его глазах загадочным отблеском.

Томас подошел к ворону и произнес какие-то ласковые слова, чтобы успокоить его, но когда он протянул руку, чтобы погладить птицу, Шама больно клюнул его в ладонь, взлетел с испуганным воплем и врезался в стекло закрытого окна.

Упав на землю, он огляделся с ошеломленным видом и кинулся под кровать, словно побитый пес. Томас присел на корточки и заговорил с ним:

— Что с тобой, Шама? Ты видел кошмарный сон?

Он едва различал в темноте под кроватью светлый комок, из которого доносилось странное бурчание и как будто постукивание кастаньет.

Ему так и не удалось добиться от ворона ничего определенного. Томас выпрямился, задрожав от холода, натянул на голые ноги шлепанцы, накиннул пальто на плечи и подошел к окну, чтобы попытаться понять причину паники ручной птицы. Юноша увидел внизу раздетого Леона, бежавшего с фонарем в руках к конюшне. Из конюшни доносилось глухое ржанье и удары копыт по перегородке. Лошади тоже были перепуганы.

Первая мысль Томаса была о пожаре, но он не увидел ни пламени, ни вообще какого-нибудь необычного свечения. Он натянул брюки, нахлобучил свою ирландскую шапочку, схватил походную лампу и выбежал из комнаты. Когда оказался на лестнице, приоткрылась дверь в комнату матери. Элен выглянула на лестницу с головой в волне заплетенных на ночь волос.

— Ты куда, Томас? Что происходит?

— Не знаю... Сейчас попробую разобраться...

Спустившись в гостиную, он почувствовал себя в каком-то странном и чужом мире. Хорошо знакомые предметы выглядели не так, как всегда. Все замерло и в то же время все двигалось. Пол под его ногами был прочным и неподвижным, но по нему прокатывались медленные волны. Краем глаза он заметил поршень подъемника лифта, описывающий сложную кривую вроде спирали, словно штопор. Мелькнувшее возле его правой ноги движение многое объяснило: выбравшиеся на свободу змеи ползали по паркету во всех направлениях. Он никогда не представлял, что у Леона их так много. Сейчас они были повсюду, и из-под одеял, из корзинок и коробок появлялись все новые и новые рептилии. Они ползали неторопливо и безостановочно, словно подчиняясь, несмотря на застывшую благодаря осенним холодам кровь, какой-то команде, могущественному приказу, не позволявшему им оставаться на месте. Удав по кличке Сифон обвился вокруг поршня лифта, стараясь добраться до частично видимой статуи нимфы; он явно надеялся, что сможет устроиться у нее на плечах. Попугайка Флора металась в клетке, превратившись в неясный голубой смерч и непрерывно выкрикивая вопрос, точно такой же, как и тот, что крутился в голове у Томаса:

— Что случилось?.. Что случилось?.. Что случилось?..

Томас застал Леона на конюшне вместе со сторожем и двумя его сыновьями. Они безуспешно пытались успокоить лошадей, с громким ржанием бивших копытами в перегородки. Леон схватил за ноздри Тридцать первого, вырывавшегося с вытаращенными глазами и пеной изо рта и пытавшегося укусить его. Леон вскочил лошади на спину и стиснул шенкелями. Сдерживаемый лонжей, придавленный грузом всадника, Тридцать первый продолжал биться, словно сражался со стаей волков.

— Что с ними? — крикнул Томас. — Что происходит?

— Беда! — крикнул в ответ Леон. — Пришла большая беда! Господи, храни этот дом!

Он молился, продолжая успокаивать лошадь. Его могучий голос перекрывал шум, заполняя конюшню.

— Господи, сбереги моих зверей и людей, которых я люблю!.. Защити невинных!.. Пожалей их и нас вместе с ними!.. Господи, смилуйся над нами!..

Он молился на немецком языке, и сторожа, швейцарцы из Оберланда, присоединили свои голоса к голосу Леона, продолжая сдерживать лошадей.

Для Томаса, не знавшего немецкого, эти голоса звучали как дикие фантастические молитвы. Большой фонарь, висевший на столбе, и походная лампа, которую он держал на уровне плеча, освещали желтым светом влажные бока лошадей, словно охваченных безумием, взбитую, как пена, солому, разбрасываемую в стороны копытами, рыжую бороду отчаянно сражавшегося с паникой Леона. Горячий, совершенно тропический воздух был наполнен запахами раздавленного помета, растоптанной соломы и пота взбесившихся лошадей.

Внезапно в соседнем строении раздался оглушительный рев сирены, одновременно низкий и высокий, сотрясающий стены. Это закричал Цезарь, удивительный слон с тремя бивнями, за которым Леон должен был ухаживать всю зиму.

Лошади ответили ему звонкими трубными голосами и мгновенно успокоились. Леон и сторожа замолчали. На втором этаже здания сидевший под кроватью Шама перестал каркать, встряхнулся и заснул. Змеи, заполнившие салон, замерли на месте, словно мгновенно впали в зимнюю спячку. Сифон спустился с лифтового поршня и свернулся кольцами у его основания. Флора упала на пол клетки и затихла с открытым клювом и свисавшим языком. Ее перышки, словно синий снег, неторопливо опускались на пол.

На следующий день Томас узнал, что вызвало такую панику у животных.

* * *

Мистер Уиндон получил из Лондона короткое письмо, в котором ему советовали закрыть досье номер шесть. Таким образом, он был единственным человеком в Париже, точно знавшим судьбу Клайда Шеридана, пропавшего участника ралли Пекин—Париж.

Возможно, чтобы успокоить и без того не слишком беспокоившую его совесть, он заинтересовался судьбой Томаса и почувствовал к нему симпатию. Уиндон решил, что образование юного джентльмена, хотя и проявлявшего иногда чрезмерную эмоциональность, позволяло банку более разумно использовать его, чем держать на обработке регистров, заполненных тысячами цифр. Он извлек его из отдела текущих счетов и решил испытать в качестве специалиста по внешним связям. Некоторые важные клиенты не любили отвлекаться, чтобы получить деньги, оставить их в банке или просто подписать какие-нибудь бумаги. А мистер Уиндон не любил отправлять к ним простого кассира. Ему нравилось поддерживать с ними общение на более высоком уровне. Обычно для этого использовался самый старый работник банка, человек с прекрасными манерами, но давно одряхлевший. Создавалось ощущение, что он запылится. Когда он считал банкноты, у него всегда дрожали руки. Мистер Уиндон решил, что его отныне будет сопровождать молодой сотрудник.

Перемена произошла весьма своевременно. Томас много раз был готов заставить своего непосредственного начальника господина Паризо проглотить перышко сержант-майор вместе с ручкой, чернильницей и всеми папками. Иногда он чувствовал себя тигром, готовым взбеситься. В нем волной поднималось жгучее стремление к свободе, и невозможность добиться ее превращала его в дикаря, готового взбунтоваться. Он готов был грызть, крошить зубами столик, за которым приходилось сидеть, вышвырнуть обломки в окно и с диким воплем выброситься вслед за ними.

Томас часто говорил матери, что такая жизнь не для него, что он не может продолжать, а если она будет настаивать, он или сойдет с ума, или заболеет и умрет. Элен умоляла потерпеть, убеждала, что скоро все изме-

нится, что работа станет интересной, он начнет получать большое жалование, займется важными делами...

Слушая эти уговоры, казавшиеся ему глупыми, Томас взрывался, и мать начинала плакать.

Тогда он бросался вниз по лестнице, выводил Тридцать первого из салона или из конюшни, вскакивал ему на спину и мчался под деревьями, перепрыгивая через кусты и упавшие ветки, издавая дикие вопли, словно индейский вождь на тропе войны. Или же скидывал на бегу с себя одежду и голым нырял в бассейн для морского льва.

Его спасло новое назначение, он подумал, что мать, в конце концов, оказалась права. Его зарплата заметно увеличилась, теперь он каждый месяц получал на пять франков больше, чем прежде. И почти все рабочее время проводил в разъездах по городу на фиакре, который оплачивал банк (он не думал, что на самом деле его поездки оплачивают клиенты банка). Прижавшись лицом к стеклу, он наслаждался движением и красками городских пейзажей. У него появилась привычка брать с собой в эти поездки свой альбом для рисования. Его потребность рисовать, почти угасшая, снова вспыхнула в нем. Теперь он посвящал рисованию все выходные дни; стал тратить на краски больше денег, чем на еду.

Во вторник 29 декабря, после обеда, господину Уиндону позвонил сэр Генри Ферре, английский дипломат из парижского посольства. Он должен был этим вечером сесть на поезд, идущий в Рим. И господин Уиндон отправил к нему Томаса с крупной суммой английских и итальянских денег.

Томасу показалось, что этого человека однажды упоминала его мать, когда рассказывала ему об Ирландии и острове. Но он знал, что эта фамилия весьма обычна для англичан.

Дипломат жил на первом этаже гостиницы на улице Сен-Гийом в пригороде Сен-Жермен. Чтобы попасть туда, Томасу нужно было пересечь Сите и Латинский квартал. Его фиакр был остановлен на перекрестке с улицей Сен-Мишель заслоном полицейских, пытавшихся разогнать демонстрацию усачей в серых плащах и шляпах-котелках. Порывистый ветер, швырявший пригоршни снега в лицо противников, заметно охлаждал их пыл.

Томас выглянул в окошко и принялся расспрашивать кучера, завернувшегося в меховую накидку. Чтобы защититься от холода уши, кучер обмотал голову под цилиндром толстым шарфом, оставлявшим открытыми только глаза и усы, а поэтому ничего не слышал. Томасу пришлось кричать, чтобы повторить свой вопрос. Кучер ответил, тоже очень громко:

— Это студенты-медики, мсье!.. Они сражаются уже три дня!..

— И почему?

— Они протестуют, мсье...

— Против чего они протестуют?

— Говорят, что должна начаться реформа образования, и это дело им не нравится... Но они ничего не добьются, кроме бронхита... Лучше бы изучали, как его лечить!.. А я вот-вот подхвачу его, разъезжая по городу в такую погоду!.. Но, Базиль, трогай!

Потянув за вожжи, он развернулся и двинулся к улице Сент-Андре-дез-Ар, по которой собирался объехать место военных действий. Но сразу же оказался в мешанине остановившихся повозок, вплотную к огромной телеге угольщика, в которую были запряжены сразу четыре лошади. Двое мужчин в блестящих черных плащах снимали с телеги мешки с угольными брикетами.

В конце концов фиакр должен был проехать сначала набережной, а затем улицей Сен-Пер. До улицы Сен-Гийом фиакр добрался вместе с опустившимися сумерками. Пока Томас звонил у входа в гостиницу, кучер стряхнул с себя снег и спустился с облучка, чтобы зажечь фонари.

* * *

Кабинет сэра Генри Ферре находился в комнате в виде ротонды, на одном уровне с небольшим садиком, освещенным меланхоличным фонарем, спрятанным в чудом уцелевшую листву. Через два доходивших до пола больших окна Томас разглядел жемчужные струи фонтана и белизну мраморной статуи, на которой лежал такой же белый снег.

В комнате теплый свет электрической люстры и нескольких бра заставлял сверкать золотые рамки картин и медные детали мебели, дружелюбно лаская розовые щеки сэра Генри Ферре, его шевелюру и аккуратно подстриженную светлую бородку, слегка тронутую сединой.

Дипломат, сидевший за письменным столом в стиле Людовика XVI, укладывал бумаги в небольшой чемоданчик. Он встретил Томаса любезной фразой.

Томас, которого слуга освободил от мокрых шляпы и плаща, неловко пытался найти место для своего также мокрого портфеля. Наконец он открыл его, держа на левом предплечье, и извлек из него две пачки банкнот, английских и итальянских. Но в этом положении он не мог пересчитать деньги.

Дипломат улыбнулся и указал ему на обитый тканью стул.

— Воспользуйтесь этим стулом...

Томас смог пересчитать деньги, перекладывая их на стол; потом протянул расписку сэру Генри Ферре, чтобы тот подписал ее. Освобождая место для бумаги, ему пришлось немного отодвинуть в сторону фотографию в серебряной рамке, стоявшую рядом с чернильницей. Томас не смог удержаться, чтобы не взглянуть на снимок светло-коричневого цвета. На нем была изображена немолодая женщина с удлинненным лицом, сидевшая в позе амазонки на высокой светлой лошади.

Забирая расписку с подписью сэра Генри Ферре, Томас спросил его с тем спокойствием, которое может быть вызвано юностью или хорошим воспитанием человека, решившего проявить нескромность. Он задал вопрос на английском, что ему показалось более корректным в данной ситуации.

— Позвольте спросить вас, сэр, вы родом не из Донегола?

— Да, это так, — с удивлением ответил дипломат.

— И на этой фотографии можно видеть леди Августу Ферре?

— Совершенно правильно!.. Вы поражаете меня... Откуда знаете ее?

— У нас дома была такая же фотография, сэр. Леди Августа — это моя тетушка, или, скорее, моя двоюродная бабушка.

— Это невероятно! Леди Августа — это моя мать!.. Значит, мы кузены? Но с какой стороны? По какой линии?

— Моя мама — дочь сэра Джона Грина, сэр.

Генри Ферре вскочил. Его розовая физиономия побледнела. Он вспомнил свою юность, и эти воспоминания потрясли его. Каникулы в Ирландии, остров, пять дочерей сэра Джона Грина...

— Значит, вы из семьи Гринов... Но я думал... Мне казалось, у меня нет кузенов, если не считать тех, кто живет в Шотландии... Вы будете... Вы можете быть... Вы сын Гризельды?..

— Нет, сэр... Мою маму зовут Элен.

— Элен... Ах, да, Элен, конечно!.. Как ее здоровье?

— С ней все хорошо, сэр...

Элен? Кто же это? Он там никого не видел, кроме Гризельды... Ее сестры были всего лишь силуэтами на заднем плане, туманными призраками, неясно двигавшимися где-то там, в стороне...

— Как интересно, что мы встретились с вами! Вы живете в Париже?

— Да, моя мама и я, мы живем в Париже, в Пасси.

— Ах, Пасси... Вот как... Несколько далековато от центра, но это такое очаровательное место... Нам нужно будет встретиться... Оставьте мне ваш адрес...

Пока Томас царапал адрес на клочке бумаги, сэр Генри затолкал деньги в портфель и затянул на нем ремни, попутно объясняя своему двоюродному брату причины столь поспешного расставания с ним. Он никогда не стал бы ничего объяснять простому сотруднику банка; в данном случае он хотел подчеркнуть, что относится к Томасу как к родственнику.

Благодаря этой встрече Томас узнал, что именно напугало животных Леона.

— В Италии мне нужно будет заняться организацией помощи, — сказал сэр Генри. — Английский флот отправляет два крейсера... Вы не в курсе? Вчера ночью было страшное землетрясение в Италии и на Сицилии. Палермо и Реджо полностью разрушены. Была ночь, и все жители спали у себя дома. Опасаются, что погибших окажется более ста тысяч. Есть данные, что землетрясение ощущалось по всей Европе. Даже в Париже, если верить данным Обсерватории, хотя оно устанавливалось только приборами... Это очень страшное явление, — добавил он спокойным тоном.

Когда он проводил Томаса к выходу, тот остановился, пораженный картиной, которую до сих пор не заметил, так как стоял к ней спиной. На картине в позолоченной раме, висевшей отдельно на стене, на светло-зеленой ткани, в невероятном цветном тумане изображался английский парламент в Лондоне. Рыжее солнце и здания расплывались в удивительном облаке лилового света. Томас никогда не видел ничего похожего. Он ахнул и остановился, чтобы рассмотреть картину.

Лицо сэра Ферре засветилось.

— Вы интересуетесь современной живописью?

— Ну, честно говоря... Я никогда не посещаю выставки... И я не очень разбираюсь в живописи... Но сам немного рисую... Когда есть время...

— Это Моне, — с гордостью сказал сэр Ферре. — Нам обязательно надо будет встретиться в самое ближайшее время... Я сообщу вам, когда вернусь...

Он энергично потряс руку Томасу и, позвонив слуге, добавил небрежным тоном:

— Разумеется, ваша... да, ваша тетушка Гризельда... Никто до сих пор не знает, что с ней?

— Да, это так, — ответил Томас.

* * *

Газета «Матэн» в нескольких строчках сообщила, что спасательная экспедиция, организованная женой Шеридана, прибыла в Пекин после нескольких месяцев поисков, не найдя никаких следов ни машины, ни ее экипажа. К характеристике Гоби как пожирательницы человеческих жизней добавилась еще одна загадка. Элен и Томас напрасно ждали письма от Гризельды. Куда она отправилась из Пекина? Может быть, вернулась в Индию? Или обосновалась в каком-либо другом месте? Она могла задержаться как в России, так и в Китае, чтобы или терпеливо ждать, или продолжать поиски мужа. Имелись ли у нее средства для этого, или она истратила все, чем располагала? Но Гризельда не давала о себе знать, да и пресса перестала говорить о ней. К этому времени автомобиль сошел с первого места, пресса увлеклась фантастическим прогрессом авиации.

В январе 1908 года Фарман установил мировой рекорд, пролетев полтора километра, ни разу не коснувшись земли. Через год, 31 декабря, Уильбур Райт завоевал на соревнованиях кубок Мишлен, совершив потрясающий полет на расстояние в 124 километра.

«Что обещает нам 1909 год? — писал Бодри де Сонье. — Предсказания стали слишком легким занятием с тех пор, как человеческий гений реализовал самые фантастические идеи. Лучше молча восхищаться».

Что касается Элен, то она ждала от 1909 года, когда Томас, наконец, достигнет высоких сфер банковского дела. Его встреча с тем, кого она называла просто Генри, обрадовала ее. Сын Августы мог, если бы захотел, сделать очень многое для своего юного кузена. И она не стеснялась подталкивать его в этом направлении. Она помнила его как робкого студента, длинного и тощего, которого вид Гризельды повергал в состояние шока. Но с тех пор он сильно изменился, если верить описанию Томаса.

— По-моему, ему должно быть... Должно быть около... Боже! Ему сейчас сорок пять лет! Какую должность он занимает в посольстве?

— Он поверенный в делах...

— Что это значит?

— Не знаю... Наверное, что-то важное...

— Его отец давно скончался... Он унаследовал все состояние семейства Ферре: два замка и земли в Донеголе, а также особняк в Лондоне и другую недвижимость в Англии. Думаю, у него есть кое-что и во Франции. Это очень богатый человек, и он должен быть весьма влиятельным.

— Он любит живопись, — сказал Томас.

* * *

Сэр Генри вспомнил о своих родственниках только в конце марта. Он прислал приглашение и очаровательное письмо, в котором приглашал Элен и ее сына на бал в память леди Элизабет Лэнгфорд, их общего предка, которая «...находясь проездом в Париже, оказала ему честь, согласившись провести некоторое время в его особняке, ожидая, пока ее портрет повесят в Тюильри на выставке «Сто портретов женщин XVIII века». Она будет рада познакомиться с ними...»

— Это же бабушка Джонатана! — воскликнула Элен. — Ее портрет висел в салоне тетушки Августы. Ее написал сам Гинзбург. Он специально для этого приезжал в Гринхолл... На ней белое платье, волосы распущены, вот так... Ах, я буду так рада увидеть этот портрет!..

Внезапно она замолчала.

— Это невозможно... Мы не можем пойти туда...

— Почему?

— Тебе нужен фрак... А мне — платье!..

— Ты успеешь сшить его! Тебе хватит времени!

Элен опустила голову и мысленно осмотрела себя. Она вздрогнула. Черное платье, в котором она сейчас ходила, она сшила по модели, приобретенной в галантерейном магазине после приезда в Париж. Именно так одевались няньки, ухаживавшие за детьми...

— Я буду выглядеть смешно... Платье... Я уже не знаю, что это такое... Впрочем, я никогда не знала, что такое настоящее платье... Я не отношусь к кокеткам...

— Продай изумруд! И тогда ты сможешь сшить платье у самого шикарного портного!..

— Ты сошел с ума! Продать изумруд ради какого-то платья!..

— Нам будет больше пользы, если продадим изумруд, вместо того

чтобы прятать его по темным углам... Я даже не знаю, где... Кстати, куда ты его спрятала? Ты в конце концов потеряешь его, и что тогда будет с нами? Ведь он мог бы обеспечить нам более легкую жизнь... И прежде всего тебе...

— Но ты же хорошо знаешь, что...

— Я знаю, знаю!.. Выкупить остров!.. Но тебе стоит признать, что мы никогда не вернемся на остров!

Элен с ужасом посмотрела на сына, словно он внезапно превратился в трехглавое чудовище. Она не верила своим ушам, так как не допускала, что он мог произнести такие ужасные слова. У нее подкосились ноги, и она неловко уселась на стул, держась за край стола.

— Этого не может быть... Ты не отдаешь себе отчет... Ты не понимаешь, что ты говоришь...

Она тихо заплакала, негромко и отчаянно всхлипывая, застывшая, маленькая, съжившаяся на стуле, ничего не видя и на слыша... Томас опустился перед ней на колени, обнял ее, поцеловал мокрые от слез щеки и негромко заговорил с ней, словно с потерявшимся ребенком.

— Я ничего такого не сказал... Я так не думаю... Мы вернемся на остров, я обещаю тебе... Это будет очень скоро, не нужно плакать... У нас будет большая лодка, настоящая барка, и ты сядешь за руль... А я буду возле тебя, верхом на Тридцать первом... И ветер пригонит нас прямо к острову... У тебя на пальце будет перстень с изумрудом... Все небо над нами будет зеленым... Не надо больше плакать...

Элен печально улыбнулась сквозь слезы, потом промокнула платочком глаза, высморкалась.

— Ты совсем еще ребенок... Настоящий ребенок... Ладно... Мы должны написать Генри, должны извиниться... Напишем, что мы будем заняты...

Томас встал.

— Но я пойду к нему. Фрак можно взять напрокат...

— Ты пойдешь один, без меня?

— Может быть, я ребенок, но ведь не грудное дитя... Кстати, мне нужно научиться танцевать... Ты научишь меня? Танцевать вальс... Иди сюда, будем танцевать...

Он поднял ее со стула и закружил вокруг круглого стола, имитируя танец, наталкиваясь на стулья, пуфы и табуреты. Он напевал совершенно фальшивым голосом несколько тактов из «Прекрасного голубого Дуная». Элен смеялась, вскрикивала, когда он наступал ей на ногу, восклицала: «Ты сошел с ума!.. Прекрати!.. Отпусти меня!.. Я сейчас упаду!.. Отпусти же...»

Ей никогда не приходилось танцевать таким образом, даже на собственной свадьбе...

* * *

Томас выпил шампанское и растерялся: что теперь делать с бокалом? Держать его в руке, надеясь, что его кто-нибудь снова наполнит, или поставить куда-нибудь... Но куда?

Он немного успокоился, когда понял, что никому из окружающих нет до него дела. Увидев офицера в парадном мундире, с бокалом в руке, разрезавшего, подобно красно-синему кораблю, волны обнаженных плеч и шиньонов, платьев и фраков, он рванулся следом и очень удачно поставил вместе с ним пустой бокал на поднос в руках у официанта. Взгляд офицера, скользнувший по руке Томаса, поднялся к лицу, на которое он уставился с таким удивлением, что вопрос, казалось, был произнесен

вслух. Кто этот юноша? Знакомы ли они? В его взгляде колыхнулась тревога, уголок рта вздрогнул, но тут же все успокоилось. Рука, одним движением поправившая оба ответвления усов, стерла малейшее проявление интереса в его взгляде, и он отвернулся от Томаса.

В большом зале танцевали, в синем салоне собрались сплетницы, в курительной комнате и библиотеке дым стоял столбом, а в зимнем саду велись доверительные разговоры. Томас подхватил с подноса еще один бокал шампанского и обошел с ним все помещения, стараясь, как ему советовала мать, держаться очень прямо и не смотреть в глаза людям, которым его не представили. Поскольку сэр Генри, очень тепло встретивший его, никому не представил, взгляд Томаса упорно оставался на уровне подбородков и затылков. Ему казалось, что он стал прозрачным. Бюсты, бороды, плечи кружились вокруг него, лица улыбались, что-то говорили, скользили мимо него, даже не прилагая усилий, чтобы не задеть. Взгляды не задерживались на его лице, проходили сквозь него, словно он не существовал. Мелькнуло несколько заинтересованных женских взглядов, когда он находился в профиль по отношению к ним, но тут же становились безразличными, когда он поворачивался к ним лицом.

Сначала он чувствовал себя неловко, но после третьего бокала ему показалось забавным прогуливаться в этом необычном мире, расслабленным и жизнерадостным. Он никогда раньше не пил шампанское. Теперь ему казалось, что он неимоверно вырос и стал неуязвимым. Никто и ничто не могло причинить ему вред. Он видел жалких людишек где-то внизу, бултыхающихся в звуках оркестра и электрических огнях, как в воде аквариума со своими бородами, животами, лысыми и перьями в прическах; они путались в колеблющихся водорослях платьев и фраков, были смешными, неловкими, трогательными. Он был легким и подвижным, с проницательным взором и ясным сознанием.

Томас позволил музыке увлечь себя в большой салон. Оркестр, взгромоздившийся на эстраду в виде полумесяца, окруженную кадками с зелеными растениями, играл вальс. Пары медленно кружились на блестящем паркете. Дамы, подхватившие левой рукой просторные складки своих платьев пастельных тонов, черно-белые кавалеры, направлявшие дам рукой, лежащей над тонкой талией, и изображавшие пресыщенность и незаинтересованность в получаемом удовольствии. Драгоценные ароматы духов смешивались с запахом косметических жиров для усов и легким запахом сигар, доносившимся из курительной комнаты. Томас видел и ощущал окружающее с поразительной ясностью, создавая в уме картины происходящего и сразу же забывая их.

Уверенным шагом, с легкой улыбкой на губах, он спокойно направился к дальнему концу салона, чтобы оказать почтение королеве бала, леди Элизабет Лэнгфорд. Она висела на стене между двумя цветущими филодендронами, доставленными из Бразилии. Томас слегка склонил перед ней голову, потом выпрямился и всмотрелся в нее. Его улыбка сразу же поблекла: он оказался лицом к лицу с Гризельдой... Гризельдой такой, какой она была в молодости, с волной рыжих волос, расплескавшейся по плечам, зелеными глазами, лучившимися жаждой жизни, сверкающей кожей, умытой воздухом Ирландии, холмы и небо которой были видны на заднем плане.

— Что, Томас, вы потрясены нашей прародительницей?.. Согласитесь, ведь она удивительно прекрасна!

Возле него оказался сэр Генри в компании пары гостей, которым он хотел показать портрет Элизабет. Томас ответил, не отводя глаз от портрета:

— Да... Она очень красива... Удивительно, как она похожа на Гризельду.

— На Гризельду?

Удивленный, сэр Генри внимательно посмотрел на портрет.

— Ну, может быть, волосы... И еще... Нет, у Гризельды они были длиннее... Они спускались до талии... И черты лица не совсем такие... У Гризельды они были тоньше... В ней одновременно чувствовалось больше ... присутствия... и загадки... У нее был лучистый взгляд... Она...

Он сообразил, что проявляет подозрительное красноречие, и замолчал. Подумав некоторое время, он продолжал:

— Но вы не знали ее!..

— Да, конечно! — спохватился Томас. Он тут же постарался исправить свою неосмотрительность: — Но у нас дома были ее фотографии...

— Да, понятно... Вы позволите?..

Он обратился к сопровождавшему его мужчине:

— Поль, это мой кузен Томас Онжье... Это Поль де Рим со своей очаровательной дочерью Полиной...

Полина попыталась сделать реверанс, но тут же остановилась. Томас поклонился и пожал руку ее отцу, которого сэр Генри сразу же увлек к другим гостям.

— Оставим молодежь, пусть потанцуют...

Томас смотрел на Полину, и Полина смотрела на Томаса. Она нашла его очень красивым, он же был удивлен ее юностью и хрупкостью, несмотря на серьезный взгляд, свидетельствовавший, что она не боится людей и событий. На ней было такое же белое платье, как на Элизабет, и тонкая ниточка жемчуга вокруг шеи, чуть более белая, чем сама шея. Очень светлые русые волосы, удерживаемые почти незаметными жемчужными гребнями, короной обвивали голову.

Томас подумал, что эта сияющая белизна была отражением портрета Элизабет, которая, в свою очередь, была отражением Гризельды.

Девушка, польщенная таким молчаливым вниманием, решила, что оно несколько затянулось. Она спросила, улыбнувшись:

— Потанцуем?

Томас снова услышал музыку, про которую совершенно забыл, прислушался и покачал головой.

— Нет... Я не умею танцевать... Если вальс, я рискнул бы попробовать... Но это — я даже не знаю, что это за танец...

Она засмеялась.

— Это мазурка...

Ему понравилось, как она смеется. Томас обратил внимание на ее небольшие белоснежные зубки и сказал:

— Бланш!.. Вас должны были назвать Бланш!.. Это имя очень подходит вам... Вы белоснежны, словно веточка цветущего боярышника... Сколько вам лет?

Она легонько хлопнула его по плечу перламутровым веером.

— Об этом не принято спрашивать... Мне шестнадцать лет, а вам?

— Девятнадцать! Мы такие старые... Я хотел бы немного поговорить с вами, если вы не возражаете... Я чувствую, что совершенно одинок в этих дебрях, я заблудился... Может быть, присядем ненадолго?

Она кивнула в ответ, не переставая улыбаться. Юноша был высоким, красивым и очень забавным. Она часто бывала на приемах со своим отцом, но редко встречала таких забавных молодых людей. Проходя синим салоном, Томас снял с подноса оранжад для нее и еще один бокал шампанского для себя. Они нашли свободное место в зимнем саду в креслах, укрывшихся между гигантским фикусом, карликовой пальмой и апельсиновым деревом с плодами. Перед ними булькал невысокий фонтанчик в небольшой

мраморной чаше. За стеклянным потолком виднелось нечеткое круглое пятно, очевидно, луна.

— Я никогда нигде вас не видела... Кто вы? — спросила Полина.

Он принялся рассказывать, руководимый шампанским, о круглом доме, о матери, о животных, о Леоне, о банке, о потерянном острове, будущем острове, вновь найденном с помощью будущего богатства, о путешествиях... Но ничего не стал говорить о своих рисунках. Об этом не говорят, их показывают.

Она очень скупно рассказывала о себе. Жила с отцом, давно овдовевшим. Много путешествовала. Он иногда брал ее с собой, а иногда оставлял в Париже с гувернанткой.

— Что делает ваш отец?

— Что вы имеете в виду?

— Какая у него профессия? Чем он занимается?

— Ну... Разумеется, ничем...

В тени листьев она казалась бледной, словно луна. Томас хотел бы взять ее за руку, но не осмеливался. Она закончила свой оранжад и сказала:

— Мне нужно вернуться в салон, я обещала танцы...

— Ведь мы не станем расставаться навсегда? Но я не бываю в светском обществе... Где мы могли бы встретиться?

— В хорошую погоду я бываю в Лесу... Около полудня. На аллее акаций... Вы знаете, где это?

— Знаю...

Он не знал, но легко мог узнать.

Она встала, и они рядом вышли из синего салона. Возле двери в большой салон группа мужчин окружила сидевшую в кресле смеющуюся даму. Когда они проходили мимо, дама окликнула девушку:

— Полина! Идите сюда со своим кавалером!.. Полина, представьте мне этого красивого юношу, которым вы завладели...

Томас неотчетливо услышал свое имя, потом имя женщины, сидевшей в кресле, но не разобрал его. Она смотрела на него с нескрываемым интересом. Он взглянул на нее сверху, увидел великолепный бюст, сияющую грудь, которую незаметный корсет окружал кружевами и блеском драгоценных камней.

— До чего же скрытный человек этот Генри! Иметь таких кузенов и никого не познакомить с ними!.. Полковник, встаньте, пожалуйста! Отправляйтесь воевать! Вас ждут на границе!

Небрежно подтолкнула гусара, сидевшего рядом с ней. Когда офицер встал, она указала на освободившееся место.

— Садитесь рядом со мной, Томас, мы должны познакомиться поближе...

— Конечно, мадам... Буду очень рад... Но позвольте мне сначала немного потанцевать... Сейчас будет вальс, а я никаких других танцев не знаю...

Он схватил Полину за руку и бросился очертя голову в приключение.

Все оказалось не таким страшным, как он думал. Оркестр играл «Когда умирает любовь». Полина была легкой, словно дыхание, и изящно и уверенно сопровождала все его достаточно неожиданные движения. Постепенно он уловил верный ритм и кружился, кружился, обнимая хрупкую птичку, которую ему доверили на некоторое время.

— Вы были слишком невежливы с Ирен, — сказала Полина.

— Вы так думаете? Но я очень хотел танцевать с вами...

— Дело в том, что она не простит вас... Вы получили в ее лице опасного врага...

— Мне это все равно, я никогда больше не увижу ее... Кто она такая?

— Это Ирен Лабассьер, жена банкира. Она раньше была... Ну, в общем, она была актрисой и ухитрилась женить его на себе. Очень умная, одна из самых красивых женщин Парижа...

— Вот как?

— Вы не находите ее красивой?

— Не знаю. Я видел только вас...

Полина зажмурилась от удовольствия, и когда снова открыла глаза, он впервые увидел их настоящий цвет. Они оказались светло-серыми с каемкой голубоватого оттенка, окружавшей серое, что придавало глазам патетический вид ребенка, долго плакавшего из-за несправедливого наказания. Ей что-то угрожало, она была в беде, ее требовалось защищать неизвестно от чего. От всего на свете...

Она казалась нежной и теплой в его руках, от нее исходил легкий аромат вербены и слабый запах апельсинового дерева, явно оставшийся от зимнего сада. Он хотел прижать ее к груди, обнять, обхватить руками. Но так вести себя не полагалось. Тогда он увлек ее в круг танца, изолировавший их от окружающего мира.

Он кружился, кружился, плывя вместе с ней на корабле музыки, который кружился, кружился... Она была в его объятиях, и они кружились, кружились... Он все еще продолжал кружиться, когда вернулся в Пасси в два часа ночи. Железный мостик кружился вместе с ним под звездами, круглый дом и луна тоже кружились...

Элен ждала его. Она хотела все знать, все услышать, он должен был рассказать ей все-все.

Но он только пожелал матери доброй ночи, поцеловал и, раздевшись на три четверти, спрятался под одеялом. Полина была с ним в ночи, и они кружились, кружились...

* * *

Когда утром Томас рассказал матери про вечер, он ни словом не упомянул Полину. От нее в его сознании осталось навязчивое, но очень расплывчатое воспоминание. Он мог точно вспомнить только ее светлые глаза, казавшиеся ему иногда хрупкими, словно они отражались в воде, а иногда жесткими, словно серый мрамор под дождем.

Он наклеил новый слой бумаги на рисунки на стенах голубятни и попытался нарисовать Полину. Купол комнаты превратился в звездное небо, и вместо звезд на нем сияли ее глаза. Он безуспешно пытался придать им лицо и тело, но у него ничего не получалось, кроме неуверенных линий, становившихся контурами тумана. Он был точно так же околдован Полиной, как недавно увиденной кометой, когда часами любовался ее сияющим нарядом, скользившим по небосклону.

Комета скрылась во мраке пространства, но Полина была здесь, где-то в Париже, живая и доступная. Он обязательно должен был снова встретить ее, увидеть, снова прикоснуться к ней. Она не могла стать исчезнувшей звездой. Все было так легко: Булонский лес, аллея акаций, в полдень.

Нет, это было совсем нелегко. В полдень, когда его послали с заданием из банка, он находился на другом конце света от Булонского леса. Он вскочил на велосипед как бешеный, принялся крутить педали и оказался возле ворот Отейль совершенно мокрый. Он не нашел аллеи акаций и едва успел вернуться в банк к двум часам, задышающийся и голодный.

Через неделю он воспользовался поездкой на Елисейские Поля, чтобы сесть на поезд на линии «А» метро и доехать до станции Порт Дофин.

Здесь ему осталось только следовать за потоком колясок и всадников, чтобы оказаться на таинственной аллее, заполненной, к его удивлению, толпой посетителей. Что все они здесь делали?

Это было место, где требовалось очутиться в хорошую погоду, если вы были известным лицом и собирались остаться таковым. Или вы еще только надеялись приобрести известность и оказались здесь для того, чтобы познакомиться, хотя бы издалека, с известными людьми. Здесь можно было похвастаться своей новой коляской, новой шляпой, модным платьем, красивым любовником или богатым мужем. Лошади, в упряжке или верховые, двигались шагом, седоки при встрече раскланивались или обменивались улыбками. Многие должны были увидеться вечером на варьете или на ужине у баронессы.

Томас с удивлением смотрел на светский парад и думал, будет Полина верхом или в одной из карет, изящной, словно кружева. Или в автомобиле, так как несколько экземпляров этих механических существ осмелились затесаться в лошадиную процессию.

Он помнил Полину в белом платье, а поэтому инстинктивно искал взглядом девушку в белом. Но не находил ни одной, ни на аллее, ни под деревьями, куда он проник, и где было еще больше публики. Здесь посетители прогуливались пешком или сидели на металлических стульях. Расслабленные, они предавались беспечной болтовне. Среди пятен тени и солнца платья создавали движущийся пестрый цветник. Мужчины были во фраках и цилиндрах или серых котелках. Единственная возможность разнообразить свой облик для них заключалась в оформлении жилетов. Томас, зачарованно смотревший по сторонам, едва не наступил на микроскопическую собачку размером не больше крысы, с мордочкой, похожей на голову дрозда, и блошиными лапками. Животное, которое он нечаянно поддал ногой, взвыло на невероятно высокой ноте и попыталось укусить его за лодыжку, но распахнутая пасть была способна цапнуть только тросточку, имеясь она у Томаса. На ее миниатюрном теле находилась попонка с рисунком из розовых квадратов, а на шее виднелась тройная золотая цепочка. Хозяйка собачонки, в наряде с такими же розовыми квадратами и с такой же золотой цепочкой, наклонилась, чтобы подобрать бедняжку на руки, одновременно бросив на Томаса взгляд с нежным упреком. Ему пришлось пробормотать невнятное извинение и исчезнуть как можно быстрее.

Девочка, игравшая в странную игру дьябло, едва не попала ему в глаз своей вертушкой. Она была в том возрасте, когда еще не нужно прятать свои щиколотки, но уже носила шляпу в цветочках. Она коварно ухмыльнулась, подобрав свое смертельно опасное устройство. Томас с удовольствием отвесил бы ей оплеуху. Он был расстроен и рассержен. Ему нужно было возвращаться, так и не увидев Полину.

Но его увидела Полина. Увидела издалека, высокого, потерянного, расстроенного, смешного и очень красивого. Она оставила свою задремавшую на стуле старушку-гувернантку, подкралась к Томасу сзади и легко коснулась тонкими пальцами его руки.

Он обернулся, вздрогнув, словно его укусили, но узнал ее только через какую-то долю секунды. Она была в светло-сером костюме того же цвета, что и ее глаза; на голове у нее была фиолетовая шапочка с вышитыми на ней цветами лилии. Она улыбалась ему нежно и немного насмешливо. Томас не сразу догадался, что сказать, да ему сразу и не удалось бы это сделать, так как у него сильно дрожал подбородок. Он испытывал непреодолимое желание обнять ее и никогда больше не выпускать из рук. Он схватил обеими руками ее маленькую ладонь, на ней были перчатки из какой-то очень тонкой ткани, сквозь которую он чувствовал ее тепло и хрупкость. Наконец ему удалось сказать:

— Это вы!

Она засмеялась:

— Разумеется, это я!.. Вас это удивляет?

Он ответил шепотом:

— Конечно...

Ему пора было возвращаться на работу. Он проклял банк, обстоятельства, заставлявшие их расставаться, проклял весь мир. Жизнь показалась ему нелепой. Зачем нужно было работать, устраивать демонстрации, потеть, кривляться? Для чего? Все это было всего лишь театром марионеток, все было пустотой. Пустотой!.. Во всем мире имелось единственное живое существо — Полина.

Полина... Где она находилась, что делала на протяжении этих бесконечных дней, отделенная от него половиной Парижа и миллионами условностей? Моментами он ощущал свое единство по духу с русскими студентами, бросавшими бомбы в царский кортеж. Он был готов взорвать все, что громоздилось между ними, что разделяло их.

Он видел ее только два раза — в белоснежном платье и в сером, цвета осеннего неба костюме. Как и впрошлый раз, он был в одном и том же коричневом костюме, с каждым днем становившимся для него все более тесным, и в черном котелке, напаянном, словно гасильник для свечей, на его буйную шевелюру. У него появилась привычка проводить пальцем по верхней губе с тонкими черными усиками. Ему было безразлично, во что он одет. Впрочем, ей тоже. Он был высоким, красивым, забавным...

Когда он уже был готов снова расстаться с ней, Полина предложила ему сопровождать ее послезавтра в Шателе¹. Ее отец накануне уехал в Трувиль, а она получила два билета от постановщика балета Дягилева, с которым ее отец познакомился на приеме у Габриэля Астрюка². Томас не имел понятия ни о Дягилеве, ни об Астрюке, но слышал о чуде, всколыхнувшем весь Париж: русском танцоре Вацлаве Нижинском. Полина обязательно должна была увидеть его, но она не могла появиться в театре одна. Впрочем, вряд ли ее спутником мог быть Томас... Поэтому она собиралась сказать, что будет в театре с подружкой.

Ее гувернантка вечером задремлет уже за столом и будет думать только о том, как добраться до постели. Он приедет за ней на фиакре, но должен будет остановиться немного в стороне от подъезда...

Он никогда не видел балета, ему было наплевать на Вацлава Нижинского, но мысли о перспективе провести вечер с Полиной, побыть вдвоем с ней в фиакре наполняли его безумной радостью. Томас подбросил в воздух свой котелок, споткнулся о клумбу, согнулся вдвое, попросив у нее прощения и вернулся в банк на велосипеде, у которого, похоже, появились крылья.

Он сказал матери, что ему придется работать ночью, готовить месячный отчет. Она поверила ему. Сентиментальное приключение не учитывалось в ее планах, разработанных для сына. Она не могла представить, что такое возможно. Но то, что банк достаточно доверял Томасу, чтобы поручить ему вечером проверять счета, только подтвердило ее надежды; она получила подтверждение его быстрому продвижению в иерархии работников банка.

¹Муниципальный музыкальный театр в I округе Парижа, названный по одноименной площади.

²Габриэль Астрюк (1864—1938) — французский журналист, директор театра, театральный импресарио и драматург, чье имя соединяет многие из самых известных личностей и событий Парижа конца XIX — начала XX века.

Когда рабочий день закончился, он снова взял напрокат фрак со всеми аксессуарами. Ему нужен был также цилиндр, но подходящего размера не нашлось. Служащий с восхищением сообщил ему, что у него необычный размер головы; впрочем, это не имело значения, так как он мог держать цилиндр в руке.

Он переоделся в фиакре, сложив повседневную одежду в картонку, в которой находился фрак. Завязав кое-как галстук, он с ужасом почувствовал, что у него волосы торчат в разные стороны.

На улице Дю Буа, где в большой вилле под сенью густых деревьев жила Полина, он появился в восемь часов. Она посоветовала ему не выглядывать из фиакра, и он стал ждать. Прошла минута. Пять минут. Целая вечность. Наконец дверца фиакра распахнулась перед сияющим образом: заходящее солнце украсило розовым и золотым платье из белого муслина и улыбающееся лицо сказочной феи, в которой он не сразу узнал Полину. Свет зацепился за кончики ее ресниц, залил золотом несколько выбившихся из прически непослушных прядей и перо, придерживавшее прядки, остававшиеся послушными. Скромное декольте, завуалированное тюлем, позволяло догадываться, что где-то несколько ниже, в нежной тени, хранились юные сокровища. Мягкие лучи вечернего солнца бережно коснулись протянутой к Томасу нежной руки.

Он вспомнил, что ему нужно дышать, вдохнул воздух полной грудью и помог Полине подняться в фиакр. Дверца захлопнулась, кучер что-то буркнул, и фиакр, закрипев, двинулся с места.

Томас много раз мечтал об этом мгновении, когда окажется впервые наедине с Полиной, когда сможет обнять ее... Но это оказалось невозможно... Сидя на банкетке напротив него, держа на коленях свою небольшую сумочку, хрупкая, изящная, безупречная, от туфелек до шляпки, она была недостижима. Она была белым цветком, перламутровой бабочкой, облачком муслина. Малейшее прикосновение к ней неизбежно должно нанести ущерб этому воздушному созданию.

Он смотрел на нее, забыв закрыть рот, с перекосившейся манишкой, съехавшим набок галстуком, взъерошенной шевелюрой... Она рассмеялась.

— Вы смотрели на себя в зеркало?

Он отрицательно помотал головой. Она извлекла из сумочки зеркальце размером с большую монету и протянула ему. Но он смог разглядеть в зеркале сначала только прядь волос, потом одну пуговицу жилета. Тогда она, слегка нахмурившись и закусив губку, принялась приводить его в порядок. Поправила галстук, вернула на место манишку, подтянула жилет. Попытавшись причесать его миниатюрным гребнем, она сломала его, огорченно вскрикнула и все же закончила приглаживание шевелюры жалким обломком гребешка. Во время этой процедуры он закрыл от удовольствия глаза и только что не замурлыкал, как кот.

Подъехав к театру, он выбрался из фиакра с картонкой для одежды в одной руке и цилиндром в другой. Ему очень не хватало третьей руки, чтобы протянуть ее Полине, и четвертой, чтобы рассчитаться с кучером. Он бросил картонку на землю, попытался напялить цилиндр, но вовремя спохватился и поставил его на картонку, после чего смог, наконец, помочь Полине сойти с фиакра на землю. Он не заметил, что она почти перестала забавляться, почувствовав раздражение.

Избавившись от всего лишнего в гардеробе и обрадовавшись возвращенной свободе, Томас пригладил обеими руками шевелюру и одной правой рукой усы, после чего они с победоносным видом прошествовали в заполненное людьми фойе театра, шумное, как рынок в часы пик.

Русский балет демонстрировал свою вторую программу, и светское общество Парижа, очарованное талантом Нижинского во время исполнения его первой программы, собралось, чтобы он в очередной раз превзошел самого себя. Спектакль давался в пользу жертв еще сохранившегося в памяти обывателя землетрясения в Мессине. Это несчастье, как и сам балет, были основанием для дам нацепить как можно больше драгоценностей на свои платья, волосы, шею, уши и запястья. Партер и ложи сверкали тысячами отблесков на фоне обнаженных белоснежных плеч и эффектно подаваемых почти обнаженных бюстов. По рядам сидений волнами прокатывались разговоры, незнакомые лица изучались с помощью лорнетов, при появлении знакомых раздавались приветственные возгласы.

— Кто эта девочка вся в белом, словно новогодняя свечка?

— Это... Ах, да, это же Полина! Она с мужчиной!

— Полина де Рим? Она обручена? Кто этот молодой человек?

— Не знаю... Он выглядит, словно празднично наряженный лев.

— Он похож на деревенщину...

— Он красив...

— Для него она выглядит слишком юной... Ей явно все еще требуется бутылочка с соской...

Перед тем как опуститься в кресло, Томас окинул взглядом зал. Поскольку он был высоким и его никто не знал, весь зал принялся рассматривать его. И очень многие женщины подумали, что рядом с ними он выглядел бы гораздо эффектнее, чем с этим ребенком. А мужчины подумали, что он выглядит в своем фраке не лучше, чем мешок с картошкой.

Томас гораздо отчетливее, чем на приеме, осознал, что находится в мире Полины и не только не является частью этого мира, но и не испытывает ни малейшего желания быть принятым в него. Он представил, что будет, если кто-нибудь из его друзей, из существ его мира, внезапно очутится здесь. Фыркающий Тридцать первый, жираф Камилла со своими наколенниками, слон Цезарь с тремя бивнями, все эти звери, возглавляемые громадным Леоном в зеленой шерстяной рубашке с синей попугайхой Флорой, цепляющейся за его бороду, достойную Юпитера, и вороном Шамои, восседающим у него на голове, хлопающим крыльями и громко орущим:

— Ко-а!.. Ко-а!..

Эта картина развеселила его, и он засмеялся.

— Садитесь же! — раздраженно одернула его Полина. — На вас все смотрят... Почему вы смеетесь?

— Мы с вами оказались в зверинце, — сказал он совершенно спокойно. — Но я пойду куда угодно, лишь бы быть рядом с вами.

Он немного помолчал, потом наивно добавил:

— Я мог смотреть сколько угодно по сторонам, все равно вы здесь самая красивая... Действительно, вы очень, очень красивы...

Она улыбнулась, мгновенно забыв о своем раздражении, и на какое-то мгновение слова Томаса оказались истиной, потому что женщина, которой говорят, что она красива, обязательно становится красавицей.

Представление не очень понравилось ему, за исключением сцен в русских или восточных костюмах. Ему показались смешными танцовщицы, семенящие по сцене на пуантах, и этот знаменитый танцор, подпрыгивавший так высоко, что во время полета успевал несколько раз дрыгнуть ногами. Но декорации показались ему ослепительными. Написанные необычно смелыми красками, они были картинами, в глубине которых перемещались персонажи в неожиданных костюмах, таких же смелых и гармоничных, как и декорации. В конце одного из па-де-труа Нижинский совершил такой невероятный прыжок, что едва не вылетел со сцены. Зал вскочил в еди-

ном порыве восторга, и аплодисменты продолжались до бесконечности. Бюсты трепетали, бриллианты сверкали, лица у черно-белых мужчин стали красными. Томас тоже встал вместе со всеми, но аплодировал он краскам декораций, роскошным синим, ярким фиолетовым, пурпурным, зеленым и оранжевым, фантастическим коричневым и золотым.

Полина увлекла его за кулисы, где добрая половина зрителей пыталась пообщаться с Нижинским, которого охранял громадный мужик с бритым черепом. Его борода явно не знала гребня с момента появления первого волоска.

Полина хотела увидеть не танцора, а Кользена, художника по декорациям, приславшего ей два билета. Они нашли его в стороне от общей суматохи, на которую он с иронией поглядывал. Он оказался таким же высоким, как Томас, и, как ни странно, очень походил на него чертами лица, общим видом и манерами. Только его шевелюра, такая же обильная и буйная, как у Томаса, оказалась светлой, а глаза голубыми. Россиянин, финн по происхождению, он был весьма богат и путешествовал с группой Дягилева исключительно для собственного удовольствия. Он называл себя декоратором потому, что подготовил два или три макета декораций, от которых Дягилев категорически отказался. Томас поздравил его с показавшейся ему наиболее удачной декорацией последней части балета.

— Действительно, она получилось чудесной! — сказал с восхищением Кользен. — Но ее автор не я. Ее подготовил Бакст.

Он говорил проникновенным голосом, голосом оперного певца, и тот, кто слушал его, невольно вспоминал виденные им когда-то спектакли. Под жакетом, таким же голубым, как его глаза, у него был надет черный жилет с золотыми пуговицами; галстук у него был бледно-зеленым. Он походил на старшего брата Томаса, и по его поведению можно было подумать, что они встретились после долгой разлуки. Он выглядел парижанином более достоверно, чем любой настоящий парижанин, — пожалуй, самую малость утрированно. Но достаточно, чтобы оказаться на обычном уровне, характерном для парижан. Его место в театре казалось очевидным — но только за кулисами. И хотя приехал в Париж из Москвы, он и в Париже оказался на своем месте. Очутись он сейчас в Самарканде или в Жеримадете¹, он чувствовал бы себя как дома.

Полина молча слушала его, словно зачарованная. Он касался ее кончиками пальцев, словно клавишей рояля, его рука взлетала, потом снова опускалась на ее руку, на плечо. Он говорил, что она легка, как балерина, что она должна танцевать, что пусть зайдет к нему немного позже, и он тогда представит ее Дягилеву... Томас начал злиться. Проходившая мимо них группа молодых людей, говоривших по-русски и громко смеявшихся, окликнула Кользена. Он отвернулся, помахал знакомым, что-то сказал им и исчез.

В фиакре Полина, в восторге от вечера, громко вспоминала наиболее примечательные моменты балета, смеялась и даже пыталась снова аплодировать. Потом она забеспокоилась. Множество людей видело ее вместе с Томасом, отец рано или поздно узнает о ее походе в театр, ей придется что-то придумывать, что-то говорить ему, она скажет, что была с друзьями, а этот юноша... Какой юноша? Ах, этот... Это кузен Иветты, его мать была с нами. Впрочем, отец ничего не скажет, он совсем не такой строгий, как можно подумать, он доверяет ей, он всего лишь заботится, чтобы она не причиняла ему беспокойства... Томас слушал ее, ничего не понимая. Так он мог бы слушать, как поет соловей... Он пересел к ней, и Полина

¹ Жеримадет — вымышленный город, придуманный Виктором Гюго, упоминается в поэме «Спящий Вооз» (книга «Легенда веков»).

неожиданно замолчала, потому что он коснулся своими губами ее губ. Она задрожала, но он обнял ее, не заботясь о ее туалете; она тоже забыла обо всем...

Он первый раз в жизни целовал женщину, и этой женщиной оказалась Полина... Удивительный жар заставлял плавиться его сердце. Нежные губы под его губами были теплыми, мягкими и одновременно твердыми, влажными, свежими, живыми, словно... Он не знал, с чем их можно сравнить. Ничто в мире не выдерживало сравнения с ними. Целовать их было самым лучшим, самым волшебным чудом на свете.

Они надолго замерли, обнимая друг друга, прижавшись щекой к щеке, и молчали. Потом она повернулась к нему лицом, чтобы он еще раз поцеловал ее. Дыхание Полины участилось, ее небольшие руки сжали руки Томаса. Он чувствовал охватившее его волнение, и необычный порыв подтолкнул его к необычным поступкам. Его пальцы искали пуговицы, дергали кружева, открывая все новые участки пылающей жаром кожи. Она обхватила его за шею обеими руками, не отрываясь от его губ, и слабо стонала. Внезапно фиакр остановился. Они приехали.

Полина спустилась на землю, с растрепанными волосами, с беспорядочно расстегнутой одеждой, красная и задыхающаяся, и бросилась в сад. Он отъехал, продолжая пылать, словно факел. Ему пришлось снова переодеться, чтобы вернуть фрак, холодный воздух охладил его и привел в чувство.

Он вошел в дом со стороны парка, стараясь, чтобы мать не увидела картонку с фраком, которую он удачно спрятал внизу в салоне. Леон спал на соломе возле камина, и рядом с ним, прижавшись к нему, спала маленькая обезьянка. Он проснулся, посмотрел на проходившего мимо Томаса, подмигнул ему и снова заснул.

Элен не дождалась сына. Она оставила ему в столовой ужин: пару кусочков ветчины, сыр, сваренные вкрутую яйца, салат и хлеб. Томас мгновенно проглотил все, что было на столе, после чего забрался в буфет, где нашел остатки холодного рагу с картофелем. Рагу исчезло так же мгновенно.

* * *

Он увидел Полину только через шесть дней, снова в Булонском лесу, и она сообщила ему, что на следующий день уезжает к отцу в Трувиль вместе с гувернанткой. Там она должна провести все лето, и снова увидиться смогут только в сентябре.

Она сказала это с непринужденным видом, очень спокойно, словно забыла волнение, испытанное во время возвращения домой из театра. В то же время, Томас очень хорошо помнил все, и он только с большим трудом удержался, чтобы не обнять Полину.

— Я не смогу так долго не видеть вас, — сказал он. — Это невозможно. Я приеду к вам в Трувиль!..

— Замечательная идея! Мы будем купаться!

— Купаться?

— Конечно! У вас есть купальный костюм?

— Нет...

— Ну, купите в Трувиле... Мы займемся этой покупкой вместе... Я выберу его для вас... Это будет так забавно!..

— Конечно, мы так и сделаем, — неуверенно согласился он.

Что-то покупать, брать напрокат, путешествовать, снова тратить деньги... Ему и так пришлось в конце месяца одолжить луидор у Леона, чтобы

не вызывать опасные подозрения у матери... Как ему удастся съездить в Трувиль?

Он вспомнил невнятный намек на приглашение, сделанное ему кузеном Генри.

— Что вы делаете летом, мой дорогой Томас?

— Ну... Я...

— Приезжайте на несколько дней в Трувиль... Когда вам будет удобно, вам не нужно даже предупреждать меня, вилла большая, там всегда гостят друзья, они то появляются, то исчезают. Найти ее можно без труда, любой кучер привезет вас куда нужно... Она называется Гринхолл...

— О, замечательно... Спасибо... Очень рад... Я, конечно...

Летом они в банке работали, как все служащие... Но сообщив мистери Уиндону о приглашении сэра Генри, он получил у доброжелательно-го начальства отпуск на два дня, понедельник и вторник 12 и 13 июля. С воскресеньем и праздничным днем 14 июля у него получилось 4 дня для посещения Трувиля, если сесть на поезд вечером в субботу

Элен пришла в ужас при мысли, что Томас так долго будет находиться вдали от нее. Ведь до сих пор они не расставались. Правда, она понимала, что поддерживать отношения с Генри, то есть, с кузеном Томаса, было весьма важно для него. У него появится возможность встречаться у Генри с дипломатами, банкирами, деловыми людьми. Все известные люди Франции и Англии посещали Трувиль в июле и августе. Приглашенные к Генри Ферре не могли не обратить внимания на подающего надежды молодого человека.

Разлука тревожила и огорчала ее, но Элен была вынуждена согласиться.

* * *

Море!

Он распахнул ставни окна своей комнаты и покачнулся от волны света, хлынувшего на него из глубины неба.

Приехав в Трувиль ночью, Томас лег спать, не подходя к окну, и этим утром открыл ставни, не подозревая, какое зрелище ожидает его.

Море... Он совершил морское путешествие, когда был совсем ребенком, к тому же, тогда он спал всю дорогу. Потом никогда не вспоминал о море, никогда не мечтал увидеть его. Да и как можно представить все это?

Он раскинул руки, широко открыл глаза, вдохнул полной грудью... Вода, небо, свет, бесконечное множество красок и — море!

По телу прокатилась волна свежести и счастья. Он был обнажен, словно только что родившееся дитя, и перед ним не было никого, кроме моря и неба с большими белыми птицами. Вилла стояла на склоне холма, и его комната на верхнем этаже находилась между башенкой и миниатюрной колоколенкой. Он звонко рассмеялся — смехом, похожим на смех Леона, и принялся хлопать себя по груди, по бокам и по бедрам раскрытыми ладонями. Потом окунул лицо в тазик с водой, набросил на себя одежду, скатился по лестнице и помчался по камням, по песку, по водорослям и по раковинам, пока не оказался возле него, лицом к лицу, всего в нескольких сантиметрах...

Море отступило, но вернулось и лизнуло его подошву языком, круглым и плоским; затем сразу же втянуло язык, чтобы подумать, снова вытянуло его к нему, обхватило обе ноги легкой нежной пеной и тут же быстро отступило с легким бормотаньем. Томас шагнул за ним и наклонился, чтобы погладить. Оно коснулось его ладони холодным поцелуем с тонкими

уколами песчинок, Томас погрузил в него вторую руку, потом выпрямился, прижал мокрые ладони к лицу и зажмурился. Свет проникал сквозь ладони и веки, чайки с криками носились над ним, море что-то напевало у его ног, он стоял в центре сияющей вселенной.

Только теперь Томас подумал о Полине.

Он встретил ее только в полдень на деревянном настиле перед Эдемом. Судьба решила помочь им. Сэр Генри и Поль де Рим с группой друзей, страстно увлеченных авиацией, уехали на автомобиле в Кале, чтобы наблюдать за полетом Латама, собиравшегося перелететь через Ла-Манш на своем моноплане «Антуанетта».

Латам и два его конкурента, Блерио и Ламбер, уже заняли позицию на краю скалы, обращенной к Англии, но успех полета полностью зависел от направления ветра. Они ждали благоприятного для полета направления, чтобы сорваться с места. Таким образом, молодая пара могла получить свободу на срок от нескольких часов до нескольких дней.

Поднявшись к себе в комнату, Томас обнаружил на постели костюм для купания, последнюю модель, нечто вроде борцовского трико. Цельная вещь цвета морской волны с волнистыми горизонтальными полосами, с короткими рукавами и штанинами до середины бедра. Слуга принес ему коробку с красками, два холста и мольберт. Метрдотель-англичанин пришел к нему и объяснил, что сэр Генри поручил ему передать все это господину, если он придет.

Прилив закончился в три часа, Полина появилась только в пять. Он уже давно был в воде, где скорее барахтался, чем плавал. Леон немного научил его держаться на плаву, но он никогда не проплывал расстояние больше, чем длина бассейна для тюленей. Тем не менее, он считался одним из самых отважных пловцов, потому что не боялся с головой оказаться под водой.

Полина объяснила Томасу, где находится ее кабинка, и он старался не отходить от нее. Он увидел, как девушка вошла в кабинку в желтой юбке болеро, соломенном капоре с двумя желтыми розами и блузке, держа в руке кружевной зонтик. Вышла она в белом фланелевом купальном костюме из двух частей, с открытыми икрами, в туфельках с лентами и в большой розовой шляпке. Томас бросился к ней, размахивая руками, но тут же с ужасом осознал, что его намокший костюм выглядел совершенно непристойно. Он мгновенно отвернулся, хотя в этом не было особой необходимости, так как она смотрела только на воду, омывавшую множество бледных ног. Полина попробовала воду сначала одной ногой, потом ступила в нее обеими ногами, то и дело негромко вскрикивая. Сонная волна плеснула водой на колени, вызвав множество восторженных криков самых смелых купальщиц и бегство более робких. Полина двинулась вперед. Томас, лежавший в воде, ободрял ее. Незаметное углубление в песчаном дне заставило ее погрузиться до середины бедра. Она пронзительно закричала, споткнулась, едва не упала, тут же выскочила на песок и бросилась переодеваться.

Томас пригласил ее на обед. Денег у него было негусто. Им посоветовали заглянуть в небольшой ресторан на краю деревушки Довиль. Заведение оказалось заполненным молодыми парочками, сбежавшими от родителей. Им подали на мраморный столик с металлическими ножками и скатертью в цветных квадратах блюдо из креветок и мидий, и они запили его белым вином. Они смеялись каждому слову, счастливые, словно дети. Томас становился более серьезным только для того, чтобы любоваться девушкой, теряясь в ее светлых глазах, подчеркнутых слабой тенью. Он не устал повторять, что она прекрасней, чем море и небо вместе взятые.

Потом он проводил Полину по променаду, уже опустевшему. Томас не мог решиться расстаться с ней. Море отступило далеко от берега, превратилось в светлую полоску в ночи под взглядом луны. Он взял руку Полины и сказал:

— Пойдем посмотрим на него...

Они шагали молча. Слышно было только отделенное бормотание уснувшего моря и сухой хруст раковин у них под ногами. Добрались до скалы, силуэт которой напоминал огромного лежащего верблюда. Они попытались сесть между горбами, но тело верблюда оказалось усеянным твердыми острыми раковинами, и удобнее оказалось устроиться на песке. Полина сняла шляпку и повернулась к Томасу своим нежным и слегка печальным лицом. В лунном свете ее глаза казались влажными цветами. Он осторожно обнял ее и поцеловал. Юноша почувствовал аромат вербены, смешавшийся с запахом моря, и увидел в вырезе ее блузки округлую белизну, такую же округлую, как луна. Он расстегнул несколько пуговиц и положил руку на хрупкую грудь, нежную, словно лепесток. Потом прикоснулся к ней губами. Ему казалось, что кровь кипит у него в венах. Полина негромко застонала и подняла голову, чтобы поцеловать его губы. Рука Томаса опустилась куда-то вниз, нетерпеливо путаясь в непонятных препятствиях. Какая-то неведомая сила толкала его руку, и он не представлял, куда она направлена, но ничто не смогло бы остановить его. Эта же сила приковала Полину к песку, заставляла цепляться за плечи Томаса, раскрываться перед ним, призывать нечто непонятное, неотвратимо надвигающееся, пробуждающее одновременно и стремление к нему, и ужас. Она негромко вскрикнула раз, другой. Томас услышал ее, несмотря на рокот морских волн, грохотавших у него в голове. Он неудержимо погружался в пылающие недра Земли, проваливаясь все глубже и глубже, к огненному ядру, всеобщему началу и концу Вселенной. Он очутился в сердце пожара и растворился в нем. И все исчезло.

Лежа на спине, Томас бездумно смотрел на черное небо и луну, и в сердце его гнездилась печаль, черная, как ночь. Ничего, совершенно ничего не случилось... Все это было ничем... Полина была ничем... Море было не чем иным, как большой лужей соленой воды, и от водорослей несло гниющей рыбой. Ему захотелось поскорее уйти отсюда. Прижавшаяся к нему Полина тихо плакала.

Он встал и помог ей подняться. Она негромко попросила:

— Поцелуй меня...

Он поспешно поцеловал. На ее сухих губах чувствовался привкус водорослей. Он быстро зашагал к берегу. Девушка окликнула его, и в ее голосе прозвучал ужас человека, брошенного на произвол судьбы.

— Томас!..

Он остановился, но не ответил. Полина отряхнула юбку, с которой посыпался песок, торопливо привела в порядок волосы, надела шляпку, схватила валявшийся рядом зонтик, бросилась к нему и ухватила за руку, словно тонущий за якорь спасения. Он молча проводил ее до дома. Схватившись за дверную ручку, она негромко спросила:

— Завтра, на пляже?

Томас не решился сказать нет. Но он не хотел и сказать да. Глухо пробурчал то, что могло означать и первое, и второе.

Она пристально всмотрелась в него, хотела что-то сказать, но промолчала, отвернулась, открыла дверь и исчезла, захлопнув ее за собой.

Вернувшись в свою комнату, Томас закрыл ставни, отвернулся от окна и сел за мольберт. Он покрывал холст в свете электрических лампочек

крупными мазками, не смешивая краски. Темное небо; оранжевая луна заливает фиолетовым светом края рваных облаков над фиолетовым и черным морем, усеянным багровыми ранами. На поверхности моря вздымаются бугры — то ли громадные волны, то ли спины морских чудовищ, сплетающихся в страшной схватке.

Светало. Он сильно проголодался. Спустился вниз, нашел кухню, сел за стол. Испуганная повариха застала его в тот момент, когда он заканчивал пожарить бараний окорок; она собиралась накормить им в обед всю челядь.

Томас проснулся в час дня совершенно изменившимся. Он ничего не помнил о том, что случилось с ним после того, как они... А потом... Неужели так всегда бывает после того, как?... Тоска, отвращение, черная ночь над миром... Какая нелепость...

Он увидел картину, над которой трудился ночью, и ему стало страшно. Полина, Полина... Он снова почувствовал к девушке восторг и нежность, к которым теперь прибавилась благодарность... С ее помощью он стал мужчиной. И он сделал ее женщиной! Его опять охватило желание. Он не хотел, чтобы она плакала; она должна была испытывать радость, как он, радость огромную, словно море! Этим вечером они снова пойдут к скале-верблюду...

Томас распахнул ставни. Море сверкало под солнцем. Чайки и паруса усеивали небо и поверхность моря. Он почувствовал себя сильным, жизнерадостным, настоящим победителем. Настоящим мужчиной. Он плотно позавтракал и спустился на пляж.

Полины на пляже не было. Томас напрасно прождал ее до вечера, когда пляж опустел. В отчаянии он поднялся к себе и улегся в постель, не поужинав. Он ранил ее, унизил, она больше не хотела его видеть. Это показалось ему невозможным; он не мог жить без нее... Внезапно юноша подумал, что мог вернуться ее отец, не разрешивший дочери купаться. Да, скорее всего, так оно и было... Эта мысль успокоила, и он заснул.

На следующее утро он увидел Полину на пляже, но она была с гувернанткой, державшей ее за руку и не оставлявшей ни на минуту. Выглядела она печальной, и тени под глазами заметно увеличились. Она взглянула на Томаса, когда он проходил мимо, но не подала никакого знака. Только ее пальцы, державшие зонтик за ручку, стиснули ее нервным движением. Купаться не стала, и скоро они с гувернанткой ушли с пляжа.

На третий день, 14 июля, в большой праздник, город заполнился трехцветными флагами и грохотом фанфар, но часы уныло проходили один за другим без Полины. Пляж заполнила приехавшая из Парижа на специальных поездах публика. Под толпами отдыхающих исчезли пляж и море. Томас устроился возле кабинки Полины, стараясь не сводить с нее глаз. Полина так и не появилась.

Его парижский поезд уходил в восемь часов.

Он добрался до вокзала с видом осужденного на казнь. Там узнал, что на Париж должны уйти два дополнительных поезда, один в десять вечера, другой в два часа ночи. Он сдал свою сумку в камеру хранения и вернулся на пляж, подгоняемый безумной надеждой. Вилла Полины стояла закрытая, без огней. Томас попытался увидеть ее через стекла витрин во всех ресторанах и даже подошел довольно близко к казино. Девушку он нигде не увидел.

Его привлекла громкая музыка. По улице проходило факельное шествие. Колонну возглавляли барабанщики и трубачи, за ними шествовали пожарные в сверкающих медных касках, потом дети с бумажными фонариками на длинных шестах. Плотная толпа любопытных заполнила тротуары. Томас,

как ни метался в толпе, нигде не видел потерянную Полину. Ее не было нигде.

Почувствовав чье-то прикосновение к руке, он быстро обернулся и столкнулся взглядом с глазами Полины. Огромными глазами, полными печали и надежды. На голове у нее была прикрывавшая лицо золотистая вуаль, платье она надела самое простое, с желтыми полосками. Девушка выдернула его из массы зевак, и они спустились на пляж. Потом долго шли к уснувшему вдали морю, подальше от людей и городского шума, пока не оказались возле скалы с двумя горбами, где, наконец, обнялись и опустились на песок.

Томас с восторгом обнаружил, что у Полины ничего не было под платьем. Застонав от наслаждения, он провел рукой по такому теплому, такому нежному телу, цветку жизни, свежему и в то же время обжигающему, нежному, нежному, нежному... Когда они слились в одно целое, она не вскрикнула, а слабо застонала, и он почувствовал, как она постепенно поднимается к невероятной вершине, к которой он подталкивал, вел ее и которой она должна была, наконец, достичь...

БАХ! БАХ!!! В небе взорвались бомбы фейерверка. Грохот должен был долететь до Англии.

БАХ! Первый же ужасный взрыв прогремел в голове у Полины, убив ее восторг, словно заряд дробы птицу в полете. Она упала с невероятной высоты в ночь, на песок, раздавленная, разбитая. Она закричала от боли и отчаяния. БАХ! Она рыдала, пытаясь освободиться, достичь избавления. БАХ!

— Отпустите меня! Нет! Нет! Оставьте меня!

Но Томас продолжал. БАХ! Он должен был продолжать, продолжать все быстрее, все дальше, до конца, он не мог остановиться. БАХ! БАХ! Треск взрывов в небе, вспышки красок. Свист, крики толпы. БАХ! Томас продолжал, все быстрее и быстрее, давя на нее бедрами, руками, всем телом. БАХ! Тысячи взрывов! Красных! Голубых! Серия разноцветных взрывов! Наконец он завершил и распластался на ней всей своей тяжестью. Она оттолкнула его обеими руками, поползла, скользнула, освободилась, сбросив его с себя. Полина задыхалась, ее слезы смешались с песком, забились рот. Вскочив, она побежала.

Томас вернулся в Париж в полночь, специальным поездом, праздничным поездом, простояв всю дорогу между сиденьями с детьми и их родителями. Дети спали или плакали на коленях у измотанных до предела мамаш, и потные от жары отцы храпели рядом в запахах водорослей и жареной картошки. Праздник... Море...

* * *

Элен была крайне разочарована, когда Томас рассказал, что не встречался ни с посланцем, ни с финансовым королем. Он не виделся даже со своим кузеном, уехавшим смотреть на полеты первых самолетов. Самолет Латама упал в воду, но Блерио удалось долететь до Англии. Это было величайшее достижение столетия.

— Что ты делал все это время?

Он отсутствовал четыре дня. Для нее прошло сто лет.

— Я купался...

— Купался?... В море?

— Разумеется...

— Ты сошел с ума!.. Неудивительно, что так плохо выглядишь! Ты наверняка простудился! Покажи язык!..

— Мама, послушай!..
— Покажи язык!
— Ну, смотри! Э-э-э-э!
— Он весь белый! Я уверена! Ты ничего не ешь, у тебя провалились глаза... О Боже! Я не должна была отпускать тебя одного! Ты ведь просто большой ребенок!.. Пей чай, пока не остыл!
— Он слишком горячий!
— Пей!..

Через несколько дней к нему вернулся аппетит, и Томас стал выглядеть как обычно. Последний вечер на пляже постепенно превращался в его памяти в фантастическое событие, в котором огни фейерверка, море и плоть смешивались и одновременно взрывались в апогее его страсти. Он изобразил бурю света и воды вокруг себя на стенах голубятни. Звезды падали в море, и его воды огненными волнами вздымались до самого неба. То тут, то там мелькало что-то вроде тела утопленницы, немного, безликого, то ли рыба, то ли сирена... Или это было уносимое ветром облако?

Он вспоминал Полину руками, продолжал ощущать ее своими ладонями, такую мягкую, нежную. Он вспоминал обжигающий огонь внутри ее тела, но это воспоминание не обладало тем же волшебством, что и ее нежность, которую запомнили его руки. Почему она вдруг начала кричать и плакать в такой потрясающий момент? Он не понимал. Это было слишком глупо. Конечно, этот грохот... Огонь в небе, огонь в их телах, слившихся в одно... Она стала плакать!..

Он сердился на нее за испорченный момент. Испорченный так нелепо. Может быть, она была совсем глупой? Возможно, таковы все женщины? И его мать?.. Но это его мать, он не имеет права судить ее... Гризельда? Нет! Гризельда не может быть глупой! Она слишком умна... Потрясающе умна... Но он никогда не смог бы с ней так...

Ему не стоит думать об этом.

Томас сердился на Полину, потому что ее не было с ним. В то же время он чувствовал облегчение. В его жизнь вернулись простота и порядок. Его поездки по городу, возвращение вечером в круглый дом. Леон, животные, разговоры с Шамой, картины... Как замечательно, что теперь ему не нужно придумывать сложные обоснования, чтобы пересекать в полдень весь Париж ради десятиминутной встречи в толпе. К нему вернулась привычка к обедам за угловым столиком в ресторане. Наступила дата 15 августа, когда кто-то дает команду парижанам, сосланным в Трувиль, вернуться в город. Потом наступил сентябрь. Томас не стал посещать Булонский лес. Деревья были обрезаны. Его руки забыли Полину.

Но его юное тело, познакомившееся с женским телом, не могло забыть его. Однажды, сославшись в очередной раз на вечернюю работу в банке, Томас посетил вместе со старшим коллегой, частенько с ухмылкой рассказывавшем ему об этом, «заведение» на улице Годо-де-Моруа, которое тот посещал каждый месяц.

Едва зайдя туда, юноша почувствовал желание уйти. Эти женщины без какой-либо тайны, уставшие от стольких клиентов, не старались ничего скрыть или показать, так как их тело было всего лишь рабочим инструментом; они вызывали у него желание переспать с ними ничуть не больше, чем со швейной машиной или банковской папкой.

Когда коллега исчез на лестнице вслед за полуобнаженной брюнеткой, по толстой заднице которой он не переставал все время похлопывать, Томас направился к выходу. Довольно красивая девушка, несколько полноватая блондинка, попыталась удержать его. Она была в черном с зеленым низким корсетом и в прозрачной рубашке без рукавов, развевавшейся вокруг тела.

Она собрала волосы в островерхий шиньон, наклоненный вперед, чтобы его не нужно было каждый раз восстанавливать заново.

— Ты уходишь, мой дорогой?

Она обхватила Томаса за шею обеими руками. Ее левая грудь выскочила из корсета.

— Да, ухожу, — ответил он.

— Ты такой милашка... Пойдем со мной, тебе понравится...

Ее рисовая пудра отдавала пылью, а волосы — жирным бриллиантином.

— Вы весьма любезны... Извините, но мне пора...

— Надо же, он обращается ко мне на вы, этот чудак!.. Идем же, цыпленок, не бросай меня...

В ее голосе чувствовались печаль и призыв, но они пахли пылью, как и ее кожа. Томас сказал: «Нет, нет...», покачав головой. Девушка с сожалением пожала плечами, ей понравился красивый юноша. Она перестала обнимать его, а уселась на канапе, думая о чем-то своем в ожидании следующего клиента. Ждать, потом подниматься наверх, ложиться в постель, спускаться вниз, ждать, снова подниматься... Хорошо, хоть не нужно было каждый раз восстанавливать прическу и натягивать чулки... Милый юноша... О ком это она? Он уже исчез.

Томас двинулся к Пасси. Теплый вечер, неподвижный воздух... Он не мог избавиться от запаха бриллиантина и пыли. Черная печаль сжимала ему грудь. Женщины и мужчины были тупы и уродливы, их жизнь абсурдной. Зачем работать, крутить педали велосипеда, обедать, жить? Сидеть, есть, спать, вставать... Ждать, когда наступит ночь после дня и день после ночи? А в конце жизни умереть... Почему нужно умирать? И почему нужно жить? Сидеть, есть, спать, вставать, ждать ночь, ждать день... Для чего? Рисовать? Зачем? Срывать со стены, рвать в клочья, уничтожать все бесполезное...

Томас поднялся в голубятню, зажег свечи, разорвал бурю и все, что находилось ниже, порвал все в клочья, свалил обрывки в кучу. Ему хотелось сжечь все это. Но он таким образом сжег бы весь дом. Не стоило устраивать пожар. Он все же оставался рассудительным существом. И он лег спать.

Во вторник получил письмо от Полины. Она прислала его на адрес банка. Девушка хотела видеть его.

* * *

На опустевшую аллею акаций сыпался дождь. Томас вымок, пока ехал на велосипеде. Полина ждала его в фиакре с дремавшей гувернанткой. Он прислонился к фиакру, не слезая с велосипеда. Лицо Полины, смотревшей в окошко, казалось картиной в рамке. Оно было прикрыто вуалью, свисавшей с темной шляпки. Он с трудом различал ее черты. Полина выглядела больной. Показав ему знаком, чтобы приблизился, она немного выглянула из окна. Порыв ветра сорвал с ветки над ее головой красные листья и унес их в дождь. Несколько капель попали на вуаль. Полина говорила очень тихо. Он не сразу понял, о чем говорила, и спросил:

— Что вы хотите?

Она опять показала жестом: «Ближе, еще ближе», и стала шептать ему на ухо. Ей не хотелось привлечь внимание гувернантки, разбудив ее.

Девушка сказала:

— Мне кажется, я беременна...

Перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.

Окончание следует.

Зоя ЛЫСЕНКО

Мюзикл XXI века: бродвейский стандарт на минской сцене

Пять лет назад в Минске возник новый музыкальный театр под названием «Территория мюзикла». О начале его творческого пути и первых успехах уже рассказывалось на страницах данного издания¹. Напомним: административное руководство этим коллективом осуществляет актер и балетмейстер Дмитрий Якубович, а художественное руководство — режиссер Анастасия Гриненко. Эта творческая и семейная пара хорошо известна любителям мюзикла: до создания своего коллектива они успешно проявили себя в Белорусском музыкальном театре, а также как приглашенные постановщики — в театрах России и Литвы.

Само название молодого театра красноречиво говорит о его жанровой направленности. Создатели коллектива изначально ориентировались на то, что среди музыкально-сценических жанров сегодня именно мюзикл является наиболее востребованным, особенно у молодежной аудитории. Ими было четко обозначено и творческое кредо театра: эксперимент в рамках жанра и расширение самих рамок жанра мюзикла. Отмечая, что сегодня во всем мире идет активный поиск новых эстетических концепций и новых выразительных средств в этом жанре, в своей работе они также стремятся к всестороннему исследованию мюзикла и расширению представлений о нем.

И что характерно, «Территория мюзикла» являет собой уникальный для нашей страны пример авторского театра — в его названии имеется интригующий подзаголовок: «Театр Геннадия Гладкова». Именно этот известный российский композитор, на творчестве которого выросло не одно поколение, является идейным вдохновителем и постоянным автором молодого белорусского театра и именно его произведения лежат в основе репертуара данного коллектива.

На сегодняшний день в репертуарной афише театра имеется семь спектаклей на музыку Гладкова: мюзикл-водевиль «Сватовство гусара», мюзикл-оперетта «Собака на сене», мюзикл-мистификация «12 стульев» и другие известные постановки, а также более десяти театрализованных концертных программ, основанных на его музыке. Являясь, по существу, единственным автором, на стилистику произведений которого ориентируется молодой театр, Геннадий Гладков предоставляет ему полную свободу и в определении репертуарной политики, и в сотрудничестве с другими композиторами.

Таким образом, отталкиваясь от своего творческого кредо — эксперимент в рамках жанра и расширение самих рамок жанра мюзикла, — Анастасия Гриненко и Дмитрий Якубович решили взяться за очень сложный проект — осуществить постановку современного американского мюзикла, который олицетворяет собой одно из направлений бродвейской музыкальной культуры. Этому способствовал их предыдущий опыт работы: еще в 2009 году ими была осуществлена постановка музыкального ревю «Привет, Бродвей», премьера которого состоялась на сцене Белгосфилармонии; а в 2012 году — лицензионного мюзикла «Вестсайдская

¹ Лысенко Зоя. «Территория мюзикла»: труппа белорусская, авторы российские // НЕМАН. 2015. №4. С. 156—166.



*Генри (Эрик Абрамович)
и Натали (Полина Добровольская).*

история»¹ на сцене Белорусского музыкального театра. Обе эти постановки были осуществлены при содействии Посольства США в Республике Беларусь.

И вот теперь, уже на базе театра «Территория мюзикла» и снова при содействии Посольства США, Гриненко и Якубович поставили свой очередной лицензионный мюзикл — «Next to normal» («Недалеко от нормы»), премьера которого прошла в марте текущего года. Его авторами являются композитор Том Китт и драматург Брайан Йорки — яркие представители современного направления в американском мюзикле.

Это неординарное произведение, написанное в XXI веке, произвело революцию на Бродвее, расширив привычные рамки жанра, который традиционно считается развлекательным. Рок-мюзиклу «Next to normal» с его современным музыкальным языком (но отнюдь не попсовым) удалось разработать серьезный драматургический материал, подняв при этом тему, являющуюся сложной даже для драматического театра. По существу, это музыкальная драма, в которой говорится о табуированной в американском обществе проблеме, а именно — о психическом здоровье человека и о том, насколько сложным и неоднозначным может оказаться само понятие «норма».

Этот мюзикл, поставленный впервые в Second Stage Theatre в 2008 году и выдержавший более 700 представлений на Бродвее, был назван ведущими американскими критиками одним из лучших шоу за последние 10 лет. Он удостоен трех премий «Тони» — высшей награды США в области музыкального театра, а также престижной Пулитцеровской премии в номинации «Драма» с формулировкой «За расширение возможностей и тематики самого жанра мюзикл».

Нужно подчеркнуть, что «Next to normal», хорошо известный на Западе, в русскоязычном пространстве впервые поставлен именно в Беларуси. И здесь есть свои закономерности. Связующим звеном или своеобразным посредником между бродвейской театральной культурой и белорусским театром «Территория мюзикла» является брат Анастасии Гриненко — Алексей Гриненко, который некогда начинал в Минске свою карьеру как актер музыкального театра, но продолжать ее стал в США, где освоил профессию театрального продюсера и успешно строит карьеру академического ученого, специализируясь на истории и теории мюзикла. Приобретенные в США знания и опыт, а также непосредственное наблюдение за развитием этого жанра на Бродвее, позволяют ему делиться этим творческим багажом с минским театром, который не является для него чужим. Алексей имел отношение и к двум предыдущим постановкам американских мюзиклов, осуществленных Анастасией и Дмитрием, а что касается «Next to normal», то, просмотрев его множество раз на Бродвее и детально изучив, он пришел к выводу, что и минскому театру это произведение окажется по силам и было бы замечательно познакомить с ним белорусскую публику. Понятно, что этой идеей прониклись и руководители «Территории мюзикла».

¹ Лысенко Зоя. Мюзикл в законе. Мировой хит на белорусской сцене // НЁМАН. 2012. № 8. С. 185—192.

Как уже отмечалось, осуществить этот проект им удалось при содействии Посольства США в Республике Беларусь, которое выделило грант на оплату лицензии, а также приобретение инструментов и необходимого технического обеспечения. По условиям контракта с правообладателем — одной из ведущих мировых компаний в области лицензирования мюзиклов Music Theatre International, — театру «Территория мюзикла» предоставлены права на постановку спектакля в авторской режиссерской интерпретации и с оригинальным авторизованным переводом пьесы на русский язык.

Понятно, что переводом занимался Алексей Гриненко, который является также ассоциативным продюсером постановки. Но вместе с ним над русскоязычной версией пьесы работала и Анастасия Гриненко, как режиссер-постановщик, внося в текст свои коррективы (к тому же, у нее есть солидный опыт написания либретто, который пригодился и здесь).

— Нам выделили грант на перевод, который должен был пройти несколько стадий согласования, — рассказывает о нюансах творческой кухни Анастасия. — А что касается непосредственно самой техники перевода, то здесь нужно было учитывать множество нюансов, прежде всего тот, что в русском языке требуется больше слов для передачи текста, написанного на английском; при этом, стараясь точно перенести содержание и смысл, необходимо было одновременно соблюдать ритм и рифму, чтобы переводной текст так же хорошо ложился на музыку, как и оригинальный. Пришлось столкнуться и с еще одним специфическим нюансом: в пьесе встречается много медицинских терминов, которые невозможно просто механически перенести в русскоязычную версию, кроме того, в постановке есть целый музыкальный номер, где сначала озвучивается перечень лекарств, которые прописываются главной героине, а потом — перечень побочных эффектов, и все это нужно было привести в удобочитаемую форму и срифмовать.

Перевод текста и его согласование заняли примерно полгода, — рассказывает далее Анастасия. — Но в целом на всю подготовительную работу ушло три года. Но это не означает, что все три года мы репетировали. Вначале много времени ушло на оформление документов для получения гранта и разрешения на его использование, заключение контракта с правообладателем и на другие договоренности. И только после соблюдения всех формальностей можно было заняться актерским кастингом и поиском музыкантов, способных освоить партитуру этого мюзикла. А непосредственно к репетициям мы приступили в начале текущего года.

Как известно, американский мюзикл имеет определенный стандарт подготовки, и обеспечить его нашему театру также помогли американские партнеры. Например, по приглашению Посольства США в Минск приехал известный бродвейский вокальный коуч Эндрю Берн, который проводил с белорусскими артистами тренинги по освоению ими исполнительской манеры белтинг, характерной для этого жанра (предварительно проведенный актерский кастинг помог отобрать тех молодых исполнителей, которые лучше всего ощущают данную стилистику).

Так же, как и на Бродвее, спектакль должен был идти в живом сопровождении рок-группы, находящейся на сцене вместе с актерами. И театр нашел таких музыкантов — белорусскую рок-группу под управлением бас-гитариста Тихона Золотова, которой также оказалась близка стилистика данного произведения.

Композитор Том Китт в партитуре этого мюзикла сочетает самую разнообразную музыкальную палитру: бродвейскую классику и мелодичный рок, проникновенные соло-баллады и боевики с их молодежным драйвом. При этом музыкальная драматургия произведения отличается художественной целостностью, в ней прослеживается линия сквозного тематического развития, объединяющая ряд развернутых музыкальных сцен. Даже большинство диалогов персонажей идет на музыке. Такое проявление сквозного тематизма говорит о симфоническом мышлении композитора. А звучание электроинструментов в интеграции с живыми, сочными тембрами скрипки и виолончели придает произведению признаки симфо-рока.

В целом эта постановка воспринимается как очень удачный сплав музыки и драмы. Автор пьесы Брайан Йорки сумел сложное содержание воплотить в легкую для восприятия форму, когда жизненный реализм находит свое воплощение в очень выразительных и лаконичных образах. Ни одной лишней мизансцены, ни одной лишней реплики. Текст скомпонован так, что ничего в нем нельзя ни отнять, ни добавить, так как динамика развития сюжета заложена в динамику развития музыкальной драматургии. А это говорит о том, что драматург в своем творчестве неотделим от театра и что при создании произведения он мыслит одновременно и литературными, и театральными-музыкальными категориями.

Сюжет произведения строится на развитии взаимоотношений в семье, где один из ее членов страдает биполярным расстройством — психическим заболеванием, которое характеризуется резкой сменой настроений и перепадами в энергетическом потенциале больного, а также значительными изменениями в его поведении. Показывается, как это отражается на всех, кто постоянно находится рядом с таким человеком. Авторы мюзикла впервые затронули такую нетипичную для этого жанра тему, которую в американском обществе вообще не принято обсуждать. Ведь ради того, чтобы быть востребованным и выглядеть внешне успешным, человек скрывает свои психологические проблемы, которые еще больше усугубляются от постоянных стрессов и темпа жизни в урбанизированном мире.

Итак, в начале спектакля перед зрителями предстает среднестатистическая, внешне вполне благополучная американская семья: архитектор Дэн Гудмэн — серьезный деловой мужчина средних лет, и его жена Диана — привлекательная современная женщина, сообразительная и не лишенная чувства юмора, что особенно проявляется в ее взаимоотношениях с мужем. У супругов есть 16-летняя дочь Натали, у которой каждая минута на счету: она загружена учебной и занятиями в различных секциях, но уверяет мать, что везде успевает и со всеми нагрузками справляется (образец юной американки, стремящейся к успеху за счет собственных усилий).

Проводив мужа на работу, а дочь на занятия, мать семейства, занимаясь домашними делами, не пребывает в одиночестве — она живо общается с сыном, заинтересованно обсуждая все подробности его жизни. Его зовут Габ, и ему скоро исполнится 18 лет. Такой же, как и мать, смывленный и находчивый, к тому же чуткий и отзывчивый... По всему видно, что именно с ним ей по-настоящему тепло и уютно.

В один из дней, выкроив немного времени на отдых, Натали приходит в дом вместе со своим другом Генри — юным романтиком, увлекающимся музыкой. Молодой человек знакомится с родителями девушки. Устраивается небольшое домашнее застолье. Хозяйка ставит на стол торт с восемнадцатью свечами — ведь сегодня у брата Натали день рождения. Генри удивленно спрашивает у девушки: «У тебя есть брат?» — «Он умер еще до моего рождения», — с отрешенным видом отвечает она. Однако мать об этом «не знает»... У нее есть свое, присущее только ей «знание», и в данном случае за столом рядом с дочерью сидит ее сын.

Незримая тень умершего во младенчестве старшего брата преследует Натали с момента ее появления на свет. Надежды отца семейства не оправдались: рождение дочери не избавило его жену от психической травмы, полученной после потери первенца. И девочка росла, хоть и видя рядом с собой мать, но не чувствуя ее привязанности к себе... Не легче приходится и главе семьи, измученному болезнью жены и вынужденному одному тянуть весь груз забот о ней и о дочери. Но как это ни парадоксально, отец и дочь даже между собой никогда не говорят о болезни третьего члена их маленькой семьи и своим поведением как будто стараются убедить друг друга, что у них в доме все о'кей — настолько силен в американском обществе стереотип благополучной семьи. Внешне кажется, что они оба совершенно спокойно воспринимают ежедневные проявления биполярного мироощущения своей жены и матери: ведь она, как и все нормальные женщины, вращается в кругу проблем своей семьи — мужа и дочери, но одновременно с такой же, если не большей, интенсивностью она вращается и в кругу проблем



*Диана Гудмэн — Светлана Мациевская,
доктор — Денис Немцов, Дэн Гудмэн — Дмитрий Якубович.*

своего сына!.. Все эти годы она его растила, воспитывала и теперь очень гордится, что он стал таким замечательным парнем... Но это еще не все: раздвоение сознания Дианы сопровождается периодической сменой настроения — от безудержной активности до мрачной и тяжелой депрессии. Поэтому закономерно в тему семейных взаимоотношений вплетается и деликатная тема лечения такой категории больных, медицинских возможностей и врачебной этики.

Однако, несмотря на откровенно клинический аспект, рассматриваемый в данном произведении, оно не исследует сам феномен клиники, а рассказывает о трудностях жизни рядом с человеком, страдающим психическим расстройством, и проблемах функционирования такой семьи в целом. В спектакле затрагиваются вопросы семейных ценностей, взаимоподдержки и даже жертвенности, а также показывается, каким неоднозначным и размытым может быть само понятие «семья».

Так же, как и на Бродвее, у белорусских постановщиков «Next to normal» был свой медицинский консультант — врач психиатр-нарколог Дмитрий Нарейко, который помогал создать внешне правдивый образ главной героини — объяснял логику и мотивацию поступков таких больных, картину смены их состояния, воздействие на их поведение специальных препаратов и т. д. К тому же и режиссер-постановщик Анастасия Гриненко по своему первому образованию — психолог, и ей самой приходилось контактировать с такими больными во время прохождения практики в Республиканской психиатрической больнице. По словам Анастасии, те знания и собственные наблюдения сейчас ей пригодились как нельзя кстати.

Несмотря на странную, явно не мюзикловую тематику, этот спектакль воспринимается как настоящий мюзикл и не вызывает никаких депрессивных чувств. Более того, в нем немало юмора, правда, иногда с оттенком мрачности, присущего в основном молодым героям. А что касается главной героини — Дианы Гудмэн, то большая часть юмористических замечаний исходит именно от нее. И как ни странно — это вполне здоровый юмор. Все дело в том, что в этот образ изначально не закладывались стереотипные черты психически больной женщины. Более того, из всех персонажей спектакля образ Дианы наиболее многогранный и драматически насыщенный. Так что исполнительница этой роли Светлана Мациевская играет отнюдь не душевнобольную. Для любителей жанра, хорошо знающих эту актрису по спектаклям Музыкального театра и «Территории



Финал спектакля.

мюзикла», было интересно увидеть ее в новом амплуа, где очень сильна драматическая составляющая. Обычно Мациевская выступает в характерных, подчас гротесковых образах, лишенных полутонов и тонких нюансов, а в этом спектакле ее героиня переживает гамму разнообразных и глубоких чувств, обнажая самые потаенные и неведомые свойства человеческой души, создавая при этом благодатную почву для психоанализа.

В непривычном амплуа предстал и Дмитрий Якубович, исполняющий роль Дэна Гудмэна — мужа Дианы. Обычно он выступает в образе героя-любовника или романтического героя, а здесь играет измученного жизненными обстоятельствами отца семейства. Создатели произведения наделили этого персонажа лучшими человеческими качествами: развитым чувством долга, выдержанностью, смирением и прочими положительными чертами, и артисту драматически убедительно удалось их воплотить на сцене. Конечно, это не тот спектакль и не та роль, где Якубович смог бы продемонстрировать свою хореографическую подготовку или поставить танцевальные номера для других исполнителей. В спектакле нет и развернутых массовых музыкальных сцен, присущих мюзиклу. Тем не менее, Якубович создал выразительный пластический рисунок, пронизывающий всю постановку.

Роли представителей младшего поколения в спектакле исполнили молодые артисты минских театров, предварительно прошедшие кастинг. Так, образ живущего в воображении Дианы сына по имени Габ воплотил Артем Пинчук. Эта роль очень своеобразная — нужно играть того, кого видит только мать и не видят другие (находясь при этом рядом с ними на сцене). Конечно, по отношению к матери уверенный в себе Габ проявляет чуткость и отзывчивость, а вот на отца он как будто обижен — ведь тот его просто не замечает... В роли Натали, единственной дочери супругов Гудмэн, предстала Полина Добровольская, очаровав зрителей своей артистической харизмой. Молодой артистке удалось показать внутреннюю силу совсем еще юной девушки, которая с детских лет поняла, что состояться в жизни ей поможет лишь собственная целеустремленность. А вот ее друг Генри в исполнении Эрика Абрамовича выглядит совсем иным — помолодежному малость разболтанным, внешне не признающим авторитеты и не стремящимся к высшим целям, но при этом серьезно увлекающимся музыкой и сыплющим афоризмами, что говорит о его начитанности. А в искренних чувствах к Натали его романтическая душа и вовсе раскрывается нараспашку.

С семьей Гудмэн тесно связан и доктор (вернее, два доктора в исполнении одного артиста). Так авторы показывают стремление супругов найти более компетентного специалиста в этой деликатной сфере медицины, но в конце спектакля сам собой напрашивается вывод, что таковых вряд ли можно найти. И первый доктор, и второй пользуются известными им медицинскими клише, прописывают множество сильнодействующих препаратов, возможно, отличающихся названием, но не своим положительным эффектом. Показываются и жесткие методы современной психиатрии, в частности, применение электрошока (очень сильная сцена спектакля), после чего Диана как будто выздоровела... Да, она действительно вспомнила, что ее сын умер в 8-месячном возрасте, но в попытке забыть его, уже 18-летнего, она впала в очередную фазу психического расстройства.

Неординарные образы обоих докторов (старой и новой генерации) создал любимец публики Денис Немцов, поклонники которого из Музыкального академического театра идут на него и в «Территорию мюзикла». Этот артист умеет свой драматический дар сочетать с отточенным актерским мастерством и мюзикловой фееричностью. А его фирменная фишка — ироничная манера держаться — в этом спектакле оказалась наиболее востребованной, особенно в характеристике молодого доктора, который мнит себя светилом современной психиатрии. О том, что артисту подвластны любые перевоплощения, свидетельствует не только его двойственная роль, но и необыкновенно техничное и по-актерски отточенное изменение состояния одного и того же персонажа: зритель видит, как молодого доктора воспринимает Диана, и одновременно — как он диаметрально противоположно представляет самого себя.

В этом спектакле много психологических тонкостей. И много психологических нюансов, едва касающихся края нашего сознания. Авторы произведения как бы предупреждают, что замалчивание психологических проблем создает благотворную почву для их разрастания. И об этом красноречиво говорит финал спектакля: в тот момент, когда мать начинает осознавать, что ее сын умер, отцу начинает казаться, что он — живой...

Сценография Андрея Меренкова подчеркивает основную идею произведения. В оформлении сцены художник отталкивался от стилистики детских рисунков, по которым можно многое рассказать о взаимоотношениях в семье. Поэтому перед условными конструкциями декораций установлены тоже условные, как будто вырезанные из картона, фигурки всех членов семьи, которые беззаботно улыбаются, делая вид, что все у них о'кей.

В целом сцена оформлена в духе минимализма: двухэтажные металлические конструкции, соединенные лестницами, к тому же свободно передвигающиеся, символизируют собой комнаты дома, а некоторые элементы интерьера или реквизита в нужный момент незаметно появляются и так же незаметно исчезают. Большую роль в дизайне сцены играет и постановка света, способного создавать определенные смыслы. В общем, это такое оформление спектакля, где форма в символической форме выражает содержание.

В заключение хочется отметить, насколько заинтересованно к этой постановке отнеслись американские партнеры. Например, представители Посольства США присутствовали даже на предварительной презентации спектакля для прессы, которая проходила задолго до его сдачи. А в день премьеры перед началом спектакля на сцену поднялся глава американского диппредставительства — Поверенный в делах США в Республике Беларусь Роберт Райли, который очень положительно оценил сам факт совместной работы над этим театральным проектом и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. А на официальном сайте Посольства США был помещен подробный отчет об этом мероприятии.

Фото Анжелики ГРЕКОВИЧ.

С точки зрения рецензента

Свет образного слова



В книге «Я жизнь люблю...» Михаил Клапоцкий объединил под одной обложкой несколько своих поэтических циклов, изданных в разные годы. В связи с этим на основании материала сборника можно проследить поэтическую эволюцию, становление талантливого поэта.

Ранние стихи М. Клапоцкого не лишены недостатков. Поэт находится в поиске своего голоса, еще не научился «держат» классическую форму; страдала и рифма. В этом нет ничего предосудительного: творчество — это путь. Ни один поэт не рождается на свет мастером поэтической формы и художественного образа. Тем не менее,

становление М. Клапоцкого как поэта происходит быстро.

Для лучших образцов поэзии М. Клапоцкого характерно единство формы и содержания: языковые и эмоциональные средства соответствуют замыслу. Его стихам присуща художественная точность — жизненная, эмоциональная, изобразительная. Этим выделяется большинство его стихотворений о природе, о малой родине, интимная лирика.

Важное достоинство М. Клапоцкого — свободная стихия поэтической речи. Посмотрите, как вольно «дышат» стихотворения М. Клапоцкого «Но все же мне ближе...», «Снова осень», «Серебрится поле», «Побелели крыши», «Сад мой пуст — лишь мята», «За плетнем — смородина», «Ночь у реки», «Здравствуй, зимушка-зима» и др.

...Побелели крыши,
Посветлели ели,
Кто-то воздух вышил
Пуховой куделью.
О, лети, снег, смело!
Нет тебе излишка.
Тихо так и бело —
Сердцу передышка.
В сердце только радость,
В сердце только милость,
И такая сладость,
Что век и не снилась...

Большинству стихотворений автора книги присуща целостность, что, несомненно, тоже характеризует М. Клапоцкого как сложившегося поэта. Например, в стихотворении «Вьюга оставила бег» два сквозных мотива — лета и зимы. Особенность композиции стихотворения состоит в том, что эти

мотивы смыкаются в каждой строфе, это и работает на создание единого художественного целого. Помогает оформлению стихотворения как целого и синтаксическая фигура «кольцо» — кстати, излюбленный прием М. Клапоцкого, реализованный им во многих стихах.

Стихи М. Клапоцкого соответствуют и другому важному условию художественности: в них есть оригинальность творческой манеры автора. Подлинный художественный образ неповторим, в нем — отражение уникального видения мира поэта. Сколько «жемчужин», неординарных авторских открытий, органично входящих в ткань поэтического текста, рассыпано в стихах М. Клапоцкого! Это и «снегири — капельки зари», и «дождь-жалейка», и «скороговорка ручья», и пенная морская вода, закипающая «добела» и напоминающая герою о «снежно-белом платице» любимой. Его образы своеобразны, не надуманны, это не «красивости», а живое, идущее от сердца, слово поэта.

Творческая индивидуальность автора проявляется и в отборе тем, ракурсе

их рассмотрения. О чем бы ни писал поэт: о родных местах, о любви, природе, о разных временах года или размышлял о своем месте в мире, его образы обращены не к разуму читателя, а к его чувствам, рассчитаны на глубокое сопереживание и сотворчество.

Поэзия М. Клапоцкого характеризуется богатым и разнообразным словарем: фольклоризмы, местные, диалектные слова, поэтическая лексика, общеупотребительная. Главный герой его лирики — не только влюбленный в жизнь поэт, но и родная земля, Беларусь.

Это небо бирюзовое!
Эти рощи белоликие!
Синь реки, как счастье новое,
Бор с черникой да брусникою...

В сердце все одним вместилось,
Как в слезинке солнце вешнее,
Там в любовь объединилось —
И поется светлой песнею.

Несомненно, у М. Клапоцкого есть и неудачи. Однако без них не обходится ни один сборник ни одного состоявшегося поэта.

Наталья МИХАЛЬЧУК



Литературное побратимство Беларусь—Туркменистан

Встречи, знакомства, открытия

Много лет, десятилетий и даже столетий соединены между собой две культуры, две литературы — белорусская и туркменская. Казалось бы, расстояние между Беларусью и Туркменистаном немалое — тысячи километров, языки настолько далеки, что даже узелков общих нет, но вот — тянет лес к горам, озера к пустыням. Стремятся навстречу разные менталитеты, тянутся друг к другу разные по религии люди. Реальные факты — яркое тому подтверждение. Вспомним хотя бы некоторые из них...

Давайте сперва заглянем в середину XIX столетия. Уроженец села Кривичи Мядельского района на Минщине российский дипломат Александр Ходько, путешествуя по Туркменистану, записал поэтические тексты туркменского поэта Махтумкули и опубликовал их в Англии. Это событие стало началом европейской славы классика туркменской литературы. Александр Ходько также записывает и туркменский эпос «Кёр-оглы», стихи Кеминэ. И публикует их в собственных переводах на английском языке. Работа нашего соотечественника открывает Европе туркменский фольклор, имена неизвестных в то время писателей, знакомит с богатой историей народа. По переводам Ходько готовятся немецкое, русское и французское издания «Кёр-оглы». Переводчицей на французский язык выступает Жорж Санд. Вот какая интересная цепочка тянется: туркмен Махтумкули — белорус Александр Ходько — француженка Жорж Санд...

В XX веке к переводам Махтумкули на белорусский язык обращались народный поэт Беларуси Максим Танк, Алесь Звонак, Владимир Короткевич и другие известные белорусские

литераторы. В Минске увидела свет книга поэзии Махтумкули «Соловей ищет розу». Стихотворение «Судьба туркмена» в переводе В. Короткевича на белорусский язык опубликовано в книге одного стихотворения Махтумкули на языках народов мира, изданной в Ашхабаде. Эта достойная внимания миниатюрная книга в начале 1990-х гг. автором этих строк была передана в Национальный научно-просветительский центр имени Ф. Скорины. А совсем недавно к юбилею классика туркменской поэзии вышел в Минске представительный поэтический том. Переводчик — замечательный белорусский поэт Казимир Камейша. Большую организационную работу по реализации этого проекта провел поэт и переводчик Ганад Чарказян. Об этом много писали в белорусской литературно-художественной периодике.

Начало знакомству читателей Туркменистана с творчеством белорусских писателей положено публикацией рассказа Якуба Коласа на русском языке в газете Закаспийской области «Асхабад». Первые книги народных поэтов Беларуси Купалы и Коласа увидели свет на туркменском языке в 1941 году. Переводчик — А. Ниязов. Широко были отмечены столетние юбилеи Якуба Коласа и Янки Купалы в Туркменистане в 1982 году. Появился ряд новых переводов, были опубликованы статьи о классиках белорусской литературы в газетах и журналах «Совет эдибияты», «Совет Туркменистаны», «Эдибият ве сунгат». Большую работу по пропаганде творчества Янки Купалы вел известный туркменский публицист, литературный критик Какалы Бердыев, возглавлявший в 1980-е годы

редакцию газеты «Эдибият ве сунгат». Не случайно К. Бердыеву посвящена отдельная статья в белорусской энциклопедии «Янка Купала». Помню, с каким душевным волнением, с каким сердечным трепетом держал в руках огромный зеленый том со статьей о нем Какалы Бердыев. Торжественность моменту добавлял и тот факт, что книгу в Ашхабад прислал лично Максим Танк.

Начало связям Беларуси и Туркменистана в области изобразительного искусства положил туркменский художник Назар Иамудский — сын полного Георгиевского кавалера, командира уланского полка, героя Русско-турецкой войны, участника штурма Шипки Анамухамеда Иамудского. Вместе с работами Н. Иамудского «Строительство Закаспийской железной дороги», «В горах Копет-Дага» в истории изобразительного искусства остались картины «Зима в Беларуси», «Беловежская пуша». Белорусский скульптор Виктор Попов (1923, Минск — 1981) является автором памятника Махтумкули в Ашхабаде (1970) и ряда других скульптурных работ в Туркменистане (Ашхабад, Небит-Даг). Ашхабадский и небит-дагский Ленин в скульптурах — работы белоруса Виктора Попова. В Беларуси воевал (под Витебском) народный художник СССР и Туркменистана, Герой Социалистического Труда Изат Клычев.

Особая строка в истории белорусско-туркменских связей — научная судьба А. П. Поцелуевского. К сожалению, нет имени Александра Петровича Поцелуевского в «Белорусской Энциклопедии». Впрочем, энциклопедисты могут и поспорить. Поцелуевский, хотя и родился в Витебской губернии, все равно, дескать, «не наш». Родина ученого, языковеда, литератора, фольклориста — село Букмуйже бывшего Режицкого уезда Витебской губернии (ныне находится в пределах Латвии). (Цитирую по автобиографии профессора, полученной от его сына Евгения Александровича несколько лет назад.) Нельзя не добавить, что родился «...в семье учителя. По национальности — белорус». Спорить в данном случае — дело пустое и ненужное. Со временем в энциклопедиях место Поцелуевскому

найдется, и книгу о нем, безусловно, напишут. Жизнь Александра Петровича, на первый взгляд, лишенная каких-либо особых сюжетов, того стоит.

В чем же миссионерство Александра Поцелуевского? Приезду в Ашхабад (в то время, кстати, столица Закаспийского края называлась Полторацк) предшествовали витебские годы парня из латышской Букмуйже. Какие бы материальные трудности ни стояли перед отцом мальчика, сельским учителем, отец отправляет его в Витебскую классическую гимназию. В 1914 г. — новая образовательная ступенька: Александр поступает в московский Лазаревский институт восточных языков. Цитирую автобиографию ученого: «Во время пребывания в Лазаревском институте параллельно занимался французским языком на курсах при обществе «Альянс Франсэз» и английским на курсах «Общество сближения России с Англией». Основная специальность — лингвист-тюрколог». Что ни говори, старые (понимай — настоящие) интеллигенты... Расшифровать на предмет знания восточных языков самохарактеристику «лингвист-тюрколог» помогают страницы научной биографии: из института выпускник выходит, «получив солидную подготовку по турецкому, персидскому и арабскому языкам». Забегая вперед, заглянем в листок по учету кадров, заполненный Поцелуевским уже в зрелые годы. В ответе на вопрос, какими иностранными и народов СССР языками владеет: «...только читаю — без словаря и со словарем — немецкий, итальянский, польский, латинский, арабский, анатолийско-турецкий и некоторые другие: белорусский, латышский, азербайджанский, крымско-татарский, узбекский, таджикский и нек. др.; хорошо — французский, английский, персидский (фарси), русский, туркменский».

С декабря 1918 г. до июня 1922 г. Александр Петрович преподает английский и французский языки в Витебском отделении Московского археологического института. Затем еще год работает лектором и преподавателем на курсах Витебского губернского отдела народного образования. Но — Восток, языки великих персидских поэтов... А еще близкая память об уроках, кото-

рые дали ученые, наставники Лазаревского института. Наверно, и во время учебы Александр знал, что к изучению туркменского языка сделаны только первые, далеко не совершенные подходы. В 1921 г. Витебское отделение Московского археологического института отправляет Поцелуевского в командировку в Ташкент. Александр Петрович работает лектором персидского языка на Военных курсах востоковедения, знакомится с деятельностью Туркестанского Восточного института. На улицах Ташкента жадно ловит речь местных жителей, пробует говорить на узбекском.

А в октябре 1923 г. получает приглашение Службы образования Средне-азиатской железной дороги в Ашхабад на должность инструктора-методиста. Молодому человеку 29 лет. Он еще не знает, что жить ему осталось всего четверть века. Но твердо знает, что нужно делать. Преподавателей иностранных языков в те годы катастрофически не хватает. Александр Петрович преподает английский, французский, персидский, а еще и туркменский, который и сам только начал осваивать, — в железнодорожной школе 2-й ступени им. К. Д. Ушинского, школе 2-й ступени им. Н. А. Некрасова, школе имени А. В. Луначарского, в персидской школе. А также на пехотных командирских курсах и курсах коммерческих знаний. Кажется, что Поцелуевский работает по 24 часа в сутки. А у него, как и у всех, — семья. И четверо детей. Из Витебска приезжает старый и больной отец. Но языки — страсть, постижение их — главное жизненное предназначение. И таким интересным, сочным кажется незнакомый прежде туркменский язык... Правда, почти нет литературы по его изучению.

Вспоминается Самойлович, профессор Лазаревского института. Еще студентом он подготовил диплом «Опыт лингвистического исследования текинского наречия туркменского диалекта», куда включил и краткий текинско-русский словарь. Тогда работу высоко оценили, наградили молодого ученого золотой медалью Санкт-Петербургского университета. Но то был 1903 год... Позже Самойлович

хотя и принимал участие в диалектологических экспедициях в Туркменистане, но проблемами туркменского языка близко не занимался...

С институтских времен Александр усвоил многое от своего учителя. Поцелуевский во всем пытается разобраться сам. Ходит по рынкам, ездит в близкие и далекие аулы, привлекает в экспедиции коллег по Туркменкульту, куда его пригласили работать. Записывает устную речь, отслеживает диалекты, выбирает в них слова, типичные для нескольких туркменских племен. Из года в год по два-три месяца проводит ученый в самых глухих районах Каракумов. 1927 г. — экспедиция к ёмудам и гакленам. 1928 г. — к племени анаули. 1929 г. — к эрсаринцам. 1930 г. — к салырам и сарыкам. В декабре того же 1930 г. — к племени нахурли... К этому племени в аул Нахур Поцелуевский еще вернется во время Великой Отечественной...

Московский журналист Николай Головкин (по рождению ашхабадец), узнав о моем интересе к Поцелуевскому, подсказал: «Моя мама участвовала в той экспедиции в Нахур...» Звоню в Ашхабад. Доктор филологических наук Евгения Николаевна Ершова давно уже на пенсии, но голос в трубке — бодрый, молодой:

— Тогда я была студенткой пединститута, в котором Александр Петрович заведовал кафедрой туркменского языка и общего языкознания. Что удивляло в нем, так это исключительная работоспособность. Правда, в молодые годы мы относились к этому без надлежащего пиетета. Казалось, что все еще впереди и времени, чтобы в науке горы свернуть, у нас достаточно. А когда записывали диалекты, фольклор в Нахури, профессор удивлял тем, что разговаривал с дехканами на равных. Как будто много лет прожил в ауле именно среди дехкан племени нахурли...

Но вернемся в 1920-е... Поцелуевский вникает во все вопросы развития, или правильнее, становления туркменского языка. В августе 1926 г. выступает в газете «Туркменская искра» со статьей «Реформа туркменского алфавита». Одна за другой выходят научные и научно-популярные статьи, книги ученого. Уже в 1929 г.

издается его учебник «Руководство для изучения туркменского языка» (в качестве дополнения — «Краткий туркменский словарь»). Еще через несколько лет самостоятельно готовит «Проект реформы орфографии туркменского литературного языка».

...Собирая по крупицам информацию об ученом, я разговаривал, переписывался с самыми разными людьми. В Москве имя Поцелуевского хорошо известно в институте языкознания Российской Академии наук, в институте стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, в институте Востоковедения... Писал я в Ашхабад, где и сам жил, работал во второй половине 1980-х... Писал знакомым литераторам, ученым, а в душе укорял себя, что тогда «пропустил» Поцелуевского. Искал ашхабадские следы наших земляков... Но из всех белорусов фигура Поцелуевского для Туркменистана — масштаба самого крупного. И гибель его во время землетрясения 1948 г. — потеря невозполнимая.

Тогда, октябрьской ночью 1948 г., погиб и личный архив ученого. За 25 лет напряженного труда по «туркменскому языковому строительству» Александр Петрович успел издать почти 20 книг. Тем самым создал научный фундамент для поисков нескольких поколений тюркологов. В начале нынешнего века в Ашхабаде проанализировали события и факты предыдущего века, назвали туркменистанцев, чьи имена стоило вписать в историю золотыми буквами. И Поцелуевский — в их числе.

— А что касается архива отца, — говорит сын ученого, — можно только предполагать, над какими проблемами он работал последние годы. Определенные ориентиры дает список научных работ, составленный отцом в 1948 г., в котором вместе с другими значатся работы, подготовленные к печати, но оставшиеся неопубликованными. А это десять очерков о диалектах племен, общим объемом более 300 машинописных страниц, примерно такая же по объему работа «Морфология туркменского языка в научном освещении (синтаксические формы)». В списке — «Сборник женских песен» на 10 авторских листах, «Руководство к изучению персидского языка», «Мате-

риалы для составления русско-персидского словаря». Колоссальный труд!

После землетрясения 1948 г. Ашхабад отстроили сравнительно быстро. Помощь пришла и из Беларуси, хотя на всей нашей стране еще лежала печать военного лихолетья... А вот исчезнувшие в страшную октябрьскую ночь диалектные сборы Поцелуевского восстанавливать пришлось десятилетиями. Но время не стоит на месте — и научные находки нашего земляка, его гипотезы и убеждения развиваются в трудах учеников Александра Петровича. Многие из них на ниве туркменского языкознания стали кандидатами и докторами наук. Такую вот школу на века построил на родине Махтумкули белорус Александр Поцелуевский.

...В годы Великой Отечественной войны газета Западного, а затем 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда» (нынешняя «Белорусская военная газета») выходила и на туркменском языке. В Ашхабаде во второй половине 1980-х гг. автору этих строк довелось встречаться с заместителем главного редактора «Гызыл эсгер хаыкаты» (так называлась «Красноармейская правда» на туркменском языке) Анакули Мамедкулиевым. И хотя по исторической хронологии считается, что газета «Гызыл эсгер хаыкаты» существовала с ноября 1942 г. по июль 1945 г., хотелось бы привести следующее свидетельство политрука Анамурада Ананурова (впервые опубликовано в его книге «Из фронтовых тетрадей», изданной в Ашхабаде в 1972 г.): «Честь организации и издания фронтовой газеты выпала на нашу долю. Первый номер нашей газеты «Гызыл эсгер хаыкаты» вышел 31 декабря 1943 г., а последний — 25 мая 1944 г. Всего за это время мы выпустили около 90 номеров газеты и 30 листовок. К концу октября 1943 г. редакция газеты состояла из двух человек: с начала организации со мной работал старший лейтенант А. Мамедкулиев... С первого ноября 1943 г. добавился еще один работник — старший лейтенант А. Д. Анабаев. В марте 1944 г. пришли еще двое: старший лейтенант Т. Курбанов и старший сержант С. Джумасахатов. Кроме Джумасахатова, который работал корректором, все

сотрудники редакции имели солидный опыт газетной работы».

Только в одном номере туркменской газеты «Гызыл эсгер хаыкаты» (3-й Белорусский фронт) этой теме были посвящены заметки сержанта А. Лыгалина «Радист Жариков», корреспонденция журналиста — казаха Г. Абишева про солдата-туркмена «Аймамед Егенджеев». Рядовой Федюнов рассказал в газете о героическом подвиге украинского парня М. Омеченко. В номере были опубликованы стихи туркменского поэта Р. Сеидова «Письмо матери». Перу капитана А. Анурова принадлежит статья «Дружба народов — основа силы и могущества СССР». Под рубрикой «Письма на фронт» национальные военные газеты публиковали разнообразные материалы о лучших людях дружной семьи народов СССР, о выполнении производственных программ, о жизни колхозов, фабрик и заводов, о достижениях науки и техники...

Работу журналистов редакции туркменской «Красноармейской правды» усложняло то, что читатели национального издания были разбросаны по корпусам, дивизиям, полкам на разных участках фронта. Но все же журналисты-туркмены отыскивали земляков и писали о них. Особенно настойчивым везде и во всем был Анакули Мамедкулиев. Другие сотрудники тоже старались. Результат — содержательные, насыщенные информацией, грамотно оформленные номера газеты.

Вот что пишет в своих воспоминаниях А. Анануров: «Мы каждый месяц планировали работу газеты. У меня сохранился, в частности, план работы редакции на март 1944 г. В нем было предусмотрено выпустить восемь номеров, опубликовать в них четыре передовые статьи. Определялись также главные тематические направления: 1. Дисциплина, порядок, организованность; 2. Хорошо знать автоматическое оружие; 3. Беседа-чтение — основная форма агитационной работы среди бойцов нерусской национальности; 4. «Бить врага по-гвардейски». Кроме того, в плане имелись такие рубрики: а) в помощь агитатору; б) письма о воинском воспитании; в) в помощь сержанту; г) оперативные материалы;

д) обзор военных действий на фронтах Отечественной войны; е) в Туркменистане; ж) за рубежом; з) вопросы быта; и) комсомол. Этот план дает пусть неполное, но достаточное представление о проблематике выступлений газеты». И далее: «С 31 января 1943 года по 20 мая 1944 года было выпущено 78 (как видите, в воспоминаниях — разночтение: две цифры приводит А. Анануров: 78 и «около 90». — А. К.) номеров газеты. В 1943 году — 57 номеров... в 1944 21 номер... За это время опубликовано материалов о боевых эпизодах — 303, из них о воинах-туркменах — 69, официальных материалов — 147, пропагандистских — 63, литературных — 30 и др. 52 материала из них получено от бойцов-туркменов».

Во время Великой Отечественной войны в Ашхабаде отдельным изданием увидела свет поэма фронтового журналиста Анакули Мамедкулиева, посвященная белорусскому патриоту, руководителю подпольной организации Константину Заслонову. Беларусь от немецко-фашистских захватчиков освобождали туркменские поэты Чары Ашыров (в составе войск 3-го Белорусского фронта), Рухи Алиев. Тема освобождения Беларуси нашла отражение в их творчестве. Стихи Р. Алиева, Ч. Аширова о трагическом и героическом того времени опубликованы и в переводе на белорусский язык в книге «И вспомним былые походы» (Минск, 1990).

В годы войны в окрестностях Ашхабада служил будущий белорусский прозаик и поэт Аркадь Мартинович. Об этом он рассказал в романе «Не забывай следов своих». Через год в Туркмении побывает его сын — поэт Павел Мартинович, который позже напишет цикл стихотворений о Туркмении и включит его в сборник «Время янтаря».

Во второй половине 1940-х гг. в Ашхабаде в семье своей родной сестры оперной певицы Ольги Микулич-Сабуровой (погибла во время ашхабадского землетрясения) живет и работает известный белорусский писатель Борис Микулич. Вторая часть его «Повести о себе» (опубликована в журнале «Нёман») посвящена ашхабадскому периоду.

Добрим другом белорусской литературы в Туркменистане был публицист, литературовед, переводчик Какалы Бердыев. Я очень опечалился, когда сперва Агагельды Аланазаров, а затем Атаджан Таган сообщили мне, что он ушел из жизни. Кажется, совсем недавно приходили от него письма... Вот и это, на бланке редакции журнала «Совет эдебияты» («Советская литература») от 22 мая 1990 г. лежит сейчас перед глазами: «Саша, добрый день! Письмо твое, написанное 12 марта, получил только что — 20 мая. Рад, что ты возвращаешься из далекой и такой долгой командировки. Я не знаю, получил ли ты гонорар за статью о Кериме Курбаннепесове, но она была опубликована в прошлом году в 10-м номере. У нас в редакции остались только один номер в подшивке. Поэтому я не могу выслать журнал, просто не нашел.

Высылаю свою книгу очерков, что вышла в Москве. Пишу мало. За пять лет построил себе в родном ауле дачу. Приезжай. Теперь немного освободился. Будем писать сельские очерки.

Журнал действует. Коллектив почти тот же, дружный. Всегда рад встрече.

С братским приветом, Какалы Бердыев. 22 мая 1990 г. г. Ашхабад».

Тогда, в 1990-м, я возвращался с Кубы в родную Беларусь. Мысли были и о Туркменистане, который любил, с которым породнился, видимо, навсегда. В 1988 г. умер народный поэт Туркменистана Керим Курбаннепесов. Звезде, солнышку восточной поэзии и посвящена была моя статья. О нем пишет в своем письме и Какалы-ага. В то время он работал в журнале «Совет эдебияты».

Рядом с Какалы Бердыевым в журнале «Совет эдебияты» поисками лучших художественных произведений занимались его друзья-единомышленники: главный редактор — известный поэт Байрам Джутдзиев, заместитель главного редактора — прозаик Нарклыч Ходжагельдыев, в одном из отделов — Аналы Бердыев. Последний из названных — родной брат Какалы, переводчик Янки Купалы. А Нарклыч Ходжагельдыев перевел на туркменский язык один из романов Ивана Чигринова.

Имелась у Какалы еще одна ниточка, которая связывала его с Беларусью. В 1959-м или в 1960 г. в Ашхабад приехал Алесь Адамович. Вместе с Какалы они путешествовали по Туркменистану, познакомились со строительством Каракумского канала. Как результат — появились совместные публикации в туркменском журнале «Совет эдебияты», белорусском «Полымя», московском «Дружба народов». В «Полымі» очерк Алеся Адамовича и Какалы Бердыева назывался — «Зеленое — цвет счастья».

Читаем в мартовском номере «Полымі» за 1961 г.: «Ашхабад, черные пески», Туркмения»...

Для одного из нас, авторов, — это что-то книжное. Для другого — край, где он родился, вырос, где для него началась жизнь:

«Пустыня! Она и с самолета выглядит не менее величественной. Пятнисто-желтая, в оспинах белых солончаков и такыров, с прерывистыми изгибами высохших рек, напоминающих арабские письмена. Невольно думаешь: каким огромным должно быть то, что смогло бы, не говоря уж победить, но хотя бы ограничить власть этого мертвого океана.

Стоит только ступить на туркменскую землю, как сразу чувствуешь «присутствие» Каракумского канала, хотя до него несколько сот километров. Летят к каналу птицы. И мысли стремятся туда...»

Широким стал разлив воды, направленный в пустыню Каракумским каналом, от которого идут маленькие канальчики. Вода должна работать, делать землю плодородной.

В очерке Алеся Адамовича и Какалы Бердыева — и встреча с туркменским поэтом Ата Салихом: «...Возвращаясь от Бешимова в Мари, мы побывали еще у одного человека, что так же твердо и просто идет по жизни. А человек этот слепой. И все же он лучше многих зрячих увидел в свое время правильную дорогу в жизни и других повел за собой. И если сегодня туркмен совсем не тот человек, которого переманивали в Афганистан басмачи, пугая тем, что колхоз — это общие жены, если сегодня гостей из Пакистана, Индии, Афганистана впечатляют не

только масштабы строительства, но и то, какие здесь люди, то в этом заслуга и народного поэта Ата Салиха...»

У Ата Салиха есть лирическая поэма «Слово от чистого сердца». Также и Алесь Адамович, и Какалы Бердыев о трудолюбивых строителях Каракумского канала писали от чистого сердца, с любовью к людям. Эта любовь, эта открытость руководили и Какалы Бердыевым, когда он рассказывал туркменским читателям про Янку Купалу и белорусскую литературу.

За это наша белорусская благодарность светлой памяти поэту...

В послевоенные годы началась активная работа по переводу туркменской литературы на белорусский язык и белорусской литературы на туркменский. В Беларуси увидели свет книги Берды Кербабаява (дважды!), Каюма Тангрикулиева (две книги стихов), Агагельды Аланазарова (книги разных лет, в том числе его знаменитая «Веселая азбука» в недавнем переводе Виктора Гордея), Курбана Чалиева, Нури Байрамова, Бабанияза Каюмова и других авторов. В Беларусь в разные годы приезжали поэты и прозаики Каюм Тангрикулиев, Газель Шакулиева, Пирнепес Аvezлиев, Какабай Курбанмурадов и др., что получило отражение в их творчестве. Издана в Минске антология туркменской детской литературы на белорусском языке — в серии «Библиотека детской литературы народов СССР». Большая переводческая работа народных поэтов Туркменистана Керима Курбаннепесова (в его авторской антологии «Букет дружбы» опубликованы переводы стихов Максима Танка, Пимена Панченко, Нила Гилевича), и Каюма Тангрикулиева (в авторской антологии «Веселая радуга» опубликованы стихи Евдокии Лось, Ивана Муравейки, Эди Огнецвет, Василя Витки). Вышел «белорусский» номер детского журнала «Корпе» («Дитя») на белорусском и русском языках, антология белорусской детской литературы «Ачык Асма» («Ясное небо») в Ашхабадском издательстве «Магариф» (1989). Рад, что мне довелось выступить автором комментариев к этой книге. А рукопись детской антологии привез в 1987 г. в Ашхабад белорусский поэт Алесь Емельянов. Тогда он встретился

с Касымом Нурбадовым, Амандурды Джанмурадовым, Курбаном Чалиевым, Дангатаром Бердыевым. Помню, как гостеприимно встречал нас известный детский писатель Курбан Алиев, работавший в то время главным редактором издательства «Туркменистан». Курбан Чалиев рассказал тогда о своем знакомстве с белорусской поэтессой Любовью Филимоновой (она и перевела на белорусский язык книгу его стихов), о встрече с директором издательства «Юность» Валентином Лукшей.

В Туркменистане увидели свет отдельные книги белорусских поэтов и прозаиков: Максима Танка, Ивана Чигринова, Валентина Лукши и др. Переведены на туркменский язык лирические миниатюры Янки Брыля, рассказы Алеся Жука, Василя Ткачева, стихи Пимена Панченко, Миколы Чернявского, Раисы Боровиковой, Артура Вольского, произведения других авторов. Особая страница истории — работа в Туркменистане писателей и журналистов — уроженцев Беларуси (писатель-документалист Николай Калининвич, поэт, главный редактор газеты «Ташаузская правда» Михась Карпенко, прозаик Василь Ткачев, публицист, главный редактор «Туркменской искры» Василь Слушник).

Николай Калининвич написал книгу о войне-туркменистанце Герое Советского Союза Иване Васильевиче Богданове, который освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и получил высокое звание за проявленный в боях за Бобруйск героизм, — «Возвращение рассветной рани» (Ашхабад, 1987), ряд других книг о Туркменистане: «Не разрывается земная связь», «Имя мое — Свобода»...

Среди героев его публикаций — белорусы Сергей Малибожка, Борис Тузин, оставившие свой след в истории Туркменистана. Выступал в газетах и журналах «Ашхабад», «Совет эдебияты», «Эдебият ве сунгат» наш земляк не только под своей фамилией, но и под псевдонимами Цянский, Каменогорский и др. Книга кандидата исторических наук Николая Калининвича «Полесские дни Александра Блока» (Минск, 1986) фактически была написана и отредактирована, когда бело-

русский исследователь жил и работал в Ашхабаде (в 1980—1984 гг.). Уже тогда в сознании Николая Калинковича зрели замыслы книг о белорусском периоде жизни Александра Грибоедова, Бронислава Тарашкевича. Характерная деталь: именно в Туркменистане белорусов Николая Калинковича и Михаила Карпенко приняли в Союз писателей СССР. Жаль, что очень рано ушел из жизни Николай Калинкович — настоящий полпред белорусской культуры в Туркменистане. Погиб, когда возраст его близился к сорока годам.

Нет в живых и поэта Михася Карпенко, заслуженного деятеля культуры Туркменской ССР, многолетнего главного редактора областной газеты «Ташаузская правда». Последние годы своей жизни он провел в Беларуси, в Могилевской области, в родном ему Хотимском районе. Давайте обратимся подробнее к творческой и жизненной биографии этого человека...

Недавно, на пленуме Союза писателей Беларуси среди других инициатив были озвучены предложения по увековечению памяти писателей. Что ж, казалось бы, ничего плохого в этом нет. Хотя, как кажется лично мне, резонным является замечание руководителя творческого союза Николая Чергинца о том, что установка мемориальных досок, придание названий улицам, другие мемориальные инициативы встречаются с препонами законодательного, административного характера. И подумалось тогда, на пленуме, еще и вот о чем. У писателей имеется немалый ресурс для сохранения памяти о предшественниках: надо чаще вспоминать их в печати. И в литературно-художественных изданиях, и в республиканских и местных газетах.

Умер несколько лет назад могилевский поэт Михась Карпенко (уточним: 15 марта 2006 г.). Родился он 11 июля 1930 г. в хотимской деревне Макасимовка. Выйдя на пенсию, жил также на Хотимщине, в деревне Чернявка. Исполнилось и 80 лет со дня рождения. А между тем — интересная судьба. Нет, к сожалению, его биографии ни в шеститомнике «Белорусские писатели», ни в «Энциклопедии литературы и искусства Беларуси», ни в «Белорусской Энциклопедии». Не заслу-

жил, получается. Может быть, скажут о Карпенко в «Культуре Беларуси»?.. Почему я вспоминаю о необходимости энциклопедического внимания к писательским судьбам? Да хотя бы потому, что многие биографии стираются, исчезают в небытие. А позже нужны едва ли не титанические усилия, чтобы вернуть память о наших соотечественниках. Вот сейчас доктор филологических наук Адам Мальдис с группой инициативных исследователей подготовил уникальный справочник о белорусах и уроженцах Беларуси в мире. Понятно, что не все земляки вошли туда. Информация о многих собирается сейчас по крупицам. Так что стоило бы записывать воспоминания о близких к нам по времени соотечественниках, дабы осталось что-то в национальной исторической памяти...

Судьба сложная. Последняя книга поэта увидела свет в Минске — в 2001 г. Название — «Отцовское поле». Под общей обложкой — стихи (их 16) и поэма, которая дала название всей книге. Поэма, в которой Михаил Федотович поведал историю своего родного селения в годы коллективизации, в Великую Отечественную, рассказал о судьбе своего отца. Писал по-русски. А начинал на белорусском языке... Но так распорядилась жизнь, что в литературу, в поэзию он убежал от журналистики, которой занимался в Туркменистане.

...После семилетки Михась Карпенко поступил в Гродненское культпросветучилище. Здесь впервые и выступил в печати — в областной газете «Гродненская правда». С поддержкой знаменитого Михася Василька, о котором всегда вспоминал только добрым словом. Закончив училище, связал судьбу с журналистикой. Работал в «Могилевской правде», «Пионере Беларуси». Из тех 1950—1960-х — знакомство, добрые отношения с Адамом Мальдисом, Максимом Танком. В 1964 г. Михася Федотовича после окончания Центральной (с 1969 г. — Высшей комсомольской) школы при ЦК ВЛКСМ направили в Туркменистан. Сперва работал в Красноводске. Стал главным редактором газеты. И не мог не писать стихи. Но уже по-русски...

Появились новые друзья. Тогда из журналистики в русскую литературу Туркменистана шли Валентин Рыбин, Василь Шаталов, Юрий Рябинин, Николай Золотарев... Начал активно публиковаться в русскоязычной периодике Ашхабада. Михась Федотович к 1991 г. успел издать едва ли не десяток поэтических книг. И не только в Ашхабаде, но и в Нукусе (столица автономного Каракалпакстана — Нукус находится рядом с Ташаузом, где Карпенко с 1971 г. редактировал областную газету «Ташаузская правда»). Помню названия некоторых его книг: «Красный колос», «Моя кочующая юрта», «Вишенка», «Песня дутара»...

Я познакомился с Карпенко в середине 1980-х, когда приехал из Львова (закончив отделение журналистики Львовского высшего военно-политического училища) по распределению в Ашхабад. Про Михася Федотовича знали все ашхабадские белорусы. Ездили к нему в Ташауз, встречались в Ашхабаде. Карпенко для всех находил время. Помогал как мог. Журналистов, литераторов публиковал в «Ташаузской правде». А это — гонорары, возможность заработать какую-то копейку, что для творческих людей всегда было актуально. Помню, с каким уважением рассказывал о Михасе Карпенко сотрудник журнала «Ашхабад» Николай Золотарев.

В связи с 60-летием известного в Туркменистане журналиста отметили званием заслуженного работника культуры республики. А в голове мысли были об одном: вернуться домой, в Беларусь. Почти 40 лет отдав Туркменистану, он оставался сыном родной Хотимщины. Поэтому и дом купил в Чернявке. Но возвращение было непростым... Об этом свидетельствует одно из писем Михася Федотовича, которое он адресовал мне 8 июля 1997 года. В письме — и напряжение первых постсоветских лет, и мышление того времени...

«Дорогой Алесь, добрый день!

Только что отдышался и пришел в себя от туркменской жары. И нервных переживаний. Решил написать вам.

В Туркмении я прожил полгода. Поехали мы с женой перед Новым годом. Ехали из Москвы поездом через Ташкент, потому что поезд в Туркме-

нию давно отменили. В Ташкенте пересели на каракалпакский поезд и доехали до Ташауза. Это «удовольствие» потребовало семь дней.

Сразу после приезда отправился получать мою пенсию. Но мне ее не выдали. Обещали со дня на день. Волокита тянулась четыре месяца. В Министерстве соцобеспечения сделали вывод, будто я получал пенсию в Хотимском райсобесе, что меня сильно унизило и обидело. В Ашхабаде стал за меня хлопотать Василь Шаталов (писатель). Заместитель министра Оразалиев сказал Василию, что на Карпенко «готовят криминал». Из Ашхабада сделали запрос в Хотимский райсобес. И только после того, как пришло письмо с ответом, что у меня нет даже прописки, что я не являюсь гражданином Беларуси, никакой пенсии не получал, — пенсию мне за два года выдали. Инфляция ее почти всю и съела. На эти деньги я смог купить только билет на самолет от Ашхабада до Москвы.

Пенсионное дело в Ашхабаде мне на руки не выдали, а выдали справки для предъявления по месту постоянного проживания, Хотимскому райсобесу. Волокита и здесь затянулась. Посылаются запросы в Ашхабад, но оттуда ответы не поступают. Вот как плохо быть персональным пенсионером...

Кстати, не учтут ли в Хотимске при назначении мне пенсии, что я являюсь заслуженным работником культуры Туркменистана? Мне кажется, что нет.

Несколько раз ездил в Хотимск по поводу прописки. Потребовалась целая кипа бумаг. Собираю. Хорошо, что есть открепительные талоны из Ташауза. Затем надо получить белорусское гражданство. Вопрос будет вынесен на сессию райсовета. Но, надеюсь, все одолею. И гражданство получу, и когда-то пенсию дадут.

Контейнер с вещами из Ташауза прибыл. Правда, много вещей поломалось, но их можно будет подремонтировать.

Как видите, крови мне попортить в Туркмении пришлось много. Возненавидел многих чиновников в том далеком крае. Спасибо друзьям и товарищам из бывших сотрудников, которые в трудные дни поддерживали меня морально и материально...»

Прерву цитирование, замечу, что еще с партийных времен Михась Федотович был хорошо знаком с Сапармурадом Ниязовым. Как и прежде, относился к нему с уважением. Однако из-за скромности, понимания, что в 1990-е годы дистанция между рядовым пенсионером и президентом Туркменистана оказалась совсем другой, к Сапармураду Ниязову обращаться не стал.

Читаем дальше письмо нашего земляка: «Из русских писателей в Ашхабаде остался Василий Шаталов. Все выехали в Россию. Мой любимый поэт и друг Вадим Зубарев нелепо погиб. Попал под машину, переходя дорогу. Нес буханку хлеба жене в больницу.

Провожал меня аэропорту Василий Шаталов. Обнялись и простились навсегда.

В Чернявке у меня все по-прежнему, как было, так и осталось. Правда, председатель колхоза выдал воз дров, и это меня очень обрадовало.

Посылал я заявление на имя Василия Зуенка, чтобы взяли меня на учет в СП. Думаю, что удовлетворят просьбу в Минске.

Пока все. Я вам надоел своим плачем. Простите...»

Да нет, Михась Федотович, ваши письма были как добрые весточки. Правда, с грустным содержанием. Не всегда была возможность помочь поэту, журналисту. Спасибо «Звезде» и «Народной газете», которые тогда, в 1990-е, в начале 2000-х, дали материалы о разных жизненных перипетиях, сложностях в судьбе заслуженного сына своей Родины. Кстати (об этом свидетельствует и организатор литературной жизни на Могилевщине Владимир Дуктов), после выступления «Звезды» Михася Карпенко поставили на учет в Могилевское областное отделение Союза писателей Беларуси. Вот что писал тогда Михась Федотович Владимиру Дуктову: «... Ваше письмо меня очень обрадовало. Я думал, мое 70-летие пройдет незамеченным. Но вот нашелся добрый человек в Вашем лице. И я Вам искренне благодарен...»

Где-то (наверно, в Чернявке, где живет сын писателя — Сергей Михайлович) остался архив литератора. Возможно, опубликовано не все. Не помню, чтобы где-то, за исключени-

ем книги «Отцовское поле», Михась Федотович публиковался. Остались, возможно, и письма, переписка, например, с Николаем Калинковичем — русским и белорусским писателем, который тоже часть своей жизни отдал Туркменистану. С Михасем Карпенко встречался в Ташаузе и Москве (на последнем съезде Союза писателей СССР) и наш известный белорусский прозаик и драматург Василий Ткачев (также в 1973 — 1980 гг. — туркменистанец, жил и работал в Ашхабаде). Работали в 1960 — 1990 гг. в туркменской журналистике и другие уроженцы Беларуси. В том числе радиожурналист Владимир Грачев, главный редактор республиканской партийной газеты «Туркменская искра» Василий Слушник, Николай Щербаченя... Многих из этой когорты объединяла с Михасем Федотовичем искренняя дружба. Почему бы не вспомнить об этом, а соответственно, и о поэте и добром человеке отдельной книгой, почему бы не переиздать его произведения?.. Может, поучаствует в этом деле и Могилевское областное отделение Союза писателей Беларуси?.. Или — Союз писателей Беларуси?.. Кстати, в такой сборник можно было включить и эпистолярный Карпенко. Он переписывался с белорусскими периодическими изданиями в 1950-е гг. со многими журналистами и писателями. Переписывался с белорусским исследователем Николаем Калинковичем, который некоторое время жил в Ашхабаде, с туркменскими литераторами. Выступал Михась Федотович и в туркменской периодической печати как публицист. Да если бы взяться настойчиво за возобновление туркменского периода биографии Михася Карпенко, многое можно было бы добавить к уже упомянутому. Живут еще в Ашхабаде туркменские писатели, которые знали Карпенко, встречались с ним. Может, вспомнили бы нашего земляка Атамурад Атабаев, Агагельды Аланазаров, Касым Нурбадович да и многие другие... Знаю, что когда-то Мамед Сеидов перевел на туркменский язык целый том стихотворений Михася Карпенко. Книга, к сожалению, так и не увидела свет. Может, тоже где-то лежит ее рукопись?.. В поисках следов Михася Карпенко, любой информации

о нашем земляке, я обратился и к главному редактору журнала «Ашхабад» в конце 1980—1990 гг. Владимиру Пу. И вот что услышал в ответ:

— Да, надо обязательно рассказать о Михасе Федотовиче Карпенко... Это один из самых колоритных журналистов Туркменистана второй половины XX века. Мы встретились с ним в 1969 году, когда Михась Федотович был главным редактором красноводской газеты «Знамя труда». Его знали десятки тысяч людей. Его жена — выпускница Могилевского педагогического института — проработала в Туркменистане всю свою жизнь учителем русского языка и литературы. До сей поры тысячи людей помнят ее как самую любимую учительницу. Михась Федотович писал интересные стихи. В свое время они входили в школьные хрестоматии Туркменистана. 30 лет связывала нас с Михасем творческая дружба. Особенно в то время, когда его назначили главным редактором «Ташаузской правды». В первые годы с выпуском новой газеты возникали немалые сложности, и он позвал своих друзей помочь в новом деле. Под его руководством была создана классная газета, одна из лучших в тогдашнем Туркменистане. Михась как-то неожиданно уехал в Беларусь. И я, признаться, ничего особого не слышал о нем. Только как-то раньше прочитал вашу корреспонденцию о том, что он и в Беларуси продолжал писать, жил на Могилевщине, выпустил новый поэтический сборник. Как жаль, что связи наши разладились! Многие коллеги по творческому цеху хорошо относились к белорусам. И это неслучайно. Ваш народ отождествлялся с такими личностями, как Михась Карпенко, как его супруга. Их искренне любили все, кто был знаком с ними. Более добрых людей сложно было встретить. Обязательно расскажите о Михасе Федотовиче...

Туркменский писатель, верный друг белорусской литературы Агагельды Аланазаров помог мне связаться с еще одним человеком, который хорошо знал Михася Федотовича Карпенко и был одним из его ближайших друзей в Ташаузе. Слово — ветерану журналистики Баба Гораеву:

— Тема дружбы — одна из самых интересных, значительных тем в стихах известных поэтов, настоящих мастеров слова. Мне кажется, что нужны высокие поэтические слова, чтобы рассказать, как умел дружить Михась Карпенко. Это как раз о таких, как он, говорят: «Настоящий друг!» Наши дружеские отношения переросли за считанные годы в отношения двух братьев, мы стали необыкновенно близкими, родными людьми. Я работу в журналистике начал с газеты «Ташаузский колхозник», куда попал весной 1945 года. Около сорока лет я отдал журналистике. В 1970 году с возобновлением областного административного деления в Туркменистане снова стали издавать областные газеты. Меня назначили главным редактором областной газеты «Путь коммунизма», которая выходила по-туркменски. На должность главного редактора русскоязычной ташаузской областной партийной газеты из Красноводска приехал Михаил Федотович Карпенко. До этого он работал главным редактором красноводской газеты. Так сложилось, что консультантом в подборе журналистских кадров Михаил выбрал меня. Понятно: у меня был некоторый опыт работы в этом крае. Но так тактично обратился ко мне Карпенко, с таким доверием, что я сразу почувствовал необычайную легкость в наших отношениях. Условия работы в то время были не самые лучшие. Пришлось поделить между двумя редакциями кабинеты. Но это не мешало ни творческому, ни технологическому процессам. Мы даже долго работали в одном кабинете. Два главных редактора, которые ничего не прятали друг от друга, а наоборот, старались помогать. Таким было начало нашего знакомства...

...Михаил открылся мне и как способный организатор, толковый руководитель, и как хороший поэт. Он не стеснялся открывать дверь в свою творческую лабораторию. Не боялся делиться творческими замыслами, планами. Стихи его были отнюдь не искусственные, они отражали мировоззрение, позицию автора. Постепенно мы начали и писать вместе, в соавторстве — это, конечно, касалось только публицистической работы, очерков,

героев которых мы искали среди простых людей. Мы любили встречаться с теми, кто занимался в пустыне тяжким трудом, был способен на настоящие трудовые свершения, не глядя на жару, на другие природные катаклизмы. Мы часто выезжали на день-два в пустыню Устюрта, гостили у чабанов. Так рождались очерки о животноводах. Чаше всего наведывались в Октябрьский район (теперь этрап Туркменбаши). На территории района находилась древняя крепость Шасенем. И простиралась эта территория до озера Сарыгамаш. Руководил районом добрый друг Михаила Федотовича первый секретарь райкома компартии Туркменистана Гурбангельды Гаджаров. Именно из этого района мы с Михаилом и подготовили больше всего очерков и корреспонденций. В памяти также наши совместные поездки на семинары журналистов СССР. Тогда они проходили в самых разных городах: Алма-Ате, Душанбе, Фрунзе (Бишкеке), Киеве, Минске, Свердловске (Екатеринбурге)... И всюду мы были вместе, жили в общем гостиничном номере. О чем только не говорили! Я старше Михаила. Сейчас мне уже за девяносто... А тогда было около семидесяти... И Михаил заботился обо мне, всегда интересовался, чем помочь, чтобы я чувствовал себя комфортно... Помню, как радовался Карпенко, когда мне было присвоено звание заслуженного деятеля культуры Туркменской ССР...

У меня хранятся подарки, которые Михаил Федотович вручил мне к 60-летию областной газеты от имени «Ташаузской правды»... Изменилось время. После получения Туркменистаном независимости многие из тех, кто приезжал работать в наш край в годы советской власти, уехали на историческую родину. Так поступил и Михаил Федотович. На Могилевщине могилы его родных и близких... Но спустя некоторое время мой друг приезжал ненадолго в Ташауз. И целые сутки провел у меня дома. Опять мы много говорили, вспоминали общие творческие командировки... И не могли не вспомнить нашу поездку в Берлин, еще тогда, когда существовала ГДР. Был конец августа. Мы провели в Берлине, в ГДР около 20 дней. Побывали в канцелярии

Гитлера, познакомились с рейхстагом, постояли у Бранденбургских ворот. И Михаил Федотович делился памятью о своем послевоенном детстве, рассказывал о том, какой трагичной была для белорусского народа война. А какими глазами он осматривал концентрационный лагерь Бухенвальд... Там погибло 100 000 человек, а возможно, и больше...

И когда мы вспоминали эту поездку через много лет, Михаил Федотович плакал, не стыдясь слез, говоря о многострадальном поколении своих отцов, говоря о судьбах детей войны, о вдовах, что после войны на своих горбах тянули хозяйство — и дома, и в колхозе...

Мы пересматривали, перечитывали давнишние дорожные заметки, очерки, что привезли из Германии... Перечитывали, говорили о мире, о тех идеях нейтралитета, которые утверждает правительство Туркменистана сегодня...

Атабаева — название улицы в Ашхабаде, где жил в 1973—1980 гг. белорусский писатель Василь Ткачев. Родился Василь Юрьевич в деревне Гута Рогачевского района Гомельской области 1 января 1948 г. С 1980 г. живет в Гомеле. Автор многих книг, в том числе романа «Дом коммуны». А за книгу прозы «Снукер» в 2011 г. удостоен Премии Федерации профсоюзов Беларуси в области литературы. По пьесам Василя Ткачева поставлены десятки спектаклей в театрах Беларуси, России и Казахстана. В судьбе белорусского писателя туркменский отрезок жизни является существенной частью его биографии.

В 1973 г. Василь Ткачев после окончания факультета журналистики Львовского Высшего военно-политического училища Советской Армии и Военно-Морского флота попал на службу в столицу самой южной и самой жаркой республики — Ашхабад. В редакцию многотиражной солдатской газеты «За Родину». Главным редактором тогда был известный в Ашхабаде журналист Юрий Поволяев. Так и служил Василь Ткачев корреспондентом до 1978 г. А после увольнения из армии начал работать старшим редактором газетно-журнальной рекламы комбината «Туркменторгрeклама». В 1980 г.

вернулся на родину, в Беларусь. Работал корреспондентом в многотиражке «Сельмашевец» и в областной газете «Гомельская правда». В 1989 г. Василя Юрьевича приняли в Союз писателей СССР и сразу же выбрали председателем областной писательской организации, которую он возглавлял 15 лет.

Еще до приезда в Ашхабад журналист активно занимался литературной работой. Начиная с 1965 г. публиковался в газете «Літаратура і мастацтва». В 1967 и 1970 гг. стихи Василя Ткачева публиковались в коллективных сборниках «Написали книгу сами» и «Крыніца». Когда Василь после срочной службы в армии поступил в военное училище, он писал и на белорусском языке. Рассказы и стихи он посылал в журналы «Бярозка» и «Вясёлка», газету «Літаратура і мастацтва». В 1973 г. рассказы молодого автора были опубликованы в газетах «Во славу Родины» (газета Белорусского военного округа, ныне — «Белорусская военная газета») и «Чырвоная змена».

...1973 год. Молодой журналист приезжает в Ашхабад. Пишет для своей многотиражки «За Родину», окружной газеты «Фрунзевец» (ее редакция находилась в Ташкенте. Кстати, в годы Великой Отечественной войны активным автором «Фрунзеца» был народный поэт Беларуси Якуб Колас, который жил в столице Узбекистана в эвакуации). Через много лет Василь Юрьевич опубликует лирическую зарисовку о первых ашхабадских впечатлениях... и расскажет о том, как в 1974 г. к нему в Ашхабад приезжала погостить мать. Работала она учительницей, преподавала в Исканской восьмилетке Быховского района белорусский язык и литературу и еще — геометрию. Туркменистан в это время был в трауре — умер народный писатель, гордость нации Берды Кербабаев. Мама Василя Ткачева, конечно же, знала о нем, знала его произведения. Василь купил красивый букет и вместе с матерью пошел на похороны. И там белорусская учительница, когда проходили мимо гроба, искренне прослезилась и как-то наивно, по-детски взглянула на сына: дескать, такой великий человек Кербабеев, в славе, жить бы да жить, а вот не сберегли... Позже, когда в доме,

где жил Кербабеев, устроили музей, Василь Ткачев несколько раз водил туда своих сыновей...

Среди добрых знакомых белорусского литератора был и прозаик-фронтовик Ашир Назаров, который освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

В Ашхабаде Василь Ткачев познакомился с многими писателями. Подружился с Азаром Рахмановым. Часто встречался с талантливым поэтом Юрием Бабининым.

— Мне Ашир-ага не раз рассказывал о боях под Витебском, — делится своими воспоминаниями Василь Ткачев. — Замечательный был человек. Я даже хотел кое-что из его произведений перевести на белорусский язык. Конечно, по подстрочникам. Но как-то не сложилось. Планы так и остались планами... Хорошо помню замечательного поэта и прозаика Бердыназара Худайназарова. Часто встречался с русскими литераторами, которые жили и работали в Ашхабаде, — Николаем Золотаревым, Владимиром Пу, Икаром Посевьевым, Эдуардом Скларом... Когда последний раз приезжал в Ашхабад — в 1991 г., — около касс «Аэрофлота» (это на проспекте Свободы, где тогда находился отель «Ашхабад») встретился с прозаиком и публицистом Василем Шаталовым. Удивительно симпатичный, доброй души человек... Наговорились вволю. Многих вспомнили.

...В 1970—1980 гг. в Туркменистан приезжало много белорусских писателей. Олег Лойко, Максим Танк, Любовь Филимонова, Павел Мартинович, Виктор Шимук, Янка Сипаков, Рыгор Бородулин, Бронислав Спринчан, Геннадий Пашков и другие. У Пашкова здесь хорошее стихотворение о Туркменистане написано.

— Это стихотворение — «Каракумский канал», — уточняет Василь Ткачев. — Знаю его по книге Геннадия Пашкова «Гравюры дорог». А вот тогда, в 1970-м, в Ашхабаде встретился только с Рыгором Бородулиным.

И как выяснилось, произошло это случайно. Рыгора Ивановича Василь Ткачев знал еще по Минску. Встречался с поэтом на квартире своего земляка Миколы Чернявского, детского поэта.

В Ашхабад Рыгор Иванович приехал вместе с белорусскими кинематографистами снимать документальный фильм о Туркменистане.

— Я часто бывал в русском театре имени А. С. Пушкина, был хорошо знаком с главным режиссером белорусом Георгием Нестором, — рассказывает Василь Юрьевич. — Дружил с актерами Юрием Морозовым, Владимиром Бершанским, с отцом и сыном Краснопольскими, Владимиром Коломакой... Прихожу однажды в театр, а там творческий вечер писателей. В фойе меня заметил Рыгор Бородулин. Обнял при всех, искренне обрадовался встрече...

Когда В. Ткачев жил в Ашхабаде, в Минске в 1975 г. вышла его первая книга рассказов, адресованных детям, — «Хитрый Даник». Пятнадцать экземпляров книги 27-летнего автора прислал в Ашхабад своему другу и земляку Николай Чернявский. Четырнадцать из них осталось в столице Туркменистана — у новых друзей Василя. Особенно плодотворным был для молодого писателя 1976 год.

— Тогда в Минске мои белорусские рассказы опубликовали «Бярозка», «Вясёлка», — вспоминает Василь Юрьевич. — Подборка коротких рассказов увидела свет на страницах «Гомельской правды», минской «Настаўніцкай газеты»...

В ашхабадский период Василь Юрьевич работал и над рассказами, которые позже вошли в книгу «День в городе» (Минск, 1985). Вот названия рассказов, которые были написаны в Ашхабаде: «Казань», «Шапка», «Гармошка», «Двойка», «Торба», «Сын приехал»... В некоторых произведениях — туркменские мотивы.

...Так получилось, что и меня судьба после окончания Львовского политучилища в 1985 году забросила в Ашхабад. Служил я в той же редакции, что и Василь Ткачев — в многотиражке «За Родину». Подружился с братом Василя Михаилом (он жил в квартире старшего брата, по ул. Атабаева, 19), с радиожурналистом Владимиром Грачевым, который тоже был хорошо знаком с Василем Ткачевым. Оба они с подробностями рассказывали, как Василь, чтобы не забыть родной язык, работал со словарями, старательно делал необ-

ходимые ему выписки особых белорусских слов, выражений, высказываний. О том, как внимательно читал белорусскую периодику, которую выписывал в Ашхабад из Минска. Из-за периодики и произошла интересная история...

Василь выписывал еженедельник «Літаратура і мастацтва», газету «Чырвоная змена», журналы «Бярозка», «Вясёлка»... — словом, те издания, в которых печатался. Однажды в почтовый ящик Ткачевых попала газета «Звезда». Произошло это случайно.

Просмотрев номер газеты, Василь нашел и надписанный адрес, и фамилию подписчика — Н. Калинкович... Кто это? Понятно, что земляк. Встретить земляка в далекой стороне — большое событие!.. Но до определенного времени фамилия эта ничего Василю не говорила. Через несколько дней земляк сам навестил Василя Юрьевича. Позвонил в дверь, представился, объяснил, что к нему попал номер «Чырвонай змены» с адресом Ткачевых. Извинился, что распаковал газету... Так началась многолетняя дружба. Выяснилось, что и Николай по профессии — журналист. Правда, служит в КГБ Туркменистана. Родился Николай Калинкович в Лунинецком районе. О писательской, журналистской судьбе Николая в связи с Туркменистаном мы уже немного рассказывали. Фигура, достижения Николая Калинковича стоят отдельной книги.

— С Николаем мы обсуждали свои первые произведения, — вспоминает Василь Юрьевич. — А еще вместе ходили на футбол смотреть игру ашхабадской команды «Колхозчи», с интересом наблюдали игру техничной «семерки» Курбана Бердыева, за которым и теперь внимательно слежу: он стал хорошим тренером, особенно ярко раскрылся его талант в казанском «Рубине»... С ним работает и бывший чудесный центральный «Колхозчи» Якуб Уразсахатов. Рад их успехам!.. Молодцы! Рассказывая про Ашхабад, не могу не вспомнить поэта Мухаммеда Комекова. В детской газете «Мыдам тайяр» он опубликовал в своем переводе на туркменский мои первые детские рассказы, написанные на русском языке. Дебют оказался удачным, меня заметили. Азат Рахманов предложил

публиковаться в «Пионере». Я выступил там с небольшой повестью об армии. Я и подружил Азата Рахманова с Миколой Чернявским. Микола много переводил Азата Рахманова... А с Атамурадом Атабаевым я впервые выступил на ткацкой фабрике перед читателями. Не помню, что я там говорил, но помню, что Атамурад дал мне почитать «Дружбу народов» со своими стихами. Так получилось, что скоро я уехал в Гомель. И журнал забрал с собой. И сейчас этот номер у меня. Случается, попадет на глаза в моей немалой библиотеке — возьму в руки, читаю стихи Атамурада и вспоминаю молодого, талантливого, красивого туркменского поэта... И говорю сам с собой: «Прости, дорогой друг, что так получилось... Но твои стихи и теперь меня согревают, напоминают о родном и близком Туркменистане...»

...Ничто в жизни не проходит бесследно. Так и в судьбе белорусского писателя Василя Ткачева Ашхабад оставил яркий след. Здесь он написал многие произведения, и первую пьесу на белорусском языке — «Инкогнито» — тоже написал в Ашхабаде. Теперь мечтает опять побывать в Туркменистане, еще раз вернуться в страну своей молодости. Хотя бы на несколько дней. Есть кому позвать там руку...

Николай Калининвич... Это имя проходит через многие страницы нашего рассказа. Вот и Василь Ткачев вспоминает о друге, с которым свела судьба в Ашхабаде. И в рассказе о народном поэте Туркменистана Кериме Курбаннепесове тоже возникает речь о Николае Николаевиче. Поэтому, видно, надо говорить об этой личности отдельно.

Его творческие, жизненные стежки-дорожки сложились так, что уже навсегда картина белорусско-туркменских литературных, культурных, исторических отношений не может быть полной без этого имени. Родился Николай Калининвич в деревне Цна Лунинецкого района 15 января 1951 г. Это — Брестчина. Его родители переехали в Казахстан. Николай пошел в школу в г. Усть-Каменогорск. А в 1958 г. Калининвичи снова на своей родине, в Лунинецком районе. Николай пошел учиться в семилетку в деревне Цна, а с 1966 г. учился в Лунинце, в СШ № 2.

После окончания школы в 1968 г. несколько месяцев учительствовал в Гавриличской восьмилетней школе. Затем — сотрудник районной газеты «Ленинский путь». С 1969 г. — на службе в Вооруженных Силах СССР. Во время службы активно сотрудничал с газетой Ленинградского военного округа «На страже Родины». Вышел на свои магистральные темы: история, краеведение, военная тема. Уже тогда набирал материалы для историко-краеведческих работ, посвященных родной Лунинетчине. После службы в армии закончил Брестский государственный университет. Работал в областной газете «Заря», позже — в лунинецкой районной газете. В 1976 г. поместил в журнале «Нёман» рецензию на публикацию повести Василя Быкова «Его батальон» в московском журнале «Наш современник» — «Высота майора Волошина». 17 июня 1977 г. в «Литературной России» выходит его статья «Сослуживец Александра Блока». А в 11-м номере «Нёмана» за 1979 год журналист публикует основательную статью «Как дань глубокого уважения: письма В. Самойло к А. Блоку»... Так тема Александра Блока, его службы на Полесье во время Первой мировой войны стала важной составляющей жизни исследователя, публициста. В 1985 г. Николай Калининвич издаст в Минске книгу «Полесские дни Александра Блока». Можно и сейчас смело считать ее исключительным событием в исследовании жизни поэта, да и в целом событием в изучении русско-белорусских литературных связей...

А что же Туркменистан?.. Сюда, в Ашхабад, Николай Калининвич попал в 1979 г., призванный на службу в КГБ СССР. Новый виток жизни, новый виток судьбы не остановил историко-краеведческие, журналистские интересы талантливого автора. Николай знакомится с туркменской культурой, литературой. Часто выступает в туркменской печати. Кстати, и здесь ему способствовал... Блок. Вот что писал мне литератор в сентябре 1986 г. «...Я и раньше знал, что Григорий Силыч Карелин — прадед Блока по материнской линии. А в Туркмении познакомился с романом Валентина Рыбина «Государь и кочевники», в котором

один из центральных персонажей — Силыч. Кажется, Валентин Федорович (В. Ф. Рыбин, русский писатель, лауреат Государственной премии Туркменской ССР им. Махтумкули, народный писатель Туркменистана. — А. К.) и сам не знал о родословной связи Карелина и Блока. Попросил дать на книге автограф. Прихватил роман с собой во время очередной поездки в Беларусь. И завез в Пинск, а потом — в Лопатино, в музей Блока, отдал Журавскому. Вместе с журналом «Маладосць», в ноябрьском номере которого за 1980 г. помещена моя публикация «Полесские дни Александра Блока». Вот и вся история. Заодно (возможно, пригодится) привожу копию заметки из Брестской областной газеты «Заря» — «Экспонат из Ашхабада»: «Полторатысячный экспонат поступил в музей А. Блока в д. Лопатино из города Ашхабада. Эта книга о прадеде великого русского поэта Александра Александровича Блока по материнской линии, великом ученом и путешественнике-натуралисте, общественном деятеле России — Григории Силыче Карелине, который внес немалый вклад в укрепление дружбы русского и туркменского народов в 1836 — 1870 гг.».

Вот так... Вообще мне кажется, что пинчуки еще не подошли к настоящему осмыслению А. Блока, к пониманию его места в контексте современной литературы... Субъективно? Да, возможно, и субъективно, но если искренне... Словом, отношение у меня к лопатинскому музею разное. Признаюсь, огорчает, что там нахально вылез — и в экспонатах, и в организации — некто Б. и... настолько нахально, что просто воротит от всего.

А я пока что не отправил им свою книжку о Блоке. Да и не обращались...

Кстати, точности ради, — все же не помню, отвез книгу Валентина Федоровича или отправил почтой. Забыл, прости. Но в музее, конечно, был и с Журавским виделся.

Мне кажется, что музей Блока надо было устраивать в Лунинце или Пинске. В Лопатине он бесприютный. Воспитательная роль по разным причинам сведена на нет... А может, лучшее место для музея было бы в Парохонске.

Чувствую — что-то расписался. Но если о Блоке, то расскажу тебе хотя бы штрихами историю Григория Силыча. Его дочь Лиза — бабка Александра Блока. Долгое время жила в Шахматове. Муж Лизы Григорьевны — Андрей Николаевич Бекетов — ученый-ботаник, был ректором Петербургского университета. Так вот, Григорий Силыч (был большим юмористом и на редкость независимым по тому времени человеком), когда служил в канцелярии Аракчеева, заменил одну букву на титульном листе своего хозяина. Аракчеев все бумаги к Николаю I подписывал «Без лести предан»... В редакции Карелина получилось: «Бес лести предан»... Вот и загремел после этого Григорий Силыч по просторам России. Добрался и до Туркмении. Как видишь, это и хорошо, что так сложились обстоятельства.... Пока! Главное — работа! И только Ее Величество! Остальное — приложится...»

А в том, что он, Николай Николаевич Калинин, знал толк в работе сомневаться не приходится. Заглядываю в шеститомный библиографический словарь «Белорусские писатели» и в статье о Николае Калининиче нахожу больше дюжины литературных псевдонимов писателя и журналиста: Н. Антонов, Н. Ивашкевич, К. Ивашкевич, А. Каменогорский, Н. Никольский, А. Никифоров, А. Полесский, В. Припятский, Н. Цянский, В. Перелесков, А. Криничный, Н. Лунинецкий, А. Лунин... А возьмем, к примеру, 1980 год... Каким он был для нашего земляка? Николай жил в Ашхабаде и одинаково старался печататься и в туркменской, и в белорусской печати. В «Маладосці» увидел свет его очерк «Полесские дни Александра Блока». В «Нёмане» — очерк «Командир полесских стрелков». Там же и очерк «Звезды славы Василия Воробьева». «Вечерний Ашхабад» в девяти номерах публикует его повесть «Там, где цветет тамариск». Отдельные очерки, рецензии, отрывки из других документальных повестей публикуются в газете «Комсомолец Туркменистана» (больше чем в 30 номерах этой республиканской газеты выступил Николай в 1980 году!). А ведь еще публикации в белорусских изданиях «Літаратура

і мастацтва», «Сельская газета», «Знамя юности»... И это работы, за которыми стояли архивные разыскания, множество встреч, поездок. Примерно таким же плодотворным был и 1981 год.

Но вернемся к письму Николая Калинковича: «Никак сегодня с тобой не распрощаюсь. Хорошо, что не запаковал письмо в конверт... Дописываю уже вечером. Но еще на службе. В обед позвонил домой. Жена сообщила, что прислали какой-то гонорар.

Перелистал свою старую записную книжку. За 1982 год... Ты интересовался, когда Блок впервые «запел» на туркменском языке. Только в 1980 г. Не сравнить с переводческой активностью у нас, в Беларуси.

А в Туркменистане... помог тогда расшевелить местных поэтов Керим-ага (да, разговор о Кериме Курбаннепесове, тогдашнем главном редакторе журнала «Совет эдебияты». — А. К.) Цитирую свою запись от 22.04.1982 г. «Автограф на журнале «Совет эдебияты» со статьей «Улы рус тахыры» («Великий русский поэт», публикация Николая Калинковича. — А. К.) — для Пинска: «...звучание музыки великого Александра Блока действительно интернациональное. Услышала ее и далекая Туркмения на своем родном языке, на языке тех аксакалов и яшули, которые проходили с поэтом трудную службу в окопах Западного фронта в 1916—1917 гг., в составе 13-й инженерно-строительной дружины «ВЗСР» на земле Беларуси — в Пинском уезде. В 1980 г. Александр Блок впервые прозвучал на туркменском языке благодаря молодому таланту ТССР Курбаниязу Дашгынаву, не без участия автора этих строк и дарителя журнала «Совет эдебияты» со статьей «Великий русский поэт», в которой идет речь и о родном Полесье (с. 118—119).

«Первому литературному музею А. Блока в родном крае — с надеждой и верой в его интернациональное предназначение в укреплении дружбы между народами. С искренним уважением Николай Калинкович. Ашхабад. 22.04.1982 г.».

Постепенно главным интересом Н. Калинковича становится история Туркменистана начала XX века, события революции, Гражданской войны. Об этом он и пишет очерки, доку-

ментальные повести. Об этом и его документальный роман «Керакинский бастион», по разным причинам не опубликованный до сих пор, хотя прошло больше четверти века как нет самого Николая Калинковича — его жизнь трагически оборвалась в 1990 г. в Тбилиси, где Николай Николаевич после окончания аспирантуры Высшей школы КГБ преподавал на Высших курсах КГБ.

А в Туркменистане Н. Калинкович прожил до 1984 г. Издал здесь книги «Не обрывается земная связь» (1982), «Имя мое — Свобода» (1984), «Возвращение рассветной рани» (1987). Была подготовлена к печати еще одна книга — «Не должен неизвестным быть солдат». В 1984 г. Николай Калинковича приняли в Союз писателей. Мне довелось несколько раз встречаться с Николаем Николаевичем в Ашхабаде в 1985—1987 гг. Мы довольно интенсивно переписывались. О его творчестве я часто писал в газетах, выходивших в Ашхабаде, Ташкенте, — «Вечерний Ашхабад», «Фрунзевец», «Дзержинец», «Ташаузская правда», журнале «Ашхабад», «Совет эдебияты». Писал о Калинковиче и в белорусской печати. Живя в Ашхабаде, Николай Николаевич был в добрых отношениях со многими писателями, журналистами. Прежде всего — с Керимом Курбаннепесовым, Валентином Рыбиным, Какалы Бердыевым. В те нечастые приезды Николая в Ашхабад из Москвы помню наши походы к Какалы Бердыеву, Курбану Чалиеву, Амандурды Джанмурадову, Нарклычу Атаеву, Касыму Нурбадову.

Зная, что в добрых отношениях с Николаем был писатель Агагельды Аланазаров, я несколько лет назад обратился к туркменскому литератору с просьбой поделиться воспоминаниями о белорусском друге для нашей газеты «Літаратура і мастацтва». В результате в еженедельнике появилась статья Аланазарова «Перекличка. Воспоминания о друге и брате Николае Калинковиче». Вот что вспоминает туркменский поэт, прозаик: «...Мы познакомились тогда, когда Николай работал в Туркмении в органах госбезопасности. Он курировал нас, издателей и писателей. Поэтому мы порой встречались в редакциях и издательствах.

В то время в газетах и журналах начали появляться его первые очерки. Материалы заинтересовали читателей документальностью и искренностью. Николай открывал забытые и недоступные страницы истории. Близко мы познакомились, когда вышла в свет моя историческая повесть «Путешествие к себе и вдаль».

В этом произведении есть рассказ о жизни генерала Скобелева — завоевателя крепости Гёк-Тэпэ. Гёк-Тэпэ была последней крепостью, которую жестоко покорил генерал. Там он надолго задержался. Причиной тому было славолубие генерала. Он хотел завоевать крепость с триумфом, но по свидетельству многочисленных участников штурма, «текинцы бились как львы». Генерал ясно понимал, что в рукопашном бою русским не выстоять, поэтому решил избежать прямого сражения и действовал хитростью. Тайно сделал подкопы, заложил порох и устроил взрыв крепости вместе с ее жителями. В те дни перед штурмом художник Верещагин писал своему брату: «Скобелев не в юморе, он немногословен, бубнит, как дельфийский оракул...» Тогда многие не понимали, почему Скобелев так недоволен и раздражен.

В своей повести я рассказал, почему он мог быть таким. На то были две причины. Первая: враги оказались сильнее и не столь робки, как те, с которыми ему уже приходилось воевать. Вторая причина была связана с его матерью Ольгой Михайловной.

Прежде она с большим количеством денег странствовала по Болгарии, дабы прославлять своего сына и в будущем посадить его на болгарский трон. Однажды на пути в Казанлык, куда Скобелева ехала с агитацией, она встретила поручика Узатиса, прежнего адъютанта своего сына, который ехал с двумя хорватами. Они разогнали охрану и убили Ольгу Михайловну. Об этом Скобелев узнал перед самым штурмом крепости.

Когда повесть появилась в печати, ко мне зашел Николай. Он спросил мягко и заинтересованно:

— Агагельдыч, то, что ты написал о Скобелеве, правда? Или это придуманный художественный образ?

— Да, правда. Есть документ.

Я рассказал ему, как попал этот документ мне в руки. Когда я учился в Москве, нашел подтверждение этого факта в историческом архиве. Потом Николай Николаевич уточнял, где именно он находится, в каком фонде, в каком деле. Я рассказал, что помнил. Скоро узнал, будто сам первый заместитель председателя КГБ республики генерал Николай Агамырадович Аевзов заинтересовался мной. Возможно, не только он. Когда через несколько лет меня познакомили с этим генералом, он, услышав мою фамилию, спросил: «Не ты ли написал о матери Скобелева? — Потом добавил: — Этот материал и нас заинтересовал».

И он вспомнил, как их сотрудник Николай Калинин убедил всех, что это не художественный вымысел, вызванный шовинистическим настроением, а исторически правдивый материал.

Только тогда я узнал, как он защитил меня. А могли бы и иначе объяснить мою повесть, если бы не Николай.

После этого случая мы стали встречаться чаще, не только в редакции, но и за столом по разным причинам. Как писатели делились мнениями. Однажды он принес мне историко-документальный очерк об одном старом чекисте. Текст был небольшой — семь-восемь страничек. Пока Николай пил чай в моем кабинете, я познакомился с материалом. Очерк был написан хорошо. Но о его герое в народе бытовало негативное мнение. Он, как и его старший брат, в свое время замучил много людей, некоторых убил сам, кого-то отправил в тюрьмы. Когда стал одним из партийных руководителей, многое «вычеркнул» в классической туркменской литературе. К этим книгам под угрозой тюремного заключения нельзя было прикасаться. Когда я рассказал Николаю о «героизме» его героя, он задумался. Забрал очерк и никогда нигде его не публиковал...»

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

*Перевод с белорусского
Олега ПУШКИНА.*

Продолжение следует.

ШТЕЙНЕР Иван Федорович. Родился в 1953 г. в д. Бережное Столинского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор более 200 научных работ, из которых более 20 монографий и коллективных сборников, ряда пьес, две из которых поставлены Гомельским областным драматическим театром и народными коллективами. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой белорусской литературы ГГУ имени Ф. Скорины. Живет в Гомеле.

БАШЛАКОВ Михась (Михаил) Захарович. Родился в 1951 г. в поселке Станция Теруха Гомельского района Гомельской области. Окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. Поэт. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

ОРЛОВ Владимир Александрович. Родился в 1938 г. в Баку (Азербайджан). Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Кинорежиссер, писатель. Автор книг «Магия белого экрана», «Их портрет с обреченным императором», «Пересечения в пространстве и времени», «Ускользающие сюжеты» и др. Живет в Минске.

ПОЛЕЕС Елизавета Давыдовна. Родилась в Могилеве. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси и стран ближнего зарубежья, в антологии «Современная русская поэзия в Беларуси», альманахе «Дзень паэзіі». Автор нескольких сборников поэзии. Живет в Минске.

КАЛУЖЕНИНА Лариса Анатольевна. Родилась в Тбилиси (Грузия). Окончила Минский государственный лингвистический университет. Публиковалась в журналах «Волга», «Латинская Америка», зарубежной периодике, в том числе в Японии, США, Германии. Живет в Минске.

ВЕРБИЦКИЙ Георгий Иванович. Родился в 1922 г. в д. Черноусы Мстиславского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева. Автор книг «Зовут меня воспоминания», «Голос души», «Моя родословная», «Шаги по земле», «Последний причал», «Партизанские будни», «Птица счастья» и др. Живет в Могилеве.

ГРЕЧАНИКОВ Анатолий Семенович. Родился в 1938 г. в д. Шарпиловка Гомельского района Гомельской области. Окончил Гомельский институт инженеров железнодорожного транспорта, Высшие литературные курсы в Москве. Автор многих книг. Лауреат премии Ленинского комсомола БССР и Государственной премии БССР. Умер в 1991 г. в Минске.

ТУРГАЙ Валерий Владимирович. Родился в 1961 г. в д. Починок-Инели Комсомольского района Чувашской Республики. Окончил Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. А. В. Луначарского. Автор книг «Свет родника», «Белая фарфоровая чаша», «Слезы на лице Бога», «Будем жить!» и др. Народный поэт Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат многих литературных премий. Живет в г. Чебоксары.

АХМАТУКАЕВ Адам Абдурахманович. Родился в 1961 г. в с. Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни. Окончил Ставропольский государственный педагогический институт. Автор книг «Печаль ночных мелодий», «Когда-то, потом...», «По соседству...», «Неправильный мир», «Во тьме теней», сборника переводов белорусской поэзии на чеченский язык и др. Живет в г. Грозный.

ХАНИНОВА Римма Михайловна. Родилась в 1955 г. в с. Успенка Локтевского района Алтайского края. Окончила филологический факультет Калмыцкого государственного университета. Калмыцкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист, литературовед. Автор поэтических сборников «Зимний дождь», «День влюбленных», «Умная мышка», монографий и др. Живет в г. Элиста.

ХАННАНОВА Зульфия Миндибаевна. Родилась в 1970 г. в д. Старохашилово Дуванского района (Башкирия). Окончила филологический факультет Башкирского государственного университета. Печаталась в коллективных сборниках «Байга», «Неси людям солнца свет...», автор сборника стихов для детей «Разговариваю с часами», книги поэзии «Монета невестки» и др. Лауреат премии имени Р. Хисамутдиновой, Республиканской молодежной премии имени Ш. Бабича. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Живет в г. Уфа.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 г. в Париже. Совместно с **Оленкой де Веер**, французской писательницей и астрологом, написаны два романа — «Девушки и единорог» и «Дни мира». Позже Оленка де Веер написала третью часть этой трилогии — «Третий единорог».